ВЕРА МОРОЗОВА

„ПРИВЛЕЧЕННАЯ К ДОЗНАНИЮ...“

SHOUT
SHARE
IT

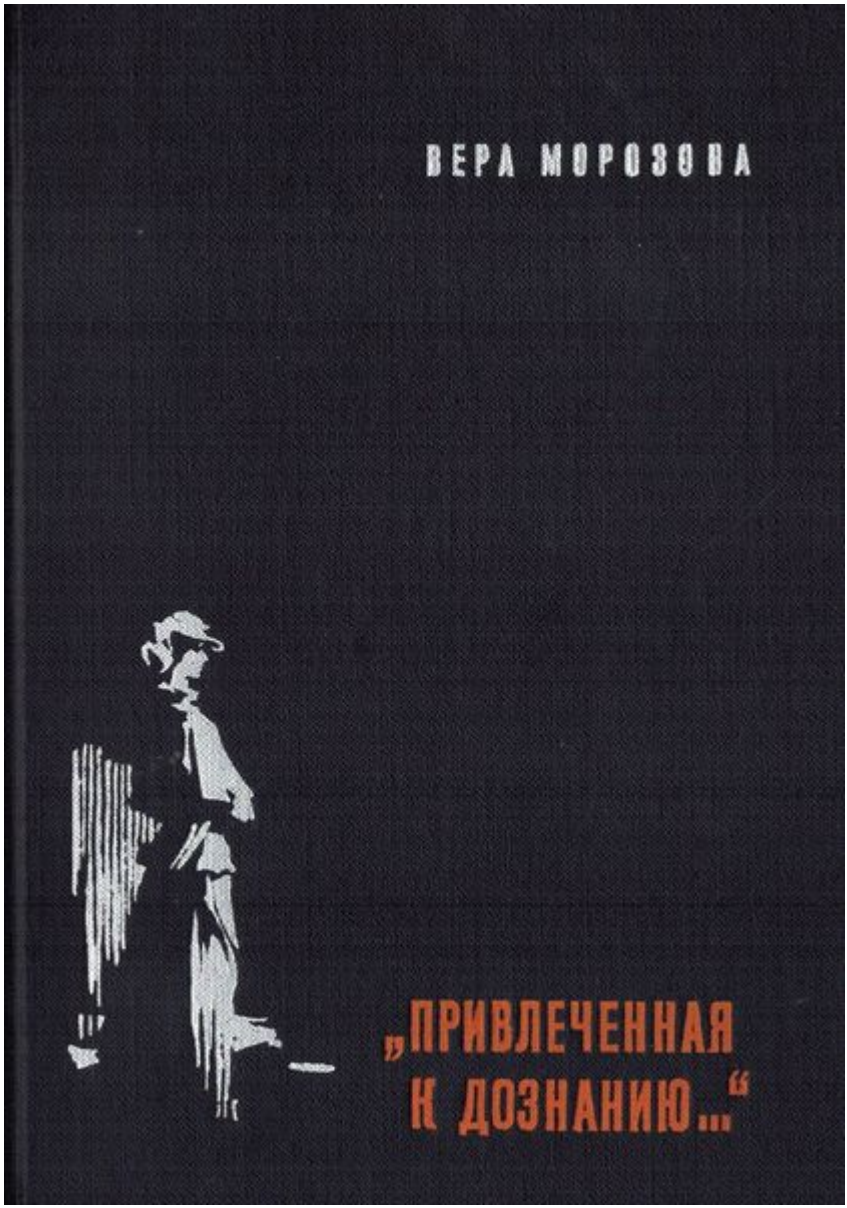
Annotation

Освободительное движение нашей страны на всех его этапах знает немало женщин - активных участниц революционной борьбы. О жизни и деятельности четырех из этих героинь и рассказывает В.А.Морозова в настоящей книге. Писательнице пришлось проделать большую исследовательскую работу, чтобы по документам государственных и партийных архивов, по воспоминаниям очевидцев, дневникам, письмам и материалам периодической печати воспроизвести обстановку, факты и события дореволюционного времени. В ее книге - все правда, и раскрывается она перед читателем живо и интересно.

- Вера Александровна Морозова
  -
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - Мария Голубева
  - Клавдия Кирсанова
  - Конкордия Самойлова
  - Розалия Землячка
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Вера Александровна Морозова «ПРИВЛЕЧЕННАЯ К ДОЗНАНИЮ...»

К 100-летию со дня рождения В. И. ЛЕНИНА



ПОВЕСТИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“ 1970

Художник И. УШАКОВ

Морозова В. А. «Привлеченная к дознанию...»: повести. М.: Молодая гвардия, 1970. 288 с., илл.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Освободительное движение нашей страны на всех его этапах знает немало женщин — активных участниц революционной борьбы. Среди предшественников пролетарских революционеров такие героини, как Софья Перовская и Вера Фигнер. За участие в подготовке убийства царя, осуществленное народовольцами в 1881 году, Софья Перовская вместе с другими участниками была казнена, Вера Фигнер 20 лет пробыла в Шлиссельбургской крепости. Обе они принадлежали к числу тех революционных народников, которые самоотверженно боролись с крепостничеством и самодержавием, но ошибочно полагали, что основой социалистического развития России является крестьянская община. Ошибочной была и их тактика. Средством борьбы они избрали индивидуальный террор. Но убийством царя народовольцы не достигли своей цели, не пробудили народной революции. Место убитого занял другой царь, еще более усилились в стране реакция и полицейские преследования революционеров.

Новый, пролетарский этап освободительного движения выдвинул своих героинь-революционерок, вооруженных теорией научного социализма. Это убежденные марксистки: Н. К. Крупская, Е. Д. Стасова, М. И. Ульянова, А. И. Ульянова-Елизарова, О. А. Варенцова, Р. С. Землячка, Ц. С. Бобровская, Л. М. Книпович, З. П. Кржижановская, Г. И. Окулова, К. Н. Самойлова, К. И. Кирсанова, М. П. Голубева, П. Ф. Куделли, С. Н. Смидович, А. Н. Сталь, М. М. Эссен и другие.

Марксизм дал им знание законов общественного развития, указал цель революционного движения и историческую миссию пролетариата в борьбе за ее достижение. Знакомство с произведениями Маркса и Энгельса помогло каждой правильно определить свой жизненный путь. Н. К. Крупская писала позднее, что после трех лет занятий в марксистских кружках она «совсем по-другому стала смотреть на жизнь»,[1] *а «как только стала раскрываться передо мною роль, которую рабочий класс должен сыграть в деле освобождения всех трудящихся, так неудержимо потянуло меня в рабочую среду, к работе среди рабочих».*[2]

Всю свою жизнь революционерки-марксистки посвятили делу рабочего класса. Вместе с В. И. Лениным боролись они за пробуждение и организацию революционных сил России, против самодержавия и капитализма, за создание и укрепление партии нового типа, без которой пролетариат не может победить. Они несли в рабочие массы марксистско-ленинские идеи, создавали партийные организации и осуществляли их связь с ленинским

Центральным Комитетом, хранили и распространяли партийную литературу, устраивали конспиративные квартиры и выполняли множество других дел по заданию партии.

О жизни и деятельности четырех из этих героинь и рассказывает В. А. Морозова в настоящей книге. Писательнице пришлось проделать большую исследовательскую работу, чтобы по документам государственных и партийных архивов, по воспоминаниям очевидцев, дневникам, письмам и материалам периодической печати воспроизвести обстановку, факты и события дореволюционного времени. В ее книге — все правда, и раскрывается она перед читателем живо и интересно.

Неимоверно трудной была жизнь и работа революционера в условиях царского самодержавия, особенно при переходе на нелегальное положение. Приходилось менять города и квартиры, жить под чужими именами, подвергаться на каждом шагу опасности быть схваченным жандармами, брошенным в тюрьму, высланным на край света. Условия строжайшей конспирации часто лишали возможности встретиться с близкими людьми, даже живя с ними в одном городе. Нельзя читать без волнения о встрече Марии Петровны Голубевой со своим сыном-подростком, которому она не может сказать, почему ушла из дома и почему опять уходит.

Только непоколебимая убежденность в правоте избранного пути, смелость, выдержка, сильная воля помогали переносить все трудности, невзгоды и лишения подполья. А какую собранность ума и нервов требовала каждая встреча с представителями полицейских властей, при обысках и допросах! Читатель переживает немало тревожных минут, читая об организации К. И. Кирсановой побега из тюрьмы товарищей, приговоренных к смертной казни, а вместе с Р. С. Землячкой, может быть, посмеется над одураченной тюремной администрацией. Розалия Самойловна отбывала заключение в тюрьме, из которой побег казался невозможным: усиленная охрана, пулеметная башня, метровые стены, тяжелые двери. И все же она бежала. План побега был тщательно продуман во всех деталях. С воли получены перчатки, шляпа, вуаль, и в один из дней по тюремному коридору шла нарядная дама, которую встречный жандармский офицер не решился остановить и даже услужливо проводил до извозчика. Но какое же должно было быть самообладание у этой «дамы»!

Героини книги В. А. Морозовой — люди большой внутренней красоты и богатых душевных качеств — прошли все испытания подполья, тюрьмы и ссылки, но ни разу не дрогнули, не отступили. Революционная работа неоднократно приводила их к В. И. Ленину, знакомила со многими его соратниками. Рассказ писательницы об

этих страницах их жизни еще более обогащает книгу. Заканчивая чтение книги, хочется словами В. И. Ленина сказать: «Мы можем по праву гордиться тем, что цвет женщин-революционерок находится в нашей партии» («Воспоминания о Ленине», 1957, кн. 2, стр. 576).

С. ЛЮБИМОВА, член КПСС с 1919 года, кандидат исторических наук

Мария Голубева

Мария Петровна Голубева (Яснева) родилась в 1861 году в Ветлуге Костромской губернии. В семнадцать лет окончила учительскую семинарию и ушла «в народ». Учительствовала в селах, «книгоношей» разносила по уезду запрещенные издания. В 1881 году в Костроме знакомится с известным революционером-демократом П. Г. Заичневским, автором нашумевшей прокламации «Молодая Россия». Она вступает в тайную организацию русских якобинцев, по делу которой в 1890 году арестовывается в Орле. Ссылку отбывает в Саратове, где и познакомилась в 1891 году с семьей Ульяновых. После ссылки М. П. Голубева переезжает в

Саратов. В 1901 году вступает в ряды РСДРП, занимается транспортировкой «Искры» по Поволжью. По совету партийных товарищей в 1904 году переезжает в Петербург. В доме на Монетной устраивает конспиративную квартиру. Работает в Организационном комитете по созыву III съезда партии. В дни октябрьской стачки 1905 года в квартире Голубевой происходили заседания Петербургского комитета, а в 1906 году эта квартира стала штаб-квартирой В. И. Ленина. В 1907 году заведовала подпольной типографией на Петербургской стороне.

После Великой Октябрьской революции направляется в органы ВЧК. В 1920 году работает в статистическом отделе ЦК партии. В 1928 году активно трудится в Обществе старых большевиков. Она автор популярных очерков по истории партии для молодежи. В 1934 году участвовала в работе Бюро жалоб Комиссии советского контроля при Совете Народных Комиссаров. Ее перу принадлежат воспоминания о В. И. Ленине. В 1936 году М. П. Голубева умерла на семьдесят пятом году жизни.

ЧТО РАЗРЕШАЕТСЯ В ТЮРЬМЕ

«По Высочайшему повелению 22 августа 1890 года Яснева подчинена гласному надзору полиции на два года, вне местностей усиленной охраны, о чем было сообщено Орловскому губернатору, Московскому генерал-губернатору, Санкт-Петербургскому губернатору, Харьковскому губернатору, Войсковому Наказному атаману Войска Донского, Одесскому градоначальнику...»

Мария Петровна сидела в полутемной канцелярии, украшенной портретом государя императора, и читала приговор. Начальник тюрьмы, лысоватый, угрюмый, придвинул чернильницу, попросил расписаться. Промокнул тяжелым прессом, рассмотрел завитки, поставленные Ясневой. Размеренным жестом достал из кожаного портфеля новую бумагу, положил ее перед осужденной.

«...Ясневой, как лицу, состоящему под гласным строгим наблюдением, воспрещено, на общем основании, жительство в обеих столицах, Петербургской губернии без срока, причем ограничение это может быть снято впоследствии по удостоверении местными властями ее безукоризненного поведения».

Начальник тюрьмы указательным пальцем провел черту. Молодая женщина вновь расписалась и поднялась. Значит,

ссылка...

Вернувшись в камеру, Мария Петровна устало прислонилась к холодной стене. Неподвижно глядела на каменный пол, натертый графитом до блеска. Кажется, на полу вода, в которой отражается вся неприглядная обстановка: железная койка, кривоногая табуретка, шаткий стол. Ее предшественник, проведя в камере Орловского тюремного замка пять лет, отполировал камень, спасаясь от безумия. Как-то сложится ее судьба? Как сохранить силы? Разум! Волю! К тому же проклятая чахотка...

Девушка вынула из рукава арестантского бушлата гвоздь, начала по памяти доказывать теорему Пифагора.

Резко ударила форточка. Часовой просвистел. Вызвал дежурного офицера, показал на стену, разрисованную формулами. Офицер, небритый, неряшливый, хрипло сказал:

— Заниматься математикой и чертить стены, казенное имущество, по инструкции не полагается!

— А что полагается? — насмешливо полюбопытствовала Мария Петровна, не выпуская гвоздя из тонких пальцев.

Офицер молча повернулся, хлопнул дверью. Загремел замок. Шаги удалялись. Она села на койку, подавляя раздражение. «Что ж! Не плохо бы размяться!» Подошла к окну, едва светящемуся сквозь лохмотья паутины. Глубоко вздохнула, широко разведя руки, выдохнула. Вдох — выдох... Вдох — выдох... Наклонилась, дотронувшись до скользкого пола. Голова чуть кружилась, ноги побаливали. «Дуреха, как ослабела... Возможно ли запускать гимнастику?!» И опять наклон, наклон...

Открылась форточка. Часовой кашлянул. Мария Петровна повернулась лицом к двери, не прекращая гимнастику. Часовой поднес ко рту свисток, болтавшийся на шнурке. Дежурный офицер явился неохотно. В камеру не заходил, лишь прокричал, сдерживая зевоту:

— Заниматься гимнастикой по инструкции не полагается... Приказываю прекратить!

— А что полагается?! — распрямилась Яснева.

И опять захлопнулась форточка. Ржаво завизжала задвижка. Опять отдалились шаги. Мария Петровна вытерла холодную испарину, взяла железную кружку, сделала несколько глотков. «Что ж! Отдохну... Сердце зашлось!» Она легла на койку, отвернулась к стене. Смотрела на расщелины, заляпанные глиняными заплатами, проступавшими поверх побелки. Сквозь дрему услышала свисток надзирателя, грохот запоров, раздраженный окрик:

— Спать должно, обратясь лицом к двери! — Дежурный офицер помолчал и уныло добавил: — По инструкции прятать руки под одеяло не положено!

Мария Петровна приподнялась, приложив платок к губам, сдерживая кашель, спросила:

— А что полагается?

Офицер повернулся на каблуках, вышел. Девушку душил гнев. Откашлявшись, вытерла кровь на губах. Сбросила одеяло, пропахшее мышиным пометом. Осторожно достала из-под подушки крошечные шахматные фигурки, сделанные из хлебного мякиша. Расчертила стол на квадраты и начала их расставлять. Конечно, требовалось изрядное воображение, чтобы в этих уродцах признать шахматных бойцов. Особенно нелепа королева. Белый хлеб в тюрьме большая редкость. Пока-то соберешь шахматное войско! Спасибо добросердечной купчихе за крендель в воскресный день. Разом закончила лепку. Шахматы она любила.

Как часто, учительствуя в деревне, под вой ветра и вьюги разучивала партии с испанской защитой. Бережно передвигая фигуры, начала игру. Очарование разрушил офицер, незаметно подкравшийся.

— Играть в азартные игры по инструкции не полагается! — Офицер протянул руки, чтобы взять шахматы.

Покориться?! Яснева рванулась, сгребла их, запихнула в рот. Офицер сердито шевелил усами, размеренно покачивался с пяток на носки. Арестантка торопливо заглатывала последнюю порцию. Смотрела уничтожающе, зло. Офицер вышел. Девушка скрестила руки на впалой груди и, не отрывая глаз от проклятой форточки, запела:

Хорошо ты управляешь:
Честных в каторгу ссылаешь,
Суд военный утвердил,
Полны тюрьмы понабил,
Запретил всему народу
Говорить ты про свободу,
Кто осмелится сказать —
Велишь вешать и стрелять!

Заливался свисток за дверью. Надзиратель, надув толстые щеки, пугливо таращил глаза. Гремел офицер:

— Яснева, в карцер! В карцер!

Девушка насмешливо повела плечами, поплотнее закуталась в платок. У двери бросила:

— Наконец-то узнала, что разрешается в тюрьме!

САМАРА

— Значит, вы якобинка?!

— Да, якобинка, и притом самая убежденная! — запальчиво ответила Мария Петровна.

Они шли по сонным улицам города. Светила луна, полная, яркая, как в первые дни новолунья. Скованная морозцем земля похрустывала под ногами. Мария Петровна поглубже надвинула котиковую шапочку, прижала муфту. Молодой человек осторожно вел свою собеседницу под руку, закутавшись башлыком от ветра.

За чаем у Ульяновых засиделись. Ульяновы жили скромно, на

пенсию, получаемую после смерти Ильи Николаевича. Яснева старалась как можно чаще бывать в этом гостеприимном доме. Нравилась атмосфера радушия и уважения, царившая в семье, простой и строгий уклад. Удивлялась Марии Александровне, невысокой, худощавой, с густыми седыми волосами, ее мужеству, ее стойкости. Владимир разговаривал мало. Сражался со стариком Долговым в шахматы, был задумчив. Начали прощаться. Мария Александровна. взглянув на часы, всплеснула руками: время позднее, на улицах пьяная голытьба, да в темноте и ногу сломать недолго. Владимир вызвался проводить ее. Мария Петровна обрадовалась — на разговор с Ульяновым возлагались особенные надежды.

— Проклятое земство! До какого состояния довели город: улицы залиты грязью, перерыты канавами, а купчины ставят царям монумент за монументом! — сердито сказала Мария Петровна, держась за руку спутника.

Они остановились на краю канавы, разделявшей улицу, неподалеку от Струковского сада. Ноги девушки скользили по замерзшим комьям глины.

— Ни конки, ни трамвая, ни зеленого кустика — ничего не увидишь в современном Чикаго! Все забито «минерашками», а попросту тайными притонами по продаже водки... — все так же сердито продолжала Мария Петровна. — В думе двадцать лет мусолят вопрос о прокладке водопровода! Даже милейший Долгов, земец и либерал, возмущается. Купцы боятся конки: займет всю улицу и будет отпугивать покупателей! Вот и логика!

— В Думе занимаются безвредным для государственного строя лужением умывальников! — Владимир помолчал и с сердцем добавил: — Народного бедствия стараются не замечать!

— Наша российская действительность! Чему удивляться?! Всего лишь десять лет тому назад на Троицкой площади стоял эшафот с позорным столбом... Подлинное средневековье! На грудь жертве привязывали доску, прикручивали веревками к столбу, и пьяный палач в красной рубахе брал кнут... — Голос Марии Петровны дрожал от возмущения. — На такой общественный строй нужно поднять руку! Вы, брат казненного Александра Ильича, обязаны быть с нами, якобинцами!

Владимир молчал. Карие глаза в темноте казались почти черными. Мария Петровна говорила с жаром:

— Революцию начнет молодежь, члены организации. Народ поддержит, народ к революции всегда готов. Россия должна покончить с вековой спячкой и развить капиталистическое производство...

— Значит, в России нет собственного капиталистического

производства?! А полтора миллиона рабочих?! — удивленно парировал Ульянов.

— И все же у нас нет собственного производства... Нет тех социальных противоречий, которые позволили бы оторвать мужика от земли! — горячилась Мария Петровна. — Народники...

— Народники... Они фарисейски закрывают глаза на невозможное положение народа, считая, что достаточно усилий культурного общества и правительства. — Ульянов, заметив протестующий жест Марии Петровны, повторил: — Да, и правительства, чтобы все направить на правильный путь. Господа Михайловские, от которых вы впитали сию премудрость, прячут головы наподобие страусов, чтобы не видеть эксплуататоров, не видеть разорения народа.

— Вы не правы!

— Прав! Позорная трусость, боязнь смотреть правде в глаза, нежелание понять, что единственный выход в классовой борьбе пролетариата, того пролетариата, рождение которого вы не признаете вопреки исторической действительности. Когда же об этом говорят социал-демократы, то в ответ — непристойные вопли... Нас упрекают в желании обезземелить народ! Где пределы лжи?! — Ульянов снял фуражку и обтер высокий лоб платком.

Мария Петровна слушала напряженно, заинтересованно.

— Михайловский острит с легкостью светского пшюта, обливает грязью учение Маркса, которого он не знает и не дает себе труда узнать! С видом оскорбленной невинности возводит очи горе и спрашивает: в каком сочинении Маркс изложил свое материалистическое учение? Выхватывает из марксистской литературы сравнение Маркса с Дарвином и жонглирует. — Голос Ульянова зазвенел от негодования. — Метод Маркса, открытый им в исторической науке, замалчивается. Слона-то он и не приметил!

— Я отдаю должное Марксу... Тут я не разделяю взглядов Михайловского, столь красочно обрисованного. Но ведь дело не в том, чтобы вырастить непременно самобытную цивилизацию из российских недр, и не в том, чтобы перенести западную цивилизацию. Надо брать хорошее отовсюду, а свое оно будет или чужое — это уже вопрос практического удобства, — Мария Петровна твердо взглянула на Ульянова.

— Практического удобства?! Брать хорошее отовсюду и — дело в шляпе! Браво! Утопия и величайшее невежество, свойственное народничеству девяностых годов. — Заметив, как нахмурилась Мария Петровна, резко бросил: — Чушь! Отсутствие диалектики! На общество следует смотреть как на живой

организм в развитии, Мария Петровна! У Михайловского дар, умение, блестящие попытки поговорить и ничего не сказать.

— Блестящие попытки поговорить и ничего не сказать! — засмеялась Мария Петровна, прикрывая муфтой лицо от ветра. — С вами очень трудно спорить, просто-таки невозможно!

— А вы спорьте, если чувствуете правоту! Есть люди, которым доставляет удовольствие говорить вздор. — Владимир устало махнул рукой. — Это все к Михайловскому. Я занят работой утомительной, неблагодарной, черной... Собираю разбросанные там и сям намеки, сопоставляю их, мучительно ищу серьезного довода, чтобы выступить с принципиальной критикой врагов марксизма. Временами не в состоянии отвечать на тявканье — можно только пожимать плечами!

— А Маркс в «Капитале» говорит...

— Маркс, марксизм... — Ульянов с легкой грустью продекламировал на отличном немецком языке:

> Wer wird nicht einen Klopstock loben?
> Dort wird ihn jeder lesen? Nein.
> Wir wollen weniger erhoben
> Und fleissiger gelesen sein.[3]

— Никто не производил на меня такого впечатления. А ведь вам лишь двадцать один год! Думала вас, Владимир, обратить в свою веру. — Мария Петровна мягко улыбнулась, протянула руку.

— Да, Мария Петровна! Теперь ваша очередь меня провожать, а то мы вновь на Казачьей улице...

В МОСКВЕ НА ВОЗДВИЖЕНКЕ

Падал дрожащий свет от газовых фонарей. Припудренные снегом липы Тверского бульвара отбрасывали ажурную тень на дорожки. На бархатном небе выделялись яркие звезды, серебрился месяц. На скамьях с выгнутыми ножками сидели старики, закутав подбородки шарфами. У памятника Пушкину, как обычно, корзина живых цветов.

Мария Петровна перешагнула чугунные цепи, протянутые между старинными фонарями, и положила на цоколь красную розу.

Вернувшись в Самару из Сибири, куда она ездила навестить

Заичневского, Мария Петровна стала добиваться разрешения на переезд в Москву. В столице жили ее мать, сестра, выславшая свидетельство о болезни матери, но жандармское управление права на въезд в Москву не давало. После долгих хлопот оказалась в Твери. И на том спасибо! Тверь не так далека от Москвы, как думалось охранке. Частенько, невзирая на запрещения, приезжала в столицу, восстанавливала связи, нарушенные арестом и ссылкой. Поездки ее особенно участились, когда в 1893 году в Москве поселилась семья Ульяновых. Сколько счастливых часов провела она в их доме в Самаре, а теперь вот в Москве...

Сегодня ожидала большая радость. В канун нового, 1894 года Владимир Ильич из Петербурга приехал навестить родных. Она договорилась встретиться и отправиться с ним на полулегальную вечеринку на Бронной. Там ждали Воронцова, народника, авторитет которого был непререкаем. Устроители вечера попросили Марию Петровну привести кого-нибудь поинтереснее, чтобы поговорить смело, «без замка на устах». Подумав, она отнесла приглашение Ульянову. Разгром якобинцев, потеря друзей-единомышленников сказались тяжело. Но главное было в другом — росло сомнение в правильности, а вернее, в жизненности якобинства. Вот почему так откровенен стал интерес к молодому Ульянову. Она искала с ним встреч, искала разговоров...

Владимир Ильич остановился у сестры в Яковлевском переулке. Мария Петровна с радостным волнением отворила дверь в небольшую прихожую, где царило веселое оживление. Оказывается, Анна Ильинична с мужем также уходили на полулегальную вечеринку.

— Может быть, на ту же самую, что и мы?!— полюбопытствовала Анна Ильинична, поправляя перед зеркалом вуаль на английской шляпе.

— Нет, не думаю. У нас собираются народники. Очень конспиративно. Ограниченное число лиц. Всем надоела проповедь «малых дел», решили поговорить «без замка на устах», — многозначительно ответила Мария Петровна, но, перехватив иронический взгляд Ульянова, переменила тон: — Владимир Ильич, вам следует послушать москвичей. Думается, что вы единственный, кто знает, что нужно делать.

Владимир Ильич неопределенно пожал плечами. За это время, что они не виделись, он возмужал. Взгляд карих глаз стал строже, спокойнее.

— И мы с Марком Тимофеевичем идем на разговор «без замка на устах». Дом Гирша кишмя кишит студентами — там и встреча.

Обычно обстановка самая не конспиративная, хотя приглашения передают в темных углах шепотком. — Анна Ильинична натягивала перчатки.

— Молодежь... У нас народ собирается солидный. Адрес сообщили вчера по всем правилам. — Мария Петровна растерянно взглянула на Анну Ильиничну. — Впрочем, встреча также в доме Гирша... Всякое бывает: то назначат вечер, а номер квартиры перепутают, и не поймешь, куда сунуться... Народ испуган, солидных домов нет, вот и мечешься по полулегальным вечеринкам. У якобинцев конспирация была строгой. А современные народники...

— Кстати, о современных народниках. — Анна Ильинична положила руку на плечо брата. — В Москве по рукам ходит реферат о народничестве. Захотела его получить, и тут меня озадачили вопросом: «Вам который?» Оказывается, в городе их ходит несколько. «А например?» — полюбопытствовала я, не желая высказать невежества. Например: «Михайловский сел в колошу!»

— Получили? — заинтересовалась Мария Петровна, вынимая из сумочки платок.

— Да, получила. Те самые синие тетради с критикой народников, их размножили на мимеографе, приложив многочисленные таблицы. Кстати, они мне хорошо знакомы, — Анна Ильинична приподняла густые брови, ласково взглянула на брата.

Владимир Ильич довольно потер руки. Он закутывал шею шарфом, не желая огорчать мать, боявшуюся простуды.

— Что ж, пошли, Мария Петровна! — Владимир Ильич поцеловал сестру.

— Мы выйдем через десять минут! — бросила вслед Анна Ильинична, поджидая мужа.

Вдоль дома прохаживался шпик, прикрыв лицо воротником. У фонаря торчал его напарник. Владимир Ильич надвинул черную шляпу, отвернулся. Мария Петровна невозмутимо проплыла мимо шпика. Кто-то громким голосом спрашивал дорогу по столь конспиративному адресу. «Позор! Какая же здесь секретность!» — возмущалась в душе Мария Петровна. По сердитому взгляду Владимира Ильича поняла, что и он недоволен.

В прихожей лежала гора дамских жакетов, студенческих шинелей, зимних пальто. На подоконниках котелки, фуражки, мягкие шляпы. В углу белели ручки зонтов, набалдашники тростей.

Двери залы широко раскрыты. Народу много, слышались

голоса, валил дым. Мария Петровна отколола пелерину, раздумывая, куда бы положить ее. Неожиданно ее кто-то схватил за локоть. Мария Петровна оглянулась. Ба, Анна Ильинична! Оказывается, у них с Елизаровым билеты на этот же вечер!

— Народу — труба непротолченная! — с сердцем сказала Анна Ильинична, поправляя прическу перед зеркалом.

В большой зале, заставленной разномастными стульями и креслами, в красном углу сидел Воронцов. Модный сюртук облегал полную фигуру. Редкие волосы едва прикрывали лысину, которую он поминутно вытирал белоснежным платком. Резким, неприятным голосом Воронцов что-то выговаривал молодому человеку, устроителю вечера. Тот слушал внимательно, наклонив голову, Воронцов достал из кармана сигару. Покатал в полных руках, закурил.

К Воронцову относились почтительно, как к свадебному генералу. Молодежь здоровалась. Он небрежно кивал.

Многоопытная Мария Петровна уселась на подоконник поближе к Воронцову, Главный разговор начнется здесь. Владимира Ильича она в суматохе потеряла. Очевидно, прошел в другую комнату. В квартире все двери распахнуты настежь. Попробуй разыскать в такой сутолоке!

На середину залы вышел высокий тощий студент. Невнятным голосом начал читать реферат по земским вопросам, не отрывая близоруких глаз от исписанных листков. Читал долго, вяло. Молодежь перекочевывала из комнаты в комнату. Студент видел одного Воронцова, цитировал, ссылался на его статьи.

— Стоило собираться столь таинственно... Очередной реферат об аптечках... — с сердцем проговорил сосед Марии Петровны.

Яснева одобрительно засмеялась. Вот они, «малые дела», которым многие отдали дань! Сосед, этот вихрастый студент, прав.

— Опять долгий сказ о красавице деревне, о злых волках марксистах, задумавших разорить мужика! — Вихрастый студент откровенно зевнул.

— Да-с... Новая серенада деревне! — Мария Петровна потеснилась, чтобы вихрастый студент удобнее устроился.

— Вот и я считаю, что нельзя говорить о деревне как о едином и неделимом организме. В деревне есть кулак, в деревне есть бедняк... — громко закончил сосед, очевидно желая, чтобы на него обратили внимание.

— Тихо, господа! Не мешайте! — Воронцов метнул гневный взгляд в их сторону.

Докладчик возвысил голос. «Аптечка... Культурный долг

интеллигенции... Народ... Община...» — доносилось до Марии Петровны. Скукота-то какая!

— Народное землевладение — ключ крестьянской позиции, значение которой отлично понимают наши враги. Отсюда происходят нападки на общину, отсюда множество проектов об отрешении землевладельца от земли. И все якобы во имя национального прогресса! — Воронцов выпрямился, звучным голосом проповедника бросая слова в притихшую залу.

Молодежь благоговейно молчала, придвинулась к Воронцову.

— Зачем затушевывать факт наличности в крестьянском хозяйстве труда за чужой счет, какой царит и вне общины и настежь отворяет двери сентиментальному и слащавому фарисейству!

Послышался громкий, сильный голос. По легкой картавости Мария Петровна его узнала. Владимир Ильич! Все повернули головы. Владимир Ильич стоял у двери, резко бросал фразы. Воронцов оторопело смотрел на него.

«Ульянов... Брат казненного Александра Ильича!» — донеслось до Марии Петровны.

— Наша община малоземельная, обремененная податями. Земли у крестьянина было и без того не много, а теперь вследствие возрастания населения и ухудшения плодородия стало еще меньше. — Воронцов говорил, не отрывая гневного взгляда от Владимира Ильича. — Молодой человек, не думайте, что мы не видим жизни. Жизнь в деревне становится тяжелее. Крестьяне уходят на заработки, оставляя дома только жен и детей.

— Но крестьяне выкупают свои наделы у помещиков. Почему вы главное внимание обращаете на то, что мало, а не на то, что землю продают?! — удивленно повел плечами Владимир Ильич. — Замалчивая этот факт, вы становитесь в позицию человека, рассуждающего о том, мало или много продают земли. Политиканствуя о различных улучшениях жизни общины — только и света, что от капиталистической луны!

Кто-то громко засмеялся. На него зашикали. Вновь установилась напряженная тишина, которую уже давно Мария

Петровна не видела на вечерах. Воронцов покраснел, притопнул ногой.

— Ваши положения бездоказательны! Ваши заключения голословны! Покажите, что дает вам право утверждать подобные вещи! Где ваши научные работы?.. Я выстрадал свои убеждения... — Воронцов задыхался от гнева. — За меня говорят тома книг!

— Нельзя злоупотреблять такой несуразностью, как историческое первородство! — не утерпела Мария Петровна,

привстав с подоконника.

По залу пробежал смешок. Воронцов овладел собой и с излишней медлительностью, словно на лекции, отчитывал Ульянова:

— Люди, заинтересованные в водворении буржуазного порядка, ежечасно твердят крестьянству, что виновата во всем община и круговая порука, переделы полей и мирские порядки, потворствующие лентяям и пьяницам...

— По мнению марксистов, причина не в общине, а в системе экономической организации России. Дело не в том, что ловкие люди ловят рыбу в мутной воде, а в том, что народ представляет из себя два друг другу противоположных, друг друга исключающих класса! — возвысил голос Владимир Ильич.

Он стоял сильный. Подобрался, напружинился, словно приготовился для прыжка. Говорил быстро, свободно. Молодежь придвинулась к нему.

— Турнир отцов и детей! — прошептал восхищенно сосед Марии Петровны, погружая пятерню в густые вихры.

— Молодая буржуазия у нас действительно растет, — выдавил Воронцов, подчеркнув слова круглыми жестами. — Выразить ее численность пока трудно, но можно думать, что численность уже значительна!

— Совершенно верно! Этот факт и служит одним из устоев марксистского понимания русской действительности, — удовлетворенно подхватил Владимир Ильич, прищурив карие глаза. — Только факт этот марксисты понимают совершенно отлично от народников! Народник не может отрицать его очевидности, но верит, что его еще можно исправить. Угощая народников его же добром, скажем, что историю делают живые люди. Это ясно, как ясен ясный божий день!

И опять вспыхнул оживленный смех. Владимир Ильич, полный задора и силы, спорил веско. С блеском. Воронцов заметно нервничал, часто повышал голос.

— Близость народничества к либеральному обществу умилила многих, даже моего уважаемого оппонента. Из этого делается вывод о беспочвенности русского капитализма... — Ульянов шагнул вперед. — Близость эта является сильнейшим доводом против народничества, прямым подтверждением его мелкобуржуазности!

Воронцов вскинул короткие руки, покраснел от досады:

— Как вы смеете! Как вы смеете!

Спора Воронцов не выдержал. Сел, провел платком по лицу. Поднесли стакан воды. Он жадно выпил, стараясь не глядеть в сторону Ульянова. Победа полная! Мария Петровна с трудом

пробралась к Владимиру Ильичу, взяла его за руку.

— Пожалуй, пора! — проговорил Владимир Ильич. Вынул часы, щелкнул крышкой: — Ого!

Они прошли в переднюю. Там среди вороха вещей с трудом разыскали пальто. Владимир Ильич подал пелерину Марии Петровне. Раскопал зонтик. Лицо его было спокойно. Одни глаза выдавали волнение.

— С кем я спорил? — озадачил он Марию Петровну.

— С Воронцовым! Забыла вас предупредить!

— С Воронцовым?! — удивленно приподнял брови Владимир Ильич. — Что же не сказали?! Не стал бы так горячиться!

— Признаете его заслуги? — Мария Петровна завязывала черные шнурки пелерины.

— Есть заслуги, но главное — бесполезно!

ОБЫСК

«Я получил прекрасное воспитание — в том смысле, что от меня никогда не скрывали правду и с малых лет приучали любить правду. Мой отец был за правду сослан. Я с трудом кончил гимназию, так как мне были ненавистны та ложь и фальшь, в которой нас держали. Я поступил в университет и стал деятельно заниматься пропагандой между товарищами, стараясь привлечь их к революционной деятельности. Меня исключили из университета. Я стал заниматься пропагандой среди солдат...» Василий Семенович снял пенсне, обхватил голову руками. Вечером перед сном он обнаружил в почтовом ящике письмо с вложенной прокламацией. Последнее слово на суде Балмашева, написанное на папиросной бумаге фиолетовыми чернилами.

Голубев хорошо знал Балмашева, с отцом которого дружил. Мальчик... Худощавый... Больной... И вдруг стрелял с таким удивительным хладнокровием! А что изменилось? Ничего! Министр внутренних дел уже назначен, а Балмашев казнен в Шлиссельбурге!..

«И тогда-то я убедился, что одними словами ничего не поделаешь, что нужно дело, нужны факты. У меня явилась идея убить одного из тех людей, которые особенно много причиняют зла. Я обещал вам открыть на суде сообщников своих. Хорошо, я их назову — это правительство. Если в вас есть хоть капля справедливости, вы должны привлечь к ответственности вместе со мной и правительство».

— Привлечь к ответственности правительство! — Василий

Семенович сбросил плед, которым были укутаны его ноги, поднялся. Нет, он не верил, вернее — давно потерял уверенность в возможность силой вырвать у правительства уступки. Нужно с правительством как-то договориться, используя легальные формы борьбы... Довольно безрассудных жертв! Довольно!

Невысокий дом в три окна, где поселились Голубевы, стоял на углу Соборной и Малой Сергиевской. Парадное под резным навесом. Окна в нарядных наличниках. Дом оказался удобным. Большие светлые комнаты с высокими потолками. Кафельные печи в зеленых цветах.

Под кабинет Василий Семенович оборудовал угловую комнату с двумя окнами, затененными липами. Между окон в простенке старинный письменный стол. Глубокое кресло, столь любимое для отдыха. Шкафы с книгами. Дом казался ему таким удобным еще и потому, что на Малой Сергиевской находилась земская управа, а он — секретарь управы. К кабинету примыкала детская. Мария Петровна пыталась перевести детскую в более тихие комнаты, выходившие во двор, но Василий Семенович не разрешил. Девочек любил самозабвенно. Леля и Катя... После пяти лет ссылки, голода и лишений наконец-то семья, собственный угол, приличное содержание. Хотелось жить спокойно, заниматься работой, семьей... К тому же Сибирь его напугала. Кто он? Песчинка в грозном океане... Его сотрут, раздавят... Чернышевский, не ему ровня, провел на каторге в Кадаи и Александровском заводе семь лет, из которых два года был закован в кандалы. Как-то Василий Семенович подсчитал годы, прожитые в неволе: два года в Петропавловской крепости в ожидании суда, семь лет каторги и двенадцать лет ссылки. Более двадцати лет!..

Сразу же после переезда в Саратов Василий Семенович повел Марию Петровну на Воскресенское кладбище. Там в скромной часовенке из разноцветных стекол, заставленной железными венками, погребен великий Чернышевский. У часовенки отдыхала Ольга Сократовна, его жена, все еще красавица. Смотрела, как сыновья поливали цветы.

Мария Петровна низко поклонилась Ольге Сократовне. Обнажил голову и Василий Семенович. Ольга Сократовна не удивилась. Могилу Чернышевского посещали многие. Она ответила на поклон, поблагодарила за белые розы. Притихшие, озабоченные, они скрылись в глубине кладбища. Молчали, взявшись за руки. Василий Семенович с глазами, полными слез, прошептал:

— Я хочу повторить слова Чернышевского, записанные им в дневнике в день объяснения с Ольгой Сократовной. В то

счастливое время он подарил ей скромный томик стихов Кольцова. «Это будет мой первый подарок ей и первый мой подарок женщине... Книга любви чистой, как моя любовь, безграничной, как моя любовь; книга, в которой любовь — источник силы и деятельности».

Мария Петровна благодарно улыбнулась. Василий Семенович не стыдился слез.

С особым чувством они выбирали дом на Соборной улице. Здесь умер Чернышевский, возвратившись из изгнания. Вернее, дом выбирала Мария Петровна. Условие одно: дом должен иметь два выхода. Василий Семенович сразу понял его назначение. Он искал покоя, тишины, она — борьбы, бури. Он возлагал надежды на земцев, на легальные формы, она — на революцию, на партию. Так разошлись их пути. Где? Когда? Он не смог бы ответить.

Мысли о жене... Мысли о детях... Его девочки. Леля и Катя... Долгими ночами, работая в кабинете, заходил в их комнату поправить одеяла, послушать сонное дыхание. Они живы, они счастливы. А первая... Смерти ее забыть Василий Семенович не мог. Несчастье случилось в первый год женитьбы. После ссылки в Усть-Удинске, получив проходное свидетельство, поехал в Смоленск. Оттуда написал Марии Петровне, с которой познакомился в Сибири. Она приезжала проведать своего учителя Заичневского. Встретила их на этапном дворе, больных, полуголодных. Майским днем с волнением подходил к номерам Алтухина, где остановилась приехавшая из Саратова Мария Петровна. Лицо охлаждала влажная сирень. Душистые белые грозди напоминали свадебный букет. Мария Петровна открыла дверь и замерла на пороге, беспомощно прижав руки к груди. Серое платье оттеняло глаза. Огромные. Глубокие. Поняла, что пришел навсегда...

Такой и запомнил ее, такой и берег в своем сердце. Жить в Смоленске оказалось трудно. Квартиру сняли на Петропавловской улице. Полуподвал при городской больнице. Василий Семенович устроился фельдшером. Платили гроши. Уроков Марии Петровне достать не удалось ввиду политической неблагонадежности. Но всего тяжелее — надзор полиции. Постоянный. Ежечасный.

Теперь они в Саратове. Удалось достигнуть определенного положения: служба в земской управе, литературная известность. А покоя нет. Мария Петровна член комитета РСДРП, на ее руках связи, явки, транспортировка нелегальщины. Конечно, о многом она не говорит, но он догадывается... И отсюда вечный страх: потерять жену — потерять жизнь!

От раздумий Василия Семеновича отвлек звонок. Взглянул на часы. Три. Кто в такой поздний час?! Кто?! Сердце заколотилось,

выступил липкий, холодный пот. Он подошел к окну. Сквозь ставни ничего не смог разглядеть. Но услышал, как по мокрому от дождя листу прошуршала пролетка, осторожное покашливание. Ясно, что у парадного притаились люди. Бесшумно открылась дверь. Мария Петровна, накинув шаль на ночную рубаху, прошла в детскую. Под шалью нарядная кукла, сверток.

Звонок дрожал от яростного напряжения. Проснулась кухарка. Полураздетая заглянула в кабинет, испуганно крестясь.

— Марфуша! Откройте дверь... Узнайте, кому понадобилось ломиться ночью! — проговорила Мария Петровна, отсчитывая в рюмку сердечные капли Василию Семеновичу. — Ты полежи на диване... Обойдется!

Василий Семенович глядел на нее тоскующими глазами. Боже! А если не обойдется?! Если ее увезут?! Что будет с девочками?! Что будет с ним?!

— Обыск, Мария Петровна! — простонала кухарка.

Василий Семенович замер. Ждал. Дверь распахнулась, и жандармский ротмистр, похрустывая ремнями, переступил порог.

— По постановлению полицеймейстера вынужден произвести обыск. — Ротмистр поднес руку к козырьку фуражки.

— Покажите ордер, — потребовала Мария Петровна, закрывая грудь шалью. — Болен муж... Вы явились в три часа ночи...

Мария Петровна уложила мужа на диван, сделала холодный компресс на сердце. Решительно поднялась и пошла мимо оторопевшего ротмистра. Вернулась скоро, в капоте и кружевном чепце, с забранными русыми волосами. Ротмистр нерешительно переминался. Действительно, обыски в доме Голубевых участились... Человек уважаемый, семейный... Поговаривают, правда, что все зло в жене...

— Приступайте! Но прошу помнить: муж сердечник, а рядом — детская... Девочки могут испугаться ночного переполоха, — заметила Мария Петровна.

Ротмистр пожал плечами, коротко бросил:

— Начинайте! Прежде всего — кабинет!

На середину комнаты ротмистр выставил стул, положил шинель. Осмотрелся. Три книжных шкафа. Хватит перебирать до утра. Книги брал неохотно. Немецкие... Английские... Французские... Энциклопедия Брокгауза... Справочники... Земские сборники... В большинстве книг закладки, выписки, подчеркнутые абзацы. Брови ротмистра удивленно взлетели вверх. Бельтов, «Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии».

— Бельтов?! — осторожно спросил ротмистр. — Бельтов...

Сердце Василия Семеновича дрогнуло. Бельтов — псевдоним Плеханова. Хранение запрещенной литературы! Как это он недоглядел. Да в корешок еще заделал прокламацию о Балмашеве...

— Бельтов — известный исследователь в области искусства и религии. Книги его имеют широкое обращение среди интеллигентов, — вступилась Мария Петровна. — Ты взял из библиотеки народной аудитории? Знаю, наверняка просрочил... Нужно утром вернуть.

Ротмистр повертел книгу, угрюмо поставил на полку. Василий Семенович облегченно вздохнул. Пронесло! И опять руки ротмистра перебирали шкаф. Росла на полу гора книг. Мария Петровна на выдержала:

— Может быть, целесообразнее ставить просмотренные книги на прежнее место. Тем более что ничего предосудительного они не содержат... Вы же образованный человек и знаете, как трудно приводить библиотеку в порядок. К тому же Василий Семенович педант!

Ротмистр кивнул. Городовые начали рассовывать книги по полкам. Ставили косо, переворачивая корешки и путая авторов. Василий Семенович морщился, Мария Петровна презрительно щурила глаза. Обыск продолжался. Выдвинули ящик письменного стола.

— Ради бога! Осторожнее — мои записи... Тезисы... Я потом год не разберусь... Статьи по земским вопросам. — Василий Семенович умолял.

Ротмистр захлопнул крышку. От удара выпал ключ, звякнул об пол. Ротмистр поднялся, хрустнул пальцами. С кабинетом закончено. Нужно переходить в детскую комнату. Василий Семенович приподнялся на локтях. Жандармы в детскую! Разбудят Лелю и Катю! Испугают! Мария Петровна стояла с серым лицом. Не вытерпела, шагнула наперерез.

— Неужели начнете тормошить девочек! — Голос ее задрожал от возмущения.

— К сожалению, вынужден! — Ротмистр отстранил ее от двери.

В детской тихо светился ночник. Сказочный гном колпачком прикрыл горящую свечу. Чуть слышно бормотала спящая Катя. Положив розовую ладонь под пухлую щеку, сладко всхрапывала Леля. Старшая. Няня, молоденькая девушка, недавно приехавшая из деревни, боязливо натянула на глаза байковое одеяло.

Щупленький жандарм внес зажженную лампу. Уронил колпачок сказочный гном. Леля привстала, испуганно смотрела

на чужих людей. На подушке рядышком лежала кукла. Большая. Нарядная. С закрытыми глазами. Леля хорошо помнила, что спать ее укладывали без куклы. Значит, принесла мама. Да, конечно. Мама ее всегда хвалила, долго целовала, если она, разбуженная ночью, брала куклу на руки. А сегодня? Леля вопросительно поглядела на маму, встревоженную, непривычно серьезную. Придвинула куклу поближе, не понимая, что происходит вокруг. Чужие люди выкидывали белье из пузатого шкафа, перекидывали вещи нянюшки. Кто-то толкнул красный мяч, он покатился, путаясь под ногами. Разрушили горку из игрушек, за которой так следила мама. Лишь один ванька-встанька улыбался разрисованным ртом. Нянюшка, открыв обитый железом сундук, торопливо выбрасывала ситцевые кофты, хрустящие юбки в оборках. Леле стало страшно от чужих и неприветливых людей, от грубых рук и разбросанных игрушек... Почему же мама, всесильная мама, не выгонит их из спальни?! Шум разбудил и Катю. Обычно улыбчивое лицо удивленно вытянулось. Катя начала плакать слезами-горошинками. Мама не подошла к Кате, а молча стояла у косяка двери. Леле стало еще страшнее. Вот так же возьмут ее куклу, которую она даже Кате не доверяет, возьмут и бросят... На полу лежали плюшевый мишка, расфранченная матрешка, цветные кубики. Раскидывали нянюшкину постель. Вот они уже у Катиной постельки. Сдернули кружевные занавески, перевернули матрац. Катя отчаянно закричала. Няня взяла девочку, сердито оттолкнула жандарма. Леля боялась этих жадных рук. Она поднялась, держась за деревянную спинку. Опустила ноги на холодный пол, подумала и взяла куклу. К Лелиной постели подошел ротмистр. Девочка стиснула куклу и сердито посмотрела.

— Бог мой! Люди добрые! Детей обыскивают! — в голос запричитала кухарка. — Обыск в детской! Обыск!

— Прекратить! В гостиную! Один на кухню! — резко прервал причитания кухарки ротмистр.

— Пожалуйте! По-жа-луй-те на кухню! За тараканами на печку! Ничего недозволенного не держим! Может, клопов или мышей усмотрите! — бушевала кухарка, подперев крутые бока.

— Уймись, чертова баба! — с сердцем прикрикнул щупленький жандарм.

Однако унять кухарку оказалось нелегко. С кухни доносился ее громкий голос:

— Вот кадка с углем... Чугунок со щами!

Мария Петровна не могла сдержать улыбки. Прежде чем уйти из детской, она подошла к Леле, крепко ее поцеловала и поспешно вышла на кухню.

Путая русские слова с украинскими, Марфуша с грохотом выкидывала кастрюли, сверкавшие начищенной медью.

— Медный таз, пан жандарм! — она выразительно громыхнула по начищенному дну. С нарочитой поспешностью Марфуша пересчитывала обливные миски, похожие как близнецы, перебрасывала поварешку, ножи. Жандарм шарил в кухонном буфете, звенел посудой, хлопал дверцами. Марфуша, чувствительно толкнув его, прошла к чулану. Сняла с дверцы замок, который вешали от девочек.

— Здесь дрова для плиты... Вечор наколол дворник. Эти поленья для сушки. — Марфуша спрятала руки под фартук.

Ротмистр отстранил ее. Мария Петровна стояла с непроницаемым лицом. Сверху лежало полено. Березовое, в черных разводах. Полено, как другие. И все же особенное... с искровскими листовками. Найдут — долгий арест... Ротмистр устало махнул рукой. На помощь бросился жандарм. Начал перекидывать дрова, выгребать щепки. Поленья покатились на кухню. Мария Петровна внимательно следила за обыском в чулане. Почему с такой тщательностью они там копаются?! Может быть, что-то им известно... Дрова загородили проход. Жандарм стал их выбрасывать в коридор. Березовое полено, то самое, в черных разводах, подкатилось к ногам Марфуши. Кухарка вскрикнула, отдернула ногу. В чулане крюками приподнимали половицы. И опять тревога — под половицами закопана литература. Получила ее недавно, переправить в Солдатскую слободку не успела...

Ротмистр вылез из чулана, взглянул на часы. Обыск длится четыре часа.

— Заканчивай! — ротмистр натянул перчатку, улыбнулся Марии Петровне. — Душевно рад, что все благополучно... Разрешите откланяться!

— Думаю, что ненадолго! — презрительно сжала губы Мария Петровна и, круто повернувшись, прошла в детскую.

МАСТЕРСКАЯ «ПРЯТОК»

Тесовые ворота пахли смолой. Покосилась вывеска, вырисованная славянской вязью. Над калиткой болтался колокольчик. Сквозь редкую изгородь виднелся невысокий дом, столь обычный для городской окраины. Над домом раскачивался скворечник. Свежевыстроганный, как и дом.

Апрельский ветерок сгонял прошлогодние листья с дорожки,

проложенной к дому. Краснели набухшие почки деревьев, выпуская крошечные листки. В глубине двора у разбросанных досок зеленела кустиками трава. У мастерской стояла подвода, на которую нагружали буфет.

Канатчиков, владелец мастерской, в холщовом фартуке помогал мастеровым увязывать покупку. Покупатель, приказчик в сапогах с калошами, осторожно подкладывал солому под буфет, боясь, как бы не повредили дорогой. Вздыхал, шумно торговался, хотя покупка ему явно нравилась.

— Десятка! Мать честная, десятка! — Цепкие пальцы вновь и вновь приоткрывали крышку.

— А работы-то сколько, милой! — беззлобно отвечал Канатчиков. — Смотри, какие швы... А дверца! Играет! Цветочки словно живые. Материал сухой, простоит сто годов... Внукам пойдет...

— Работа подходящая, но и денежки...

— Мне эти деньги на толкуне дадут с лихвой... Хочется удружить хорошему человеку... — Канатчиков провел рукой по лакированной дверке.

Приказчик полез в карман поддевки с двойным рядом пуговиц. Достал деньги, завернутые в платок. Подержав в потной ладони, отдал. Канатчиков попробовал кредитку на ощупь, посмотрел на свет. Послышался ржавый скрип запоров на воротах, и телега выехала на пыльную горбатую улицу.

Мария Петровна сидела на скамеечке у ворот. На ней потертый сак и черный кружевной шарф. На коленях кошелка с зеленью — петрушкой, луком. Одеждой она напоминала кухарку из хорошего дома.

— Скуповат, хозяин! Так всю клиентуру растеряешь. Торгуешься, будто скряга. — Мария Петровна покачала головой и неожиданно закончила: — Молодец!

— Такой уж народец навязался на мою душу! Лабазная крыса! Все канючит, канючит! — Канатчиков потрогал светлую ниточку усов. — Счастье, что заказы со стороны берем редко. Своей работы завались.

— Нет, со стороны следует брать... Непременно! Так конспиративнее, правдоподобнее. — Мария Петровна озабоченно спросила: — Мое полено готово?

— Завтра, хозяюшка, доставим! — Канатчиков кивнул на ступенчатый костер березовых дров. — Так говорите, при обыске спасло поленце...

— Спасло! Поэтому хочу запастись еще одним. — Она хитро улыбнулась.

— Воеводин, спускай пса! — Канатчиков подошел к калитке,

навесил крюк.

Из конуры большими прыжками вывалился лохматый пес и затряс тяжелой цепью. Сонно зевнул, потянулся, шаром подкатился к Марии Петровне. Женщина отстранилась, засмеялась. Потрепала рукой по жестким космам. Шарик прижал уши, отскочил и вновь вихрем налетел на Марию Петровну.

— Сами виноваты: испортили собаку! Никакой злости нет!

Пес стоял на задних лапах, умильно крутил хвостом, тихо скулил. В зеленоватых с рыжими искорками глазах преданность, ожидание.

— Получай, разбойник! — Мария Петровна вынула из корзины кулек с обрезками, критически взглянула на пса. — Больно толстоват, братец!

— Ну, опять баловство, — нахмурился Канатчиков. — Кругом собаки, как тигры. Злые, поджарые. А наш — карикатура на собаку!

— Зато видом берет. Летит снежным комом, цепью гремит... Разорвет! — Воеводин погрузил пальцы в собачью шерсть.

— Счастье, что соседские куры забредают ненароком. Тут уж Шарик кидается так, что цепь стонет. А лает! Ужас наводит на всю округу. — Канатчиков поднял кольцо, болтавшееся на конце цепи, прикрепил к проволоке, протянутой вдоль забора.

Шарик неохотно поплелся к конуре, опустив лохматую голову и поджав хвост.

Мария Петровна смеялась. Потом покопалась в корзине, достала пакет в серой бумаге.

— Получайте. Двадцать прокламаций... Это Воеводину для завода Гантке... Еще десять номеров «Искры». — Мария Петровна прищурила глаза и добавила: — Газету нужно беречь, отдавать только в надежные руки. Денег нет. Бумаги нет. С типографией туго...

Воеводин понимающе кивнул головой, запрятал сверток в пахучие стружки, но огорчения своего скрыть не сумел:

— Что так мало?

— Неприятность. Дали одному молодцу, сверток с литературой оказался в полиции.

— Провокатор?! — насторожился Воеводин.

— Нет, стечение обстоятельств.

Воеводин почесал затылок. Вздохнул.

— Показывайте, что придумали... Кстати, тут двадцать пять рублей на материал. Знаю, что мало, — отрезала Мария Петровна, не дав возразить Канатчикову. — Денег нет! Касса пустая! Завтра в Коммерческом клубе вечер. Наверняка соберем. Тогда и вам выделим. А пока говорить не о чем.

— Так от вечера до вечера и тянем... — досадливо заметил Канатчиков. — Да, о событиях в Народной аудитории слышали?

— Были в Народной аудитории? — удивилась Мария Петровна.

— Мне, как хозяину, посещать богопротивные вечера не полагается, а вот Воеводин целый вечер там проторчал.

— Ну уж вечер... На заводе дамы-благотворительницы раздали билеты. Ребяты сначала не хотели идти, но мы уговорили. Концерт длинный, скучный... Кто-то начал шутить, что, мол, пора бы скрипачу перепилить скрипку. А дамы млели, глаза закатывали от восторга. — Воеводин рассказывал обстоятельно. — Потом не выдержали, сбежали. Поднялись на второй этаж в библиотеку. Стали толковать о заводских делах, пустили по рукам прокламации о стачке на заводе Гантке. Слышим, концерт закончился. Народ повалил в буфет. Мы и надумали... Закрыли поплотнее дверь да как грянем: «Вставай, поднимайся, рабочий народ!»

— Вот так концерт! — довольно заметил Канатчиков.

— Распорядитель с белым бантом влетел как угорелый. Замахал руками, обманули, мол, его доверие. Дружок с завода Берга к распорядителю, тот ему ровно до пояса — смех! Попятился сей чин испуганно, бочком, бочком — и в дверь. Опять загудела железная лестница. Городовой! Тонкий, худой, глиста в обмороке. Только и виду, что одна шашка... «Что за песни?» — прошипел гусаком. Я дурачком прикинулся: «Где, мол, песни? Ничего не слышу». Даже руку к уху приложил. Тут откуда-то студенты, я к ним: «Господин городовой какие-то песни услышал!» Те удивленно развели руками, мол, ничего не слышали. Городовой аж позеленел от злости. «Доложу по начальству... Вызову наряд!» — и засеменил вниз по лестнице. А братва вывалилась на балкон, поет. Так с песнями и спустилась в зал. Меня осенило — снять шапку и по кругу: «Пожалуйста, деньги для недостаточных студентов». Народ смекнул, и полетели денежки осенними листочками. Тут мне пора и честь знать...

— Нельзя было рисковать, деньги следовало вынести! — вставил Канатчиков, как бы объясняя Марии Петровне.

— Понятно, а обидно. Выхожу на улицу, а навстречу катят фараоны. Впереди все тот же комар тонконогий... Постоял я, посмотрел, как из подъезда аудитории начали выволакивать ребят. Первыми — с завода Берга. Студенты кинулись выручать, и их подхватили. — Воеводин от досады сплюнул. — А мне ввязываться нельзя. Деньги руки жгли.

— В какую часть отправили? Может быть, удастся помочь? — заметила Мария Петровна.

— В первую часть на Немецкую... Если бы не деньги — не утерпел. Не могу видеть, как братву запихивают в участок. — Воеводин тряхнул головой. — Сволочи!..

— Придет время — покажешь кулаки, — примирительно заметил Канатчиков. — А пока потерпи...

— Держите деньги, Мария Петровна. — Воеводин подхватил полено, выбил кляп, достал узелок. — Для «Искры»... Пятьдесят шесть рублев и трехалтынный.

— Спасибо, друг! Спасибо! — Мария Петровна запрятала деньги на дно корзины. — А полено не легковато? — обеспокоенно заметила она. — Нужно вес сохранять.

— А вы попробуйте. — Канатчиков подкатил полено.

Мария Петровна нагнулась. Подняла. На щеках появился румянец. Сказала с укором:

— Жадничаете! Тайник хотите побольше сделать, а зря! Провалите при обысках и загубите такую идею. Вынимайте древесины поменьше. Вес. Вес не забывайте.

Мария Петровна прошлась по мастерской. Стружка с хрустом давилась под ногами. Запах свежей смолы и скипидара. А вот и «мебель» для нужд социал-демократов. Обеденный стол с отвинчивающимися ножками. В ножках — тайник. Полки для посуды с двойными стенками; передняя вынималась, если знать секрет. Но подлинного искусства достигли в производстве бочек. Бочка залита водой, а в двойном дне — литература! Но вот Мария Петровна удивленно пожала плечами: в красном углу мастерской — портрет Карла Маркса!

— О конспирации совершенно забыли! — сердито обронила она. — На самом видном месте — портрет!

— Как возможно! — деланно возмутился Канатчиков. — Забыть о конспирации.

Воеводин быстро перевернул рамку. На Марию Петровну смотрели пустые, водянистые глаза Николая Второго. Канатчиков торжествовал, усмехаясь. Мария Петровна не выдержала, махнула рукой. Воеводин хохотал.

В Саратов Канатчикова выслали из Петербурга. Приехал и стал «хозяином» мастерской по производству мебели. Мысль о создании такой мастерской вынашивалась долго. Конечно, получать «Искру» из-за границы дело сложное, перевозка требовала подлинного искусства, но сохранить и уберечь ее при обысках — задача немаловажная.

— Шпиков не видно? — спросила Мария Петровна при прощании.

— Как сказать. Завертелись около нас «клиенты»... Вчера пожаловал господин заказывать диван. Отказали. Милости

просим, через дорогу к Фирюбину. Так, гад, уходить со двора не хотел, крутился, высматривал. — Канатчиков невесело пошутил: — Хотел Шарика спустить.

— Давно началось? — глухо спросила Мария Петровна.

— Да с недельку!

— Мастерская не может провалиться. Понимаете, не может! Удвойте осторожность. — Мария Петровна будто постарела, глаза потускнели, у рта обозначились глубокие складки. — В случае опасности нелегальщину разнесите по известным адресам. Да что вас учить — ученые! — И, желая переменить разговор, спросила: — Так когда привезете полено?

— Завтра... Завтра доставим. — Канатчиков толкнул ногой бочки. — Может быть, бочку прихватить?

— Давайте, не помешает.

ВСТРЕЧА С «ШИКАРНОЙ»

— Как славно отоспалась! — звучно проговорила Зинаида Васильевна, потягиваясь.

Мария Петровна с радостью смотрела на свою старую приятельницу Эссен. Агент «Искры», она приехала в Саратов с паспортом Зинаиды Васильевны Дешиной. Стоял ноябрь 1903 года. Последний раз они встречались в Смоленске в 1897 году. Последовало неизбежное: Эссен арестовали, сослали в Сибирь.

Эссен ввалилась ночью, перепугав Василия Семеновича, решившего, что опять с обыском явилась полиция. Поезд опоздал из-за беспорядков на железной дороге почти на сутки. Мария Петровна встретить ее не смогла. Да она и не предполагала, какого гостя должна встречать.

— Ну, матушка, и грязища же в вашем дорогом Саратове. На вокзале остаться побоялась. Такая роскошная дама!

Вышла из вагона первого класса, за ней — кондуктор, увешанный шляпными коробками, как рождественский дед. И вдруг дама ночует на станции, как бродяжка! — Эссен говорила быстро, чуть прищурив красивые серые глаза.

— Послушай, как изощряются наши поэты в «Саратовском вестнике». — Мария Петровна обняла подругу.

Уж если грязь, то грязь такая,
Что люди вязнут с головой,
Но, мать-природу обожая,

Знать не хотят о мостовой!

Эссен стояла заспанная, в зеленом капоте. Невысокая, стройная. Лицо задумчивое, в золоте густых волнистых волос.

— Выпей кофе. Миндальное печенье из кондитерской Жана. — Мария Петровна налила кофе, придвинула вазу. — Потом уж будешь рассказывать.

На письменном столе разбросаны открытки, чистые конверты.

— Что это у тебя? — поинтересовалась Эссен.

— Открытки выпускаем, — посмеиваясь, ответила Мария Петровна. Придвинула пачку.

Действительно, в пачках открытки на глянцевой бумаге. Черным наплывом карикатурные контуры добропорядочных обывателей. Тонкий и толстый. Шляпы надвинуты на глаза. Под мышками зонты. Модные короткие пальто. Тонкий давал прикурить толстому. Рядом городовой с огромными усищами, длиннющей шашкой и револьвером. Подпись: «Разойдись! Стрелять буду! Толпой больше одного не собирайся!»

— Вот именно — «толпой больше одного»... — засмеялась Эссен удивительно непосредственно и громко.

— Да, остроумно.

— Прежде всего расскажи о себе, — Эссен намазывала масло на черный хлеб. — Представь мое удивление, когда получила явку к Голубевой Марии Петровне.

— К «Искре» меня привлек Арцыбушев. Ворвался ночью, вроде тебя. Бурно-пламенный. Глаза горят. Голос сиплый. В ссылке стал социал-демократом. Он также из якобинцев. Мы с давних пор дружили и судились по одному процессу в Орле, когда я ездила в Сибирь к Заичневскому, то видела и Арцыбушева, говорила ему о знакомстве с Ульяновыми. Тут вышел первый номер «Искры». Арцыбушев и прикатил, предложив добывать деньги для издания газеты. Убеждать меня не требовалось. Народничество было для меня делом прошлым. В те дни 1901 года я формально вступила в партию. Начала готовить адреса, на которые можно присылать «Искру». — Мария Петровна рассказывала неторопливо, как рассказывают старому другу после долгой разлуки. — В марте уже по этим адресам получали газету. Но тут Арцыбушева арестовали. Дело осложнилось, мне пришлось заниматься транспортировкой литературы.

— А как с деньгами?

— Деньги переводим регулярно. «Делать деньгу» поручено мне. Концерты, платные вечера, сборы... Даже провинциальную

звезду Касперовича привозила из Самары. К «Искре» тянутся многие. Дело доходит до курьезов. Граф Нессельроде, чудак и меломан, по двести рублей платит за прочтение каждого номера. У него библиотекарь Шустова, наш человек. Было время, когда «Искру» прятали в его особняке...

— Интересно.

— Скорее здорово! — довольно подтвердила Мария Петровна. — Нессельроде либерал, и интеллигенция изредка пользовалась его библиотекой. И я тоже заодно прихватывала свертки, запрятывала их среди античной литературы, до которой граф великий охотник, а потом уж разносила их по городу.

— А граф?

— Он доверял Шустовой. Самое сложное было с первым транспортом. Пришло известие, а куда принять?! Обегала интеллигентов — отказываются: кто боится, кто бережется для большого дела. Вот когда пригодились мои два чулана с тайничком в полу. Потом дело разрослось, открыли мастерскую, выпустили «прятки». У меня и сейчас есть полено... Но недавно Канатчикова из столярной посадили...

— Это вы славно придумали: мастерская «пряток».

— Хватит об этом, — возразила Мария Петровна. — Ты лучше расскажи, как удалось тебе бежать из Якутии, хотя слухи доходили самые фантастические.

— Ну уж, фантастические... Олекминск, забытый богом и людьми. От железной дороги две с половиной тысячи. Друзья отговаривали — бежать из Якутии зимой! Безумие! Бродяги... Смерть от голода... Морозы... Полиция... И все же я бежала. Поддержал Ольминский. Запеленали меня в шубы, словно куклу, и уложили на дно саней тайком от ямщика. А в санях сидел наш товарищ, прикативший с другого края света выручить меня. Он ехал открыто, а я — в гробу. — Эссен, заметив испуганный взгляд Марии Петровны, пояснила: — Ко дну саней приделали ящик, туда меня и уложили. Настоящий гроб! Добирались без малого две недели. Кошмар! Вспомнить страшно! Потом добыли паспорт у монашенки... Такая сердобольная оказалась — предлагала даже кружку для сбора подаяний.

Мария Петровна засмеялась.

— А как же исправник? Неужели не дал телеграмму о розыске?

— Вот тут-то и потеха! Исправник проверять ссыльных по квартирам не ходил: куда убежишь — тайга да глушь! Городок крошечный, единственная улица. Для камуфляжа после моего побега начались прогулки по улице. Ссыльные шумно переговаривались. Называли меня... Да, да... Шла и я. Один из

друзей надевал мою шубу, шапочку, а на лицо опускал густую вуаль. У бедняги отросла борода, с этой мужской добродетелью ему не хотелось расставаться. В моей комнате вечерами светился огонек. Маскарад прекратился после перехода границы... Исправник заболел от горя.

Мария Петровна восхищенно слушала — она понимала, какого мужества потребовал побег, столь шутливо рассказанный Эссен.

— Оказалась в Женеве... Там я познакомилась с Лениным, связалась с «Искрой»... Владимир Ильич интересовался тобой. Обрадовался, когда узнал, что мы дружны, обещался написать... — Эссен заметила, как при этих словах посветлело лицо Марии Петровны. — Из-за границы направили в Петербург, вошла в комитет, но выдал провокатор. А законспирировалась блестяще: поселилась на Фонтанке с подлинным паспортом на имя Дешиной. Приметы сходились: круглое лицо, нос и рот умеренные, волосы русые, рост средний. Хозяйку я покорила. Парижское произношение, парижские шляпки, дворянка по паспорту! В комнате пианино, на котором я с таким наслаждением играла. Но продержалась всего семь месяцев. Мой арест взбесил эту милую даму: дворянку, приехавшую учиться музыке, хватают, словно нигилистку! Ждала каторга за побег, но спасла случайность. Из тюрьмы я направилась в Киев — узнать правду из первых рук. Закончился второй съезд, и в столицу доходили слухи о расколе, о борьбе с меньшевиками...

— В Киеве нашлись участники съезда?

— Конечно. Больше всех я сблизилась с Землячкой... Нас после съезда ввели в состав ЦК. Работы невпроворот, надо было объездить комитеты пятнадцати городов — Петербурга, Москвы, Тулы, Воронежа, Твери... К вам последним закатилась — сделаю доклад о съезде. Главное — провести резолюцию, поддерживающую ленинское большинство! — Эссен вопросительно взглянула на Марию Петровну.

— Комитет у нас сильно изменился за время, что я секретарствую. Думаю, все пройдет хорошо. «Искру» поддерживают многие, но меньшевиков хватает, и без борьбы не обойтись. — Мария Петровна озабоченно приподняла занавеску на окне, взглянула на улицу. — Кстати, нужно подумать, как забрать твои вещи с вокзала... Четыре места...

— Ну, как обычно! Шпики меня сопровождают открыто, теперь уж по два. Сажусь в поезд и знаю: в соседнем купе молодцы с квадратными челюстями... — Эссен говорила спокойно, буднично. — Только я не так проста!.. Они меня теряют на вокзалах, а находят при отъезде. Садимся рядком и едем

ладком, как в сказке... Жаль, с паспортом Дешиной придется расстаться!

— Давай квитанции, багаж получим и укроем литературу. Ты здесь отдыхай. Обычно вещи получает Марфуша — я стала слишком заметна. Шпик только что не здоровается. Его даже Леля узнает: «Твой спик»... А недавно пренеприятная неожиданность: в дом вломился студент, грохнул об пол корзину с литературой: «Я от бесов!» — Мария Петровна возмущенно закончила: — Конечно, положение дикое. Василий Семенович побледнел. В доме гости... Подхватила корзину и оттащила в детскую, где и отругала идиота, что взялся не за свое дело. Всю сеть пришлось будоражить — менять пароль, явки, шифр, писать за границу...

— Действительно, идиот!.. Какая чудесная кукла! — Эссен с удовольствием разглядывала куклу в кружеве оборок.

— Кукла эта просто замечательная. — Мария Петровна осторожно сняла парик из кудрявых черных волос. — В головке запрятываю шифры, явки, пароли — все самое секретное. При обысках Леля всегда держит ее на руках... Ну отдыхай, а я пойду.

По дорожкам городского сада, усыпанным крупным желтым песком, бродила Мария Петровна. В золоте осени стояли березы, затенявшие скамьи. Здесь все знакомо, привычно. Музыкальная раковина, в которой так часто играли ее девочки, прячась между скамеек. Цветник из георгинов, шумевший по вечерам фонтан. Маленькие амуры, надув тугие, как шары, щеки, выплескивали струйки воды. В бассейне среди водяных лилий и круглых листьев кувшинок плавали золотые рыбки. Мария Петровна присела на мраморный круг, сдвинула кувшинки и осторожно кидала хлеб, прихваченный из дому. Рыбки подплывали, смотрели выпученными глазами.

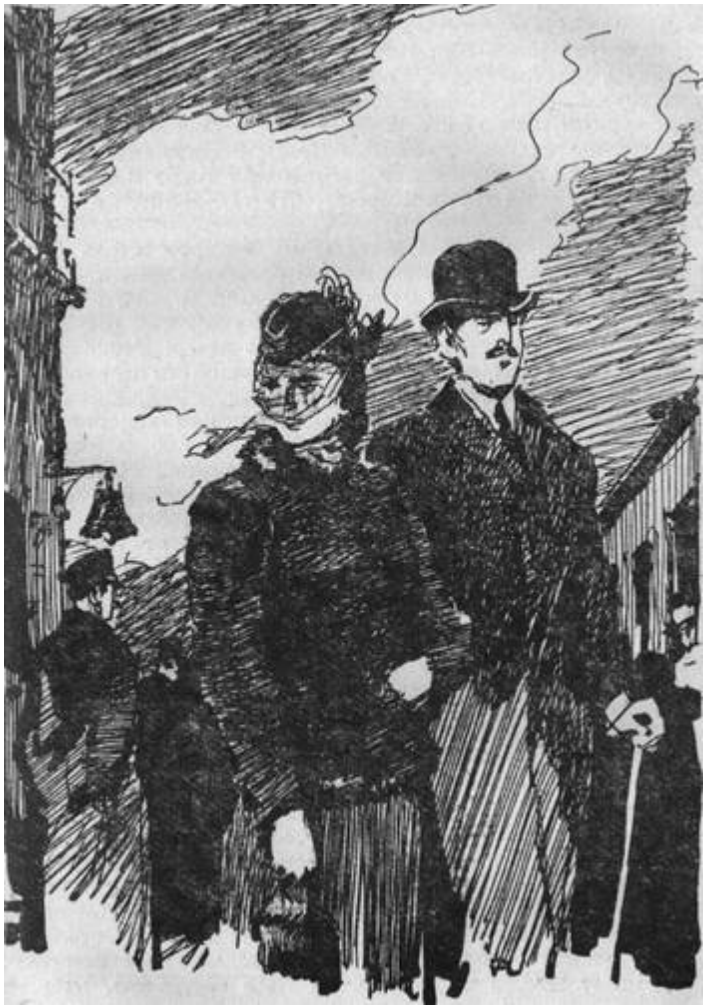
Стояла тишина, слышалось падение кружащего листа, Мария Петровна, подняв воротник пальто, отошла к уединенной скамье. Недавно уехала Эссен, уехала раньше назначенного срока, едва не провалившись.

На вокзале торчали шпики, жандармы. Конечно, ждали Эссен. Она запретила себя провожать. И все же Мария Петровна пришла, чтобы проследить за ее отъездом. Сидела на вокзале и держала на руках Катю. Незадолго до отхода поезда Эссен появилась у вагона первого класса. Изящная. Надменная. Густая черная вуаль скрывала ее лицо.

Она знаком подозвала дежурного жандарма и попросила посмотреть за коробками и желтым саком. Не спеша повернулась на каблуках и, шурша тяжелым шелком, направилась в буфетную.

У топтавшегося шпика отвисла нижняя челюсть, он испуганно попятился — Эссен шла на него. Шпик не мог поверить, что эта роскошная дама была предметом его забот. Как ни привыкла Мария Петровна к искусству перевоплощения, но Эссен поразила ее. Стала словно выше ростом, изменила походку, внешность, говорила на отличном французском языке. Провожал ее крупный адвокат, столь же дорого и безупречно одетый. Накануне Мария Петровна долго упрашивала адвоката, прежде чем он согласился на эти проводы. Ударил вокзальный колокол. Эссен величественно протянула адвокату руку, презрительно кивнув жандарму. Проводник вносил ее коробки в купе. Лишь на минуту она оглянулась на притаившуюся Марию Петровну, блеснув серыми озорными глазами. Загудел паровоз, покатились вагоны. Эссен, чуть приподняв вуаль, приветливо взмахнула рукой. Смешно топтался шпик, переговариваясь с дежурным жандармом. Они о чем-то спорили. Жандарм недоуменно пожимал плечами и отрицательно качал головой.

Мария Петровна крепко расцеловала Катю и двинулась с толпой зевак в город. Хорошо, что так обошлось. А могло быть...



...После заседания комитета, на котором столь долго воевали с меньшевиками, они возвращались домой. Мария Петровна, взглянув на осунувшееся лицо Эссен, раздумывала, что бы такое приятное сделать для дорогой гостьи. Не пригласить ли друзей на музыкальный вечер: Эссен в редкие минуты отдыха не отходила от старенького пианино. И вдруг Эссен, сжав ее руку, замерла у яркой афиши. В музыкальном училище Эслера давали концерт камерной музыки. У Марии Петровны заныло сердце, когда увидела, какой жадностью полыхнули глаза подруги... Поспорили: Эссен решила идти на концерт, Мария Петровна возражала, но потом уступила, хотя понимала все безрассудство. Василий Семенович купил билеты. Концерт превзошел ожидания. Гастролировал известный московский пианист. Эссен сидела праздничная, строгая, с побледневшим от волнения лицом. Тревога, не покидавшая Марию Петровну, постепенно улеглась, и

она, успокоившись, все реже поглядывала на своих соседей. Музыка захватила и ее. Кажется, ничего подозрительного нет. Она даже радовалась, что они решили рискнуть. В антракте вышли в буфет. С гимназической непосредственностью Эссен истребляла мороженое, лениво переговаривалась с офицером. Прозвенел звонок. В зале в третьем ряду партера на соседнем кресле сидел жандармский ротмистр. Мария Петровна поежилась, как всегда в минуту опасности. Эссен невозмутимо попросила у соседа программу. Оправдывалось худшее предположение: ротмистр вынул из-за обшлага мундира карточку, взглянул быстро и чисто профессиональным жестом засунул обратно. «Сверяет!» — зло подумала Мария Петровна. Придвинулась к подруге, осторожно взяла у нее бинокль. Свет погас. Эссен поднялась, вышла в вестибюль. За ней Мария Петровна, вызывая неудовольствие соседей. Они торопливо спускались по лестнице, а вверху послышался звон шпор. По чугунным ступеням сбегал ротмистр. До полуночи блуждали по темным переулкам и проходным дворам города, уходя от преследования...

Где-то теперь Эссен? Увидит ли ее в Петербурге?

Товарищи по просьбе Владимира Ильича посоветовали Марии Петровне перебраться в столицу, благо закончился срок гласного надзора. Василий Семенович ворчал: столица отпугивала его, расставаться с Саратовом не хотелось. Но Мария Петровна торопилась. В Петербурге нужна конспиративная квартира. Опыт в этих делах немалый, организовать квартиру поручили ей.

Осенью 1904 года супруги Голубевы покинули Саратов.

«В МОСКВЕ ЛЕДОХОД В САМОМ РАЗГАРЕ»

— В Москве ледоход в самом разгаре.

— А разлива не будет — начальство приняло меры.

Мария Петровна произнесла ответную фразу пароля, разглядывая молоденькую девушку в суконной накидке, отороченной белкой и придававшей грузность ее фигуре. Девушка держалась неестественно прямо, чуть сощурив карие глаза. Сквозь полуоткрытую дверь вырывался яркий столб солнечных лучей. Положив муфту на зеркальный столик в передней, девушка улыбнулась. На ее румяном круглом лице проступили ямочки, в карих глазах смешинки. Мария Петровна не предлагала раздеваться. Девушка прошла следом за Марией Петровной в просторную столовую, обставленную старинной мебелью с тяжелыми гардинами на венецианских окнах. На обеденном

столе, покрытом белой скатертью, гудел самовар.

Убедившись, что дверь плотно закрыта, девушка сняла накидку. Мария Петровна удивленно всплеснула руками. Хрупкая шея девушки была обмотана полотенцем, от которого спускались полотнища с привязанными к ним винтовками. Широкий ремень придерживал их у талии. Пять винтовок! — виртуозность, какой она еще не видала. Мария Петровна осторожно развязала ремни, сняла винтовки. Освободившись от своего опасного груза, девушка стала хрупкой и худенькой. Она растерла занемевшую шею, счастливо потянулась:

— Так устала, так устала... Еле ноги дотянула.

— Зато поставили рекорд! — Мария Петровна налила стакан крепкого чая, положила на тарелку бутерброды. — Присаживайтесь... Небось забегались и позавтракать толком не сумели.

— Правда. Но не чувствовала, что голодна. А теперь такая тяжесть с плеч свалилась. — Девушка с жадностью набросилась на бутерброды. — Прелесть-то какая...

— А тяжесть действительно свалилась с плеч, — заметила Мария Петровна.

— Славно... Спасибо. — Девушка, вновь потянувшись, встала. Ее круглое лицо с припухлыми губами улыбалось. — Пора... Ждите через два часа. Да, а листовки?! А то новостей не узнаешь. Кстати, пресмешной случай произошел вчера. После побоища, учиненного черносотенцами у университета, собралась толпа. Городовой решил утихомирить страсти: «Разойдитесь, господа! Все равно в здание не пропустят, а здесь ничего не увидите. Подробности завтра из нелегальных газет узнаете». — Девушка подняла брови. — Вот и полиция признала авторитет нашей печати.

Мария Петровна, проводив ее, задержалась в прихожей, прислушиваясь. Застучали каблучки по лестнице, хлопнула парадная дверь. Теперь нужно убрать оружие. Она вернулась в столовую и начала укладывать винтовки под половицы, прикрыв тайник ковром. В тайнике уже лежали браунинги, револьверы, патроны, а теперь прибыла первая партия винтовок. В эти дни октябрьской стачки 1905 года квартира Голубевых на Монетной стала штаб-квартирой Петербургского комитета РСДРП.

После столь трагического шествия народа к Зимнему дворцу началась всеобщая стачка, которую Петербургский комитет РСДРП решил перевести в вооруженное восстание. Тогда и потребовалось из разрозненных конспиративных квартир и складов свезти воедино оружие. Таким местом стала квартира Голубевых на Монетной, отвечающая самым строгим требованиям

конспирации: малонаселенный дом с двумя выходами, зажатый проходными дворами, большая квартира с удобным расположением комнат. К тому же Василий Семенович занимал солидное положение как редактор «Земской недели». К нему приходило много народу, дом открытый, поставлен на широкую ногу, и членам Петербургского комитета легко затеряться в их числе.

Подсчитав оружие, Мария Петровна открыла синюю книжечку и начала шифровать записи. Улыбнулась. Книжечка была с секретом. Недавно в партии изобрели легковоспламеняющийся состав, им пропитывались документы и письма, подлежащие уничтожению. Поначалу она скептически отнеслась к этому, но однажды состав спас ее от ареста. Члены Петербургского комитета собрались на заседание. Она пришла пораньше, чтобы поговорить с товарищем, приехавшим от Владимира Ильича. И вдруг ворвалась полиция. Квартира оказалась чистой, но уликой могли служить шифрованные письма, обнаруженные при обыске. Начали составлять протокол. Пристав, счастливый от столь редкой находки, положил письма рядом с пепельницей, закурил. Тонкой струйкой тянулся дымок. И тут случилось непредвиденное — кто-то пододвинул письма к папиросе. Бумаги вспыхнули ярким голубым пламенем. Пристав кричал, а задержанные откровенно посмеивались. После этого случая все конспиративные записи Мария Петровна делала только на бумаге, пропитанной чудодейственным составом.

Приглушенно затрещал звонок. Мария Петровна выпрямилась и, чувствуя неприятную сухость во рту, направилась в прихожую. Сегодня она двери открывала сама, отпустив горничную в гости. Василий Семенович лежал в кабинете с сердечным приступом, девочек она отвела к его родным. Неизвестно чем мог закончиться этот день.

— В Москве ледоход в самом разгаре, — прогрохотал верзила в тулупе, напоминавший деда-мороза. Снег хлопьями лежал на широких плечах, на густой черной бороде.

— А разлива не будет — начальство приняло меры, — с готовностью ответила Мария Петровна.

И как ни странно, пароль не вызывал улыбки, хотя за окном валил снег, а Нева скована льдом. Мужчина прошел в столовую осторожно, на негнущихся ногах.

— Вам придется отвернуться, — просто сказал великан. — Бикфордов шнур.

Мария Петровна понимающе кивнула. Бикфордов шнур, человек — словно бомба... Мужчина решил пройти за ширму, но Мария Петровна остановила его. Осторожно помогла снять тулуп.

Каждое движение стоило жизни! Ноги великана казались розовыми от бикфордова шнура. Она стала на колени и осторожно разматывала шнур. Тяжелыми кругами падал шнур на паркет, свертывался в клубки, словно змея. Пальцы ее слегка вздрагивали. Наконец разогнулась, облегченно вздохнула.

— Слава богу, добрался, — прогудел великан. — Ехать на конке побоялся, тряхнет ненароком, скольких людей загублю... Взял извозчика. Сижу, будто шест проглотил.

— Это делается на заводе, товарищ? — Мария Петровна старалась определить на глаз, сколько метров шнура лежало в кругах.

— Вчера обыск был. Перед сменой ввалились архаровцы, закрыли выходы, а братва-то ночью ковала оружие. Иные так любовно оттачивали напильники, что посеребри — кавказский кинжал. Видно, донес мастер. — Великан зло сплюнул и достал пачку папирос.

— Курить нельзя. — Мария Петровна выхватила папиросы.

— Ах да... Так вот. Солдаты охотились за оружием. Мастер с солдатами залезал в станки, а салага — ученики — уже тащила оружие крановщикам, которые рассовали его по балкам... Смеху. Крановщики уселись под самым небом, солдатам шуточки отпускали. Офицерик попробовал забраться на кран — кишка тонка...

— А мастер?

— Дрянь... Из царских пирожников. — Великан заметил недоуменный взгляд Марии Петровны и пояснил: — Из тех, кто входил в депутацию после Кровавого воскресенья. Долго, шкура, скрывал, что у царя побывал, стыдился. Приперли, так рассказал, как под охраной Трепова возили их в Царское Село, как в Александровском дворце из внутренних покоев изволил выйти государь, как милостиво простил убитым и сиротам их вину. — Великан, подражая псаломщику, гнусаво закончил: — «Я верю в честные чувства рабочих и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их. Теперь возвращайтесь к мирному труду вашему, благословясь, принимайтесь за дело вместе с товарищами, и да будет бог вам в помощь».

— По заводам панихиды по убитым служат. Много радости в его прощении. — Мария Петровна презрительно скривила губы. — Вот вам прокламации для путиловцев. И особенно следите за дружинами. Оружие может быть любое — бомбы, револьверы, ножи, веревочные лестницы, колючая проволока против казаков и тряпка с керосином для поджога. Так настаивает Владимир Ильич.

Мария Петровна проводила рабочего, еще раз подивившись

его богатырскому росту.

Весь день не закрывалась дверь в квартиру на Монетной. Рабочие. Студенты. Курсистки. Приносили динамит в поясах, и по комнате расползался сладковатый миндальный запах, запалы к бомбам в хитроумных жилетах, желтые аккуратные коробки с красными сургучными печатями — бомбы. На черном ходу топтались кухарки с интеллигентными лицами, в широких корзинах передавали последние листовки Петербургского комитета РСДРП.

Голубева принимала оружие. Столовой, самой просторной комнаты, оказалось недостаточно. Пришлось запрятывать взрывчатку в детскую. Работа требовала большой осторожности. А оружие все прибывало...

Прихватив ящик с браунингами, Мария Петровна направилась к мужу в кабинет. Василий Семенович лежал на кожаном диване, обмотав голову мокрым полотенцем. Глаза его напряженно следили за женой. Она поцеловала мужа в лоб и начала выкидывать книги, чтобы освободить место для ящика. Уловив его умоляющий взгляд, сказала:

— Теперь скоро — осталось перевезти взрывчатку из мастерской гробов.

Василий Семенович застонал, расстегнул ворот рубахи. Больной, нервный, он так боялся ее ареста. Мария Петровна жалела мужа, но изменить ничего не могла.

— Маня, давай поговорим спокойно: дело не в том, что мы с детьми живем на пороховом погребе, который ты устроила из нашей квартиры. — Василий Семенович привстал, не снимая мокрого полотенца с головы. — Оружие повлечет новые жертвы, новую кровь...

— Ты обложился манифестами и уповаешь на химеру, — рассердилась Мария Петровна, швырнув на письменный стол газету с правительственным сообщением.

— Разве слова Николая ложь?! Почему такое предубеждение?! Вслушайся. — Василий Семенович трясущимися руками поправил пенсне и начал читать: — «Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным, и печаль народная — его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться настроение народное и угроза целости и единству державы...» — Помолчал и мягко заметил: — Этим словам нельзя не радоваться, как и настроению царя.

— Совсем как у Салтыкова-Щедрина: «Ведь мы как радуемся! И день и ночь, и день и ночь! И дома, и в гостях, и в трактирах, и

словесно, и печатью! Только и слов: слава богу! дожили! Ну и нагнали своими радостями страху на весь квартал!» — Мария Петровна гневно взглянула в глаза мужу. — Расстрел демонстрации после манифеста о так называемых свободах личности! Черная сотня, набранная из полицейских и торговцев! Приказ Трепова: «Холостых патронов не давать!» — все это тебя убедить не может.

— Но кровь народная, кровь...

— Будем вооружены, так и крови меньше прольется! Третьего дня гуляла с девочками по городу. Смотрю: у манежа распахнуты настежь ворота, густая толпа валом валит. Пробилась и я. Глазам не поверила: по стенам развешаны портреты Баумана, лейтенанта Шмидта... А в центре пьяные черносотенцы из револьверов стреляют по этим портретам. Из народных героев сделали мишени! Кто не попадал из револьвера, тот подходил и плевался, выкалывал ножом глаза... Можно было такое выдержать? «Бандиты!» — крикнула я. Рабочие меня поддержали. Полетели камни, бутылки, началась потасовка, и черносотенцам досталось...

— А полиция?!

— Полиция бросилась защищать громил! — Мария Петровна прошлась по кабинету и устало закончила: — Ты уповаешь на манифест, нет, мирно с царизмом не договоришься.

В дверь зазвонили. Голубева поспешила в прихожую. Респектабельный господин в дорогой енотовой шубе снял цилиндр, протянул руку Марии Петровне. Положив на зеркальный столик мягкие замшевые перчатки, вошедший, не раздеваясь, прошел в столовую. Осмотревшись, неторопливо вынул из карманов бомбы и, скинув шубу, снял жилет с динамитом.

— Ну как успехи, Мария Петровна? — спросил он мягким голосом, проведя холеной рукой по усикам.

— Хорошо. — Мария Петровна достала синюю книжечку и подсела к Буренину. — Вот полный отчет — бомбы, револьверы, винтовки, динамит...

Буренин, пощипывая усики, углубился в записи. Взяв карандаш, начал быстро делать пометки. На высоком лбу обозначились морщины. Тонкое красивое лицо с аккуратными усиками и бородкой стало настороженным. Черный костюм оттенял белую до синевы манишку с высоким стоячим воротником и широким галстуком.

Судьба Буренина всегда интересовала Марию Петровну: Буренин, богач, входил в боевую группу при ЦК РСДРП. К революции он примкнул в дни студенческих волнений. У

Казанского собора полиция разгоняла демонстрантов. Буренин стоял в толпе, наблюдал. Начавшееся избиение студентов его возмутило. Предложил приставу визитную карточку, уверенный, что последует разбирательство, в котором он желал выступить свидетелем. Но пристав присоединил его к арестованным. Так Буренин оказался в полицейской части. Родные переслали ему фотоаппарат в ветчинном окороке — Буренин делал снимки арестованных, заводил знакомства. Знатные родственники хлопотали, и Буренина выпустили на свободу. Но увиденное не давало покоя. Знакомство с Еленой Дмитриевной Стасовой помогло прийти в партию, начать работу в боевой группе. Имение его матери, влиятельной в придворных кругах, расположено было на границе с Финляндией по Кексгольмскому тракту. Через это имение он и наладил доставку оружия. Потянулись подводы в Петербург — Буренин перевозил «библиотеку» в городской дом. Под книгами лежали винтовки, ящики с патронами, динамит. Потом заскрипели возы с картофелем, а под картофелем все тот же груз. Фешенебельная квартира на Рузовской, занимаемая его матерью, служила пристанищем многих...

— Что ж, дела не плохи! — Буренин удовлетворенно возвратил Марии Петровне синюю книжечку. — Только осторожность и еще раз осторожность, иначе взлетите на воздух и весь квартал за собой поднимете.

— В общем-то я спокойна: самоделок нет, а это главное. — Мария Петровна придвинула стакан чаю и с мягкой улыбкой заметила: — «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю».

— Конечно... Конечно...— Буренин, позванивая ложечкой, размешивал сахар. — Самоделки... Гм... Самое страшное. Как-то мне пришлось стать обладателем трех таких самодельных бомб. Доверия они мне не внушали — внутри что- то дребезжало, тряслось, держать дома их побоялся. Приказал запрячь лихача и поехал в академию к нашим военным специалистам проконсультироваться. На ухабах сани подпрыгивали, а бомбы — в кармане! К офицерам пробился с трудом — время позднее... Увидели офицеры бомбы, и лица вытянулись, а от гнева даже слов подходящих подобрать не могли сразу: «любительщина... безответственность...» и прочее, прочее. — Буренин покрутил головой. — Приказали мне убраться и немедленно уничтожить эти злосчастные бомбы.

— Уничтожили?

— Уничтожил, но с трудом: на Мойке стоял лед, утопить их не удалось... Вспомнить страшно, как по сонному городу метался с этим грузом.

Буренин посмеивался, говорил как о чем-то будничном, а

Мария Петровна боязливо поводила плечами.

Опять звонок. На этот раз Эссен. Вошла раскрасневшаяся от мороза, смеющаяся, с лукавыми глазами. Роскошная. В модном капоре и меховой ротонде. Мария Петровна обрадовалась ей. Эссен, поздоровавшись с Бурениным, сняла ротонду, и опять Мария Петровна развязывала ремни на винтовках.

— Смех и грех, Машенька! — Эссен вынула из муфты надушенный платок. — Обложили меня винтовками, и поплыла я павой по Васильевскому острову. Иду неторопливо. Проверяюсь, останавливаясь у витрин. Со мной знакомый товарищ с револьверами. Как обычно, мы попеременно пропускали друг друга вперед на несколько шагов. Смотрю, на бедняжке лица нет. Оказывается, у меня отвязалась веревка и тащится по снегу.

Мария Петровна всплеснула руками. Буренин поднял голову и застыл. Только Эссен откинулась на диван и смеялась так заразительно, что плечи вздрагивали. Она несколько раз пыталась продолжить рассказ, но не могла. Хохотала. Мария Петровна возмутилась:

— Нашла время... Пустосмешка!

— Тянется веревка, тя-нет-ся... Что делать?! Каждую минуту городовой мог заметить. И тут произошло самое смешное. — Эссен опять закатилась звонким смехом, встряхивая волнистыми волосами. — Надумали прокатиться на конке: я поднимаюсь на империал, а товарищ тем временем подвязывала веревочку!

— Ну, надумали! Товарищ-то с оружием! — Мария Петровна не могла скрыть тревогу.

— В том-то и фокус — курсистка не могла нагнуться, поэтому я и полезла на империал! — Эссен уже не смеялась, подошла к Марии Петровне, обняла ее. — Право, ты зря волнуешься... Все обошлось!

— Обошлось?! А завтра?!

— На завтра — сама осторожность! — Серые глаза Эссен с такой искренностью смотрели на Марию Петровну, что та, рассмеявшись, недоверчиво махнула рукой.

— Скоро пять. Пора и комитетчикам собраться! — Буренин вынул хронометр из бокового кармана, завел не спеша.

— Комитетчики-то придут. Вся загвоздка в совете... Меньшевики там окопались и решения о восстании принимать не хотят. — Мария Петровна углубилась в подсчеты. — Кидают палки в колеса, болтовней занимаются, а Ленин ждет восстания!

— «Я с ужасом, ей-богу, с ужасом вижу, что о бомбах говорят больше полгода и ни одной не сделали! А говорят ученейшие люди... Идите к молодежи, господа! Вот одно-единственное, всеспасающее средство. Иначе, ей-богу, вы опоздаете (я это по

всему вижу) и окажетесь с «ученьми» записками, планами, чертежами, схемами, великолепными рецептами, но без организации, без живого дела...» — таков Ильич. — Эссен скрестила руки и уверенно закончила: — Он прав в своем беспокойстве.

ШТАБ КВАРТИРА ЛЕНИНА

Петербург бежал знакомыми улицами и площадями. Падал снег. Редкий. Пушистый. Побагровевшее от мороза солнце повисло над Адмиралтейством, зацепившись за золотую иглу. Крупные снежинки расползались по холодному граниту набережной. Сверкал матовыми шарами Троицкий мост.

Мария Петровна протерла замерзшие стекла очков. Лицо ее скрывал лисий воротник. Поправила платок, повязанный поверх меховой шапочки, огляделась по сторонам. Лихач повернул на Невский: модные магазины, толпы зевак у магазина Мюра и Мерилиза, живые манекены в зеркальных витринах.

Извозчик важно покачивался на козлах. Ажурной лентой лежал снег на полях цилиндра, на суконной поддевке. Изредка извозчик покрикивал, прищелкивал ременным кнутом.

Мария Петровна с удовольствием вдыхала морозный воздух. Она возвращалась из типографии «Дело», принадлежащей Петербургскому комитету РСДРП. В ногах чемодан с нелегальными изданиями, предназначенный для Москвы. Литературу приходилось отправлять частенько: чемодан сдавала на предъявителя, посылая шифрованное уведомление. Сегодня партия особой ценности — в газете «Пролетарий» опубликована ленинская статья.

Типография работала открыто, а нелегальщину печатали хитростью. Полиция частенько наведывалась, но, помимо самых благонамеренных изданий, ничего обнаружить не могла. В печатном цехе кипел свинец, в который сразу же сбрасывали набор при опасности. В типографии Мария Петровна пробыла недолго, хотя всегда испытывала удовольствие от ровного гула машин и плотного запаха скипидара. Уложив литературу в чемодан, вышла через потайную дверь. Проходными дворами добралась до Казачьего переулка, взяла извозчика.

От размышлений ее отвлек грохот пролетки. Оглянулась. За ними гнался серый рысак в яблоках. Случайность? Едва ли... Она тронула извозчика за плечо, беспечно попросила:

— Бог мой! Этот наглец решил нас обставить! Не позволим!..

Извозчик, молодой парень с рыжими усами, осклабился, пренебрежительно махнул рукой. Ременный кнут засвистел в воздухе. Снег повалил плотнее. Мария Петровна покрепче нахлобучила шапочку. Сани понеслись в снежный вихрь. В ушах свистел ветер. На повороте сани наклонились, и Мария Петровна с трудом удержала равновесие. Теперь главная забота — чемодан. Она вцепилась в него, придавила коленями. Извозчик широко похохатывал в рыжую бороду. Кажется, оторвались. Женщина откинулась на сиденье, вздохнула. Нет, рано обрадовалась. Вновь по заезженной мостовой приглушенно застучали копыта. Извозчик гортанно прокричал, настегивая лошадь. «Да, слежка на лошадях самая страшная — от нее невозможно укрыться», — почему- то припомнились ей слова Эссен. И, как всегда в минуты опасности, ею овладело спокойствие. Движения обрели слаженность, мысли четкость. «Выбросить на повороте чемодан? — Она аккуратно сняла очки и уложила их в бархатный мешочек, который носила вместо муфты. — Тогда пропадет главная улика, но «Пролетарий» станет добычей охранки...»

Голубева не поворачивала головы, но слышала, как, то затухая, то нарастая, доносился конский топот. Вновь дотронулась до плеча извозчика в снежном эполете, протянула ему трешку. Глаза парня полыхнули смешком. Он поглубже надвинул цилиндр и заиграл кнутом. Сани качнулись, полетели. Впереди у магазина купца Сыромятникова темнел огромный сугроб. За магазином начинались на полквартала проходные дворы. Сани набирали скорость, взвихряя снежную пыль. Мария Петровна поближе придвинулась к правому краю. Поворот. Крик извозчика, и Голубева, обхватив чемодан, выпрыгнула в сугроб. Снег ослепил, забился за воротник, холодил лицо, шею. Она слышала, как пронесся лихач... Тишина. Поднялась и скрылась в проходном дворе, волоча ушибленную ногу.

Над Петербургом нависли ранние зимние сумерки. В окнах горел свет. Мария Петровна, оставив чемодан на конспиративной квартире, подходила к своему дому. У тумбы, осевшей под тяжестью снега, топтался рабочий с Семенниковского завода. Свой. Паренек повыше поднял воротник, нахлобучил барашковую шапку. Просвистел, когда Мария Петровна проходила мимо, и равнодушно отвернулся. Слава богу, спокойно!

С бьющимся от беспокойства сердцем она поднялась по отлогой лестнице. Позвонила, прислонившись к стене от усталости. Дверь распахнула Марфуша. В белой наколке на густых вьющихся волосах, в накрахмаленном фартуке. В ее глазах Мария Петровна прочла тревогу:

— Так долго?! Уже пятый час!

Марфуша помогла снять шубу, ворчала, как обычно, когда волновалась.

— Опять пристав заходил, интересовался: почему к барыне так много народу ходит? — Марфуша подняла белесые брови, передразнила: — Да это у барина был день рождения...

— Смотри, Марфуша! Пристав задумал жениться, — пошутила Мария Петровна. — Ты девушка красивая, сундук с приданым большой, вот пристав и потерял покой.

— А что?! Возьму и выйду. Таких моржовых усов не сыскать во всем Питере, — прыснула Марфуша и, потрогав шубу, посерьезнела: — Мокрая совсем. Где это вас угораздило?

— Целый день под снегом!

Мария Петровна поправила волосы перед зеркалом, направилась в столовую. За круглым журнальным столиком сидела Надежда Константиновна. Зеленый абажур мягко освещал волосы, нежный овал лица. Она казалась утомленной и усталой. Поправив брошь на кружевном жабо, Мария Петровна радостно протянула руки. Потом заторопилась к портьерам, наглухо задвинула их.

— Так сложились обстоятельства, что завернула пораньше. — В больших глазах Крупской тревога.

Марфуша принесла на подносе фарфоровую супницу, блестящий половник, тарелки. Постелила свежую скатерть и, не спрашивая разрешения, расставила закуски, разлила суп.

— Дети пообедали, словно знали, что вы задержитесь. — Марфуша разложила хлеб и, обернувшись в дверях, сказала: — Перед вторым позвоните.

— Славная она. — Надежда Константиновна тихо отодвинула кожаный стул. — Давно живет?

— Вместе приехали из Саратова. Девочки выросли на ее руках. Заботлива, как наседка. Сегодня сердита — переволновалась.

— Думается, что вам на это время лучше не показываться в городе... — Надежда Константиновна не договорила. Глаза ее, лучистые, с золотистыми зрачками, выразительно остановились на собеседнице.

Мария Петровна согласно кивнула головой. Она сразу поняла, о чем говорила Надежда Константиновна: «на это время» квартира стала штаб-квартирой Ленина.

— Я оставила только самые неотложные, — помолчав, ответила Мария Петровна.

— И их лучше прекратить, — мягко заметила Надежда Константиновна. — Хотите послушать, как делается конституция?

Берут несколько «верных слуг отечества», несколько рот солдат и, не жалея, патронов. Всем этим нагревают народ, пока он не вскипит. Мажут его… по губам обещаниями. Много болтают до полного охлаждения и подают на стол в форме Государственной думы без народных представителей. — Надежда Константиновна нахмурилась и закончила: — Очень невкусно.

Мария Петровна засмеялась. Она была благодарна, что Надежда Константиновна так просто перевела разговор. Крупская хрустнула листовкой, и опять послышался ровный голос:

— Как составляют кабинет министров. Берут, не процеживая, несколько первых встречных, усиленно толкут, трут друг о друга до полной потери каждым индивидуальности, сажают в печь и подают горячими на стол, придерживаясь девиза: «Подано горячо, а за вкус не ручаюсь!»

— Вполне прилично! — отозвалась Мария Петровна, подкладывая на тарелку закуски. — А чем вы встревожены, Надежда Константиновна?

— Обстановка для Ильича в Петербурге весьма тягостная. Боюсь неожиданностей. Недавно переволновалась основательно. В одном из переулков между Мойкой и Фонтанкой состоялось собрание, туда и Ильича пригласили. Времени мало, я торопилась, а в переулке меня неожиданно встретил Бонч-Бруевич, озабоченный и встревоженный. «Поворачивайте. Засада. Слежка». У меня ноги подкосились. «А Ильич?» — «Ильич не приходил. Нужно перехватить его на подступах. Тут я кое-кого повстречал, разослал по переулкам… предупредите и вы, если сможете». Бонч-Бруевич пробежал, а у меня сердце замерло. А если не успеют предупредить, если проберется одному ему известными проходными дворами, если уже попал в засаду… Решила караулить. У Александринского театра шпики. Вдали сутулая спина Бонч-Бруевича. Он хитрил, заходил в магазин, устанавливал наблюдение, а Ильича нет. — Надежда Константиновна подняла усталое лицо. — Ноги замерзли, начался какой-то противный озноб… И вдруг Бонч-Бруевич, сияющий, улыбающийся. Сразу поняла: спасли…

— Да, в столице становится все опаснее для Владимира Ильича, шпики попросту за ним охотятся. — Мария Петровна с грустью взглянула на Надежду Константиновну и подумала: каково ей приходится — жизнь по подложным паспортам, скитания по явкам, вечные тревоги за близкого, дорогого человека!

— В своем проклятом далеке, в эмиграции, как часто мы мечтали о возвращении на родину. Когда началась революция, то еле паспортов дождались. В моем представлении Петербург был

расцвечен красными флагами. А на Финляндском вокзале застала чопорную петербургскую чистоту. Курьез! Даже у извозчика спросила, не на станции ли Парголове вышла по ошибке. Извозчик уничтожил меня взглядом. — Надежда Константиновна закуталась в пуховый платок, прошлась по комнате. — Владимира Ильича очень обескураживает эта жизнь по чужим углам, более того, мешает работать. А что делать?! Поначалу поселились легально на квартире, подысканной Марией Ильиничной по Греческому проспекту. Шпики, как воронье, закружили. Хозяин всю ночь ходил с револьвером — решил защищаться при вторжении полиции. Ильич боялся, что попадем в историю, — переехали. Видимся урывками, вечные волнения... Хорошо, что удалось достать приличный паспорт. Была еще квартира где-то на Бассейной — вход через кухню, говорили шепотом...

В голосе Надежды Константиновны звучала грусть. Конечно, устала от такого напряжения — обычно она никогда не жаловалась.

— А возвращение из Москвы! Подошла к дому, где жил Ильич, и ужаснулась — весь цвет столичной охранки. За собой я никого не привела. Значит, их привез Владимир Ильич! Действительно, в Москве переконспирировали: посадили его в экспресс перед самым отходом, дали финский чемодан и синие очки. Охранка всполошилась — экспроприатор! С каким трудом удалось подобру убраться из той квартиры!

Они ходили по комнате, обнявшись. Потрескивали дрова в камине, вспыхивали огненными языками, сливаясь в ревущее пламя. Надежда Константиновна опустилась в низкое кресло, поставила ноги на чугунную решетку. Она прикрыла глаза рукой. Мария Петровна принесла с оттоманки расшитую подушку, подложила под голову, закутала ее ноги пледом. До заседания ЦК оставалось полчаса. Мария Петровна радовалась, что она может предоставить отдых Надежде Константиновне, отбывавшей, по шутливым словам товарищей, революционную каторгу.

— Разбита ли революция в России или мы переживаем лишь временное затишье? Идет ли революционное движение на убыль или подготовляет новый взрыв, копя в затишье силы? — таковы вопросы, стоящие перед российскими социал-демократами, — Владимир Ильич, заложив правую руку в карман, обвел присутствующих долгим взглядом. — Марксисту неприлично отделываться от этих вопросов общими фразами. Мы остаемся революционерами и в настоящий период. Кстати, легче предсказывать поражение революции в дни реакции, чем ее подъем!

Надежда Константиновна неторопливо водила карандашом, наклонив голову. Откинулся в кресле Бонч-Бруевич, не отрывая от Владимира Ильича изучающих глаз. Пощипывал аккуратные усики Буренин. Облокотилась на стол Эссен, подперев подбородок рукой. Лицо ее с большими серыми глазами задумчиво и строго. Мария Петровна, положив перед собой очки, напряженно слушала. Шло заседание Центрального Комитета. В комнате тишина, только слышался громкий ход стенных часов да голос Владимира Ильича с хрипотцой.

— Отношение к революции является коренным вопросом нашей тактики. Его-то в первую голову должен решить предстоящий партийный съезд. Или — или. Или мы признаем, что в настоящее время «о действительной революции не может быть и речи», — голос Ильича, цитирующего меньшевиков, звучал неприкрытой издевкой. — Тогда должны во всеуслышанье заявить об этом, не вводить в заблуждение ни самих себя, ни пролетариат, ни народ. Тогда должны снять вопрос о восстании, прекратить вооружение дружин, ибо играть в восстание недостойно рабочей партии. Или мы признаем, что в настоящее время можно и должно говорить о революции. Тогда партия обязана организовать пролетариат для вооруженного восстания. Кто за восстание, с теми большевики, кто против восстания, с теми мы боремся беспощадно, отталкиваем от себя, как презренных лицемеров и иезуитов!

— А Плеханов... — Мария Петровна не договорила, посмотрела на Владимира Ильича.

— Плеханов... — Ленин наклонился вперед и резко закончил: — Свобода не дается без величайших жертв, без величайших усилий... Попрошу товарищей высказываться по этому вопросу.

Заседание Центрального Комитета партии продолжалось...

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ КОМНАТА

Декабрь 1917 года наступил студеный и вьюжный. По затихшим улицам проносились грузовики с вооруженными матросами. В снежных завалах утопали площади и улицы. Пугливо прятались обыватели в затемненных квартирах, и лишь Смольный в пламени костров резко выделялся среди мрачных громад.

Голубева торопилась, с трудом переставляя ноги в стоптанных валенках. Шуба ее, потертая и выношенная, грела плохо. Она прятала озябшие руки в муфту, болтавшуюся на витом

шнуре. Морозно. Да и ходить из одного конца в другой трудно. Пятьдесят шесть лет — возраст не малый. Ссутулилась, располнела. Побелела голова. Только глаза остались молодыми, как твердили ее девочки. Девочки... Они уже выросли... А Василий Семенович умер, не дожив до революции. Смерть его была тяжелым ударом — с тех пор начались болезни, старость... Сердце частенько прихватывало. Девочек жаль — волнуются. Ночь, темь, телефон не работает, врача не дозовешься, а тут... И все же целые дни она на митингах, собраниях, выступлениях. А сегодня ночью вызвал Бонч-Бруевич в Смольный. Предложил грузовик с матросами, который подбросил бы по пути, но она отказалась. А теперь жалеет — дорога по затихшему во враждебном молчании городу с одинокими вспышками выстрелов настораживала.

У Смольного часовой проверил пропуск, козырнул. Горящие костры выхватывали из темноты лица солдат и матросов, казавшихся в зареве огней бронзовыми.

Смольный жил напряженно: ухали широкие коридоры под тяжелыми шагами кронштадтцев, распахивались высокие двери, трещали телефоны, бегали дежурные с телеграфными лентами, скрипели пулеметы в руках солдат, обвешанных лентами.

Гремя оружием, промаршировал отряд матросов. Мария Петровна посторонилась. С удовольствием посмотрела им вслед — бравые, молодые. Вздохнула и толкнула дверь за номером семьдесят пять, куда ее вызывали.

Семьдесят пятая комната с высоким сводчатым потолком утопала в табачном дыму. На столе сидел Бонч-Бруевич, ее давнишний товарищ по подполью, обросший густой черной бородой. Поджав ногу, он нетерпеливо накручивал ручку телефона, гремел рычагом. За столом матрос, косая сажень в плечах, неумело, одним пальцем выстукивал на машинке мандат, сдвинув на макушку бескозырку. Голубева улыбнулась. У распахнутого шкафа на корточках солдат в папахе с красной полосой просматривал бумаги. Неподалеку от двери на скамье какие- то люди в добротных шубах, с презрительными лицами и злыми взглядами. «Арестованные», — поняла Мария Петровна.

Бонч-Бруевич поздоровался с ней и начал громко ругаться по телефону, угрожая кому-то революционным трибуналом. Временами для выразительности стучал кулаком по конторке. Мария Петровна никогда не видела его таким воинственным. Решив подождать окончания разговора, подошла к «буржуйке», приткнувшейся в середине комнаты, с уродливой черной трубой. Протянула озябшие руки, начала их растирать. Печь раскалилась почти докрасна, но тепла не ощущалось. Солдат с большими

рыжими усами подбрасывал в «буржуйку» старые книги. На полу у печки пристроились парнишки в промасленных тужурках.

— Ироды! За три целковых купил вас Тихон! — Солдат с рыжими усами с остервенением разорвал книгу, затолкал в печурку.

— Так от серости нашей... От серости! — в два голоса забормотали парнишки. — К тому же деньги...

— От серости... Деньги... — ворочая кочергой, передразнивал солдат. Кончики усов воинственно топорщились. — Контра — вот кто вы...

Парнишки слезливо скривились. Солдат сунул им по ломтю черного хлеба, положил на телефонные книги соль, налил в кружки кипяток из помятого чайника.

— Вот она, несознательность! — обратился солдат к Марии Петровне, заинтересовавшейся разговором. — Присаживайтесь. Кипяточком побалуетесь?

Голубева уселась на телефонных книгах. Матрос сунул ей железную кружку, солдат плеснул кипяток.

— Этих голубчиков я привел. — Солдат задымил махоркой, неумело отгоняя дым короткими пальцами. — Дело вот какое: на Выборгской появились листовки — Советскую власть предавали анафеме, грозили концом света, а большевиков приказывали расстреливать из-за угла. Подпись: «Патриарх Тихон». А эти паршивцы расклеивали... — У солдата от гнева лицо побелело. «Паршивцы» захлюпали носами. — Листовки я содрал, а их за ушко да на солнышко...

— Так все наша серость, — заскулил парнишка с огненными веснушками на курносом носу.

— Пей, серый... Говорят, батька у них на фронте погиб, маменька от тифа умерла... Ума стервецам надо набираться... Ничего, Владимир Дмитриевич им мозги вправит. — Солдат уважительно посмотрел на Бонч-Бруевича, закончившего разговор.

Бонч-Бруевич устало протер очки, опустился на корточки перед печью и прикурил. Лицо его, осунувшееся от бессонных ночей, подсвеченное огнем, помолодело.

— Как добрались, Мария Петровна?

— Добралась, Владимир Дмитриевич. — Мария Петровна кивнула головой в сторону парнишек. — Посинели от холода.

— Сидоров отпоит их чаем, а потом потолкуем... — ответил Бонч-Бруевич и добавил в раздумье: — Духовенство весь город наводнило своей пачкотней. Следует добраться до их штаб-квартиры и уничтожить типографию.

Солдат поднял парнишек, и они неохотно поплелись к столу

Бонч-Бруевича, боязливо косясь на матроса, сидевшего за пишущей машинкой.

— Может быть, сначала саботажников, Владимир Дмитриевич? — вступил в разговор матрос с маузером, охранявший арестованных в добротных шубах.

— Саботажники подождут, — отрезал Бонч-Бруевич, водрузив очки, внимательно разглядывая бумаги, близоруко поднося их к глазам. — Откуда брали листовки? Кто платил за расклейку? Деньги, деньги от кого получали?

— Дяденька давал. — Вперед выступил паренек с веснушками.

— А дом помните? Человека этого узнаете?

Парнишки молчали, опять захлюпали носами.

— Не финтите, шкурники! — прикрикнул на них солдат. — Ишь, переминаются, словно помещичьи сынки.

— На Нарвской заставе... У дяденьки этих листовок тьма-тьмущая. Он велел приходить утрами, чтобы ночами их расклеивать...

— Сукины дети! — не вытерпел солдат, дернув ус.

Бонч-Бруевич укоризненно поглядел на него, покачал головой.

— Читать умеете? Грамотные? — поинтересовалась Мария Петровна.

— Нет, темные мы, неграмотные, — запричитал парнишка.

— Стыдно такую гадость развешивать по городу. Прав Сидоров: мечетесь, словно банк или завод потеряли в революции. — Бонч-Бруевич захохотал. Действительно, парнишки, голодные и драные, мало были похожи на владельцев собственности. — Сидоров, возьми ребят, пускай покажут квартиру на Нарвской. Прощупай, что за дом.

— Есть прощупать! — Сидоров выкатил грудь, громыхнул винтовкой. — Пошли, «заводчики».

— Подожди. Там могут оказать вооруженное сопротивление. Скоро товарищи из Петропавловки подойдут, тогда уж вместе. — Бонч-Бруевич почесал тонким карандашиком за ухом. И, заметив неудовольствие Сидорова, пояснил: — Матросы в двенадцать будут за арестованными, с этим отрядом завернете по указанному адресу... Присматривай за парнишками — перестрелка возможна.

Парнишки опять пристроились у «буржуйки». Мария Петровна расстегнула пуговицы на шубе, подсела поближе к Бонч-Бруевичу.

— Речь идет о работе в Чрезвычайной комиссии. После декрета об аресте руководителей партии кадетов и объявлении ее вне закона обнаружено гнездо заговора. Если вдуматься, то нити

идут далеко. — Бонч-Бруевич нетерпеливо забарабанил по крышке стола. — Среди арестованных несколько великих князей Романовых. Нужно провести следствие, если они причастны, то предать суду.

— Боже мой! Романовы в Петропавловке! — простонал кто-то на скамье арестованных.

— А если он участник заговора! — зло прикрикнул конвоир и приказал: — Арестованный, не разговаривать! Саботажник проклятый!

Мария Петровна сняла очки, нерешительно повертела муфту.

— Владимир Дмитриевич! В следственных органах я не работала и процессуальных норм не знаю.

— Знаете. И под арестом сиживали и ссылку отбывали, а уж допросов... Да что осталось от старых процессуальных норм?! — возразил Бонч-Бруевич. — Чрезвычайную комиссию возглавит Феликс Эдмундович Дзержинский, в дальнейшем дело придется иметь с ним. Борьба с контрреволюцией стала фронтом — кадеты объявили Советской власти гражданскую войну. На этот фронт Центральный Комитет посылает самых решительных, готовых на любое испытание... Выбор пал и на вас.

— Сложно... Очень сложно. Кадеты идут ва-банк. Пугают террором... — Мария Петровна разглядывала матроса, тот все терзал пишущую машинку.

«Из подследственной превратиться в следователя, из обвиняемой в обвинителя! — раздумывала она. — Законы... Юридические нормы... Что ж, партийная совесть будет главным законом».

Бонч-Бруевич опять накручивал телефонный аппарат. Громко спорил, требовал остановить где-то разгром водочного завода, ликвидировать офицеров, обстреливающих с чердаков Невский. Затем долго молчал, слушал и неожиданно закончил:

— Дайте ему шампанского. Черт с ним!

Бонч-Бруевич с сердцем положил трубку на высокий рычаг и устало поднял глаза на Марию Петровну:

— Великий князь в Петропавловке требует шампанского и ананасов! Представляете — требует!

Мария Петровна пренебрежительно махнула рукой. Дверь широко распахнулась. Ввалился моряк, опоясанный пулеметными лентами. За ним трое в черных бушлатах. Громыхнули ружья. Моряк козырнул и начал отбирать дела на арестованных.

— Срочно к путиловцам. Там разносят водочный завод... Рабочий отряд не справляется с мародерами... Потом завернете снова в Смольный, возьмете парнишек и нагрянете на штаб-квартиру духовенства, а уж затем отвезете арестованных в

Петропавловку. — Бонч-Бруевич торопливо водил карандашом по книжечке.

— А контру прихватить? — переспросил матрос, тряхнув кудрявым чубом.

— Стоило бы... Но тем самым большевики наденут на попов венец мученичества. — Бонч-Бруевич забарабанил пальцами. Мария Петровна знала эту привычку. — Большевики арестовали священников! Какой вой поднимет белая пресса! А в глазах верующих прохвосты станут страдальцами! Нет, не будем... Но всех, кого духовенство пошлет на борьбу с Советской властью, арестуем! И народу раскроем имя подлинных виновников!

— Что ж, товарищи! Пошли! — Голубева положила браунинг в широкий карман шубы и направилась следом за матросами.

— Вы готовы учинить самосуд над особой императорской фамилии! Готовы расстрелять меня! Вся Европа с ужасом и омерзением следит за бесчинствами большевиков. — Великий князь презрительно выпятил губу, обрезая ножницами кончик сигары.

По камере расползался сладковатый запах дорогого табака, от которого у Марии Петровны кружилась голова. Впрочем, голова кружилась и от недоедания. Ей был антипатичен этот выхоленный седоусый человек, вызывающий, неумный, с белоснежным воротничком на расстегнутом полковничьем мундире. Великий князь напоминал Александра Третьего — огромный, русоголовый, с крупными чертами лица. Длинные породистые пальцы сверкали отполированными ногтями, временами он их подтачивал пилкой, нарочито подчеркивая неуважение к тому, что происходило в камере Петропавловской крепости.

Голубева сидела в строгом платье. Обводила глазами камеру. Светлая. Просторная. Как резко она отличалась от тех, в которых приходилось бывать ей. В углу ящики с консервами, плетеная корзина с вином, желтый чемодан с шерстяными вещами. Ближе к окну письменный стол, непонятно каким образом очутившийся здесь, полумягкое кресло. Очевидно, кто-то старался угодить представителю дома Романовых.

— Разговариваю с вами потому, что лишен в этих стенах другого общества. Адъютант порядком прискучил, а матросня... — Князь начал словоохотливо, очевидно, скучал в Петропавловке. — К своему заключению отношусь как к досадному недоразумению. Я глубоко презираю большевиков и верю, что ваша власть не продержится больше трех недель.

— Прогноз устарел. За три недели давненько перевалило, —

спокойно прервала его Мария Петровна.

— Гм... Английский король, немецкий кайзер да весь миропорядок не допустят существования большевизма! Вас вздернут на первом фонаре, конечно, если я не замолвлю словечка! — Князь захохотал, довольный остротой. — Мы, Романовы, помним добро...

— Довольно! Наслушались благоглупостей! — Мария Петровна резко откинулась в кресле. — Власть большевики взяли надолго, а милостями Романовых народ сыт... Сыта и я!

Голубева говорила не спеша, старалась не показать своего раздражения. К тому же ей отчаянно нездоровилось, сердце покалывало после бессонной ночи. Казалось, в камере недостает воздуха, а тут этот сладковатый запах сигары...

— Бедствия народа всегда оставались бедствиями

царствующего дома, — осторожно заметил князь, приглядываясь к своему следователю.

— Я была на Дворцовой площади в день Кровавого воскресенья. Видела многое: убитых с крестом на шее, раненых детей, солдат, маршировавших по затоптанным в снег хоругвям, — Мария Петровна поплотнее закуталась в платок.

Приосанился и великий князь. Поправил мундир, застегнув блестящие пуговицы, загасил сигару.

— Нашей семье пришлось многое пережить за последнее время: после отречения государя от престола мне довелось жить в Царском Селе. Государь вернулся из Могилева после прощания с войсками постаревшим. Он рвался в Царское Село... к супруге, к детям, а больные дети находились в темных комнатах!

— У детей корь, поэтому и темные комнаты. Драмы здесь нет. Впрочем, вы это знаете лучше меня. — Мария Петровна взглянула на князя. — Именно в эти дни хотели ввести казачьи части в Петроград. Надеялись остановить, а вернее, задушить революцию.

— Конечно, если бы удалось подавить революцию в Петербурге, то воцарился бы мир на всей Руси. Все зло в столице! — Тонкие пальцы великого князя забарабанили по золотому портсигару. — Россия верна царскому престолу. Семя раздора — большевики и Ленин! Сейчас, как никогда, нужен сильный человек...

— Иными словами, заговор и диктатор! Кстати, в свое время Керенский считался сильным человеком... Тогда он устраивал Романовых. По иронии судьбы социал-революционер Керенский опекал Романовых! — Мария Петровна насмешничала: — Верховнокомандующий Керенский превратился в «главноуговаривающего»! Только дела на фронте лучше не шли — народ не мог больше воевать. Впрочем, это запоздалый урок истории...

— Нет, этот урок я хочу продолжить. «Дела на фронте лучше не шли», — с неожиданной страстностью повторил великий князь. — А виноваты в этом большевики. Войска отходили с позиций не под напором врага, а из-за пораженческих идей большевизма!

— Война изжила себя, стала ненавистна народу! — Мария Петровна недоуменно подняла брови, не понимая, на что уповал этот человек. — Временное правительство ввело смертную казнь на фронте... Это порадовало Романовых, но явилось последней каплей народного терпения.

— Смертную казнь вводить нужно было сразу. Распустили подлецов: быдло вообразило себя гражданами — отсюда революция! Учредительное собрание! — Князь кричал, не владея собой, правая щека нервно подергивалась.

Мария Петровна иронически посматривала поверх очков на представителя Романовых — этакое ничтожество!

— Об Учредительном собрании заговорили Романовы, как только пламя революции стало лизать стены дворцов.

— А что делать?! Союзники наши...

— Союзники... — перебила его Мария Петровна, поудобнее устраиваясь в кресле. — Союзникам Романовы готовились уступить Россию до Урала, лишь бы удержать престол. А народ, его чаянья...

— Чаянья народа?! — вскипел великий князь. — Мария Федоровна, вдовствующая императрица, отдала ему жизнь. Попечительство... Благотворительность. Воспитательные дома... Приюты... Богадельни...

— Болтовня! Попечение о народе в рамках личной благотворительности. Мария Федоровна — позерка: двадцать лет не снимала траур по мужу, письма с траурной каймой, черные конверты, трогательные подписи: «грустная мама»... Но советы ее Николаю во время спора с Керенским об императорских землях весьма характерны. — Мария Петровна устало провела рукой по седым волосам. — А ведь Керенский старался устроить побег царствующего дома в Англию. Нельзя гневить судьбу — Керенский делал все, что только возможно...

— Вы хорошо осведомлены, — кисло заметил великий князь. Щелкнул зажигалкой — смеющийся уродец выплюнул огненный язычок.

— Осведомлена. Готовилась к допросу, просмотрела письма, отобранные у Николая. Кстати, там и письма «грустной мамы». Не ручаюсь за дословное воспроизведение, но смысл достаточно точен: народ именуется свиньями, забота о царских прибылях — в выражениях непристойных!

— Царское есть царское! Мария Федоровна отстаивала принцип, — снисходительно кивнул великий князь.

— Царское! Шла купля-продажа с Керенским. Большевики попросту национализировали земли — и спора нет!

— Грабеж! Россия без царя не проживет...

— Причем без царя пронемецкой ориентации! — зло парировала Мария Петровна. — Народ начинает управлять страной, обойдется без царя, без Учредительного собрания, на которое кадеты возлагают надежды.

— Как временная мера возможно и Учредительное собрание...

— Вы левеете на глазах, — усмехнулась Мария Петровна.

— Учредительное собрание поможет России выйти из тупика — не большевики же будут возглавлять страну?!

— Большевики и народ! Учредительное собрание будет

распущено, если не подтвердит декретов Советского правительства. — Мария Петровна, прищурив глаза, заметила: — Сообщаю это конфиденциально! Вандея на Дону, как и Вандея в Петрограде, будет разгромлена. Поднялся народ, с ним не совладать кучке родовитых и озверевших негодяев! — Мария Петровна решительно пододвинула папку с бумагами, стала просматривать документы.

— Мало вас вешали, мало вас истребляли! — Романов поднялся во весь рост, зло ударил кулаком по столу.

Матрос, неподвижно стоявший у двери, щелкнул затвором, выжидательно посмотрел на Марию Петровну. Великий князь нехорошо выругался, отшвырнул ногой пустую бутылку. «Нужно сказать коменданту, чтобы навел в камере порядок. Нас с таким комфортом в тюрьмах не держали. У Заичневского следы от кандалов остались на всю жизнь...»

— Садитесь, арестованный! Вам предъявляется обвинение в подготовке контрреволюционного мятежа, в участии в террористических актах. — Мария Петровна поплотнее укрепила очки и начала вести протокол допроса.

— На каком основании?!

— Вопросы задаю от имени Советской власти я, и потрудитесь отвечать на них.

В камере Петропавловской крепости Голубева начала допрос великого князя Романова.

НА КОНСПИРАТИВНОЙ КВАРТИРЕ

Дождь барабанил по стеклу. Громко. Мария Петровна стояла у окна, закутавшись в пуховый оренбургский платок, который она пронесла через всю жизнь. Глаза ее тоскливо смотрели на улицу, залитую дождем. Вот она, осень. Холодный ветер, нахохлившиеся птицы, тягучий мелкий дождь. В серое небо вкраплялись уцелевшие листья. Растягивались облака, окутывая золотой крест церквушки. А кругом невысокие дома, так отличающиеся от петербургских громад. Москва, вновь Москва, куда она переехала в этот трудный, голодный 1919 год.

Настенные часы отбили двенадцать. Позолоченная птичка выпрыгнула на резное крылечко, замахала крылышками. Часы появились в квартире недавно, и Мария Петровна все еще не могла привыкнуть к их громкому бою. Два. Птичка замерла. Лишь хвост продолжал раскачиваться. Пора собираться. Сегодня она назначила встречу на Гоголевском бульваре Юре, с которым не

виделась второй месяц. Мальчик тосковал, не понимая, почему ушла из дому мать... Ушла... Вновь ушла! Леля и Катя выросли. А вот Юра? Юре только тринадцать, он младший — вся материнская любовь, вся нежность ему одному. С Юрой связаны последние воспоминания о муже. Сын родился, когда Василий Семенович отбывал в «Крестах» заключение за опубликование в газете статьи, попавшей под запрет цензуры. Тогда при свидании в тюрьме у Василия Семеновича на глазах выступили слезы. Сын! Как нежно поцеловал он ее, осунувшуюся после родов, как жадно прижал мальчика, даже глаза, тоскливые и задумчивые, заблестели. И только, когда под пикейным одеяльцем нащупал письма — их следовало передать в тюрьму, — лицо его болезненно скривилось. Упрекать жену после родов не хватило сил, но понять он также не мог. «Зачем? — спросил свистящим шепотом, улучив момент, когда надзиратель отошел в дальний угол свиданной комнаты. — Сына-то, сына-то пожалей... Меня не берегла, девочек... Теперь вот и крошку... — Худое лицо его стало жалким, тонкими пальцами смахнул слезы и с неожиданной страстью закончил: — Я скоро умру... Сердце ни к черту! Ты никогда не считалась со мной! Прошу об одном — сбереги сына... Пускай по земле пошагает Юрий Васильевич Голубев...»

Мария Петровна провела рукой по глазам, отгоняя непрошеные воспоминания. Вскоре после этого разговора муж умер, оставив ее одну с детьми, слова же его всегда отдавались в груди щемящей болью. Детей она старалась беречь: все дорогое, заветное — им одним, особенно Юре. Да и девочки к малышу относились нежно, ласково. Сын удивительно напоминал мужа, такой же впечатлительный, кроткий. И вот пришлось оставить его в такие тревожные дни одного.

Дождь припустился сильнее, прикрывая мокрой пеленой стекло. Мария Петровна все еще стояла у окна и волновалась. Неужели не перестанет дождь, как же тогда быть со встречей? От Лели, старшей дочери, она знала, что Юра прихварывал, голодал, а главное — скучал. Она решила встретиться, чтобы успокоить мальчика. Дни стояли сухие, освещенные последним солнцем, а сегодня — ливень... Впрочем... Досадливо наморщив лоб и сбросив платок, начала натягивать пальто, поглядывая на кушетку, громоздкую, затканную серебром. На резной спинке выделялись медальоны с львиными головами и танцующими нимфами — кушетка из царских покоев. Да и вся обстановка комнаты до сих пор вызывала удивление: дорогие вещи, редкие картины, бронза, хрусталь. Комендант Кремля явно не поскупился, когда вывозил их из царских палат. Даже, к ее великому удивлению, оказались простыни с царскими

монограммами.

Голубева вновь готовилась перейти в подполье. Теперь она — крупная дворянка, ограбленная и обездоленная большевиками. Мария Петровна видела, как блеснули глаза у старого чиновника, подселенного в квартиру по ордеру. Он долго пожимал руку, сказав, что сразу почувствовал в ней человека своего круга, ругательски ругал новую власть, большевиков, расспрашивал об имении, которое она потеряла где-то на Херсонщине, доверительным шепотком передал, что Деникин не сегодня, так завтра займет Москву. Она удивленно приподняла брови, ничего не сказала. Чиновник размашисто перекрестился и гаденько рассмеялся. Да, Деникин угрожал Москве! Это Мария Петровна знала лучше чиновника. По улицам маршировали рабочие отряды, плотное окопное кольцо стягивалось вокруг города все туже. Москву готовились защищать до последней капли крови, но падение Москвы не означало бы крушения Советской власти. Создавался второй фронт — возникали конспиративные квартиры, разрабатывали пароли, явки, создавали склады с оружием. В Центральном Комитете партии возглавлять подпольную сеть в случае необходимости поручили Марии Петровне, хозяйке столь многих конспиративных квартир. Вот почему оказалась в этом барском неуютном доме, вот почему пришлось уйти из семьи, порвать связь с детьми. Как солдат, она уже на передовой...

Всю дорогу от Старо-Конюшенного переулка до Гоголевского бульвара, где назначена встреча, торопилась. Дождь затихал, и по желобам домов журчала вода. Проглянуло солнце, и по лужам запрыгали солнечные зайчики, как озорные мальчишки. От арбатской мостовой, выложенной крупным булыжником, поднимался пар. Дома, умытые дождем, помолодели. На заколоченных парадных подъездах белели обращения за подписью Дзержинского. На гранитном розовом постаменте наклонил голову Гоголь. По каменному лицу сбегали капли дождя. Широко раскинули ветви тополя с пожелтевшими листьями, темнели набухшими стволами.

По привычке заложив руки за спину, Мария Петровна медленно побрела вдоль бульвара, тяжело вороша мокрый лист. Бульвар оживал. Высыпали обычные посетители: кормилицы в плюшевых жакетах, детишки в ярких капорах. Мальчики запускали корабли в лужи. Старая женщина мягко улыбалась. Дети были ее болью, ее счастьем. Ради них молоденькой девушкой она пошла в земские школы, учительствовала в Костромской губернии, делала операцию мальчонке. Сколько детского горя и детских слез повидала она за свою долгую

жизнь... Война... Революция... Снова война, теперь уже гражданская. Деникин угрожал Москве. Деникин на пороге. Бои с Деникиным за Тулу...

И опять ее мысли вернулись к детям, теперь уже собственным. Их было пятеро. Жизнь ее почти завершена, и упрекнуть себя она может не во многом. Единственно, что мало радости принесла собственным детям, мало времени уделяла им, мало заботилась о них. Ее первенец Таня умерла шести месяцев от роду. Они жили тогда в Смоленске: она под гласным надзором, а Василий Семенович вернулся после ссылки из Сибири. Без денег и без работы. У Василия Семеновича открылся туберкулез. Комнату сняли при местной больнице, кашлял он отчаянно, и она боялась за его жизнь. В больнице платили гроши — земство ловко использовало отсутствие диплома... А тут роды... Роды принимала Мария Эссен, дружба с которой прошла через лучшие годы. Кажется, эти роды оказались у акушерки Эссен первыми и последними. Девочка умерла от менингита, не спасла ее материнская любовь. А потом родились в Саратове Леля, а через год — Катя. Обыски в доме Голубевых шли один за другим, переворачивали весь дом, и лишь детскую осматривали поверхностно. Она стала, запрятывать брошюры и прокламации в детские кроватки, тонкие листы с адресами и явками — в кукольные головки. Как часто ночами стояла Леля в длинной рубашке, прижимая к груди куклу... Вспомнила пароход со смешным названием «Милосердие». В город пришел транспорт «Искры». В каюте сидела Эссен, за ней велась слежка. Нужно спасти нелегальщину так, чтобы не вызвать подозрения полиции. Раздумывать было некогда, и Мария Петровна решилась. Одела девочек в нарядные плюшевые пальтишки и повела на пристань. Солнечным днем поднималась она к Эссен по шатким сходням, там в каюте в двойную подкладку детских пальто рассовала листовки, обвязалась нелегальщиной и сама. Катя попробовала бежать, зацепилась, едва не упала; городовой с торчащими усами приподнял девочку, снял со сходней. У Марии Петровны екнуло сердце, невозмутимая Эссен побледнела, и лишь Катя, довольная, перебирала в воздухе ножонками. Да, рано повзрослели ее дочери. Память перелистывала страницы былого. Сенат приговорил Эссен к каторге, которую впоследствии заменили долгосрочной ссылкой. В ссылку Эссен идти не хотела. «Работы невпроворот, а здесь ссылка!» — писала она Марии Петровне из тюрьмы. Нужно было организовать побег. Тюремный режим пересыльной тюрьмы строг: свидания давались в исключительных случаях и непременно в присутствии надзирателей. Все попытки передать нужные для побега вещи заканчивались неудачей. Тогда

в комнате для свиданий под видом родственницы появилась Мария Петровна с девочками. Комната оказалась небольшой, полутемной. Надзирательница, пожилая женщина, угрюмо молчала. И в этой свиданной — ее девочки в пестрых батистовых платьях, похожие на бабочек. Леля держала в руках букет, а Катя — куклу с изумленными глазами. На дубовую скамью уселись рядышком: Эссен, семилетняя Леля, Мария Петровна, Катя. Болтушка Катя завладела надзирательницей. Мария Петровна видела, как разглаживалось лицо угрюмой женщины, как ожила улыбка. Ба, надзирательница завязала бант на завитых кукольных волосах. «Кажется, все благополучно!» Надзирательница не отводила глаз от оживленного детского лица, все реже посматривала на беседующих, все меньше прислушивалась к их разговору.

И тут наступило главное — Леля протянула букет. Казалось, Мария Петровна закричит от напряжения, нервы ее не выдержат. В букете — кинжал, о нем так просила Эссен. Словно в полусне, Мария Петровна увидела, как Эссен взяла букет, прижала к груди девочку, поцеловала. В ее больших серых глазах — напряжение, она понимала, кем рисковала подруга. И вновь обостренно прислушивается Мария Петровна к разговору Кати с надзирательницей. Быстрый детский лепет и неторопливые вразумительные слова надзирательницы. Осталось передать плед, начиненный, словно пирог, явками, деньгами. Предусмотрено все, что потребуется Эссен, прежде чем удастся скрыться за границу. Мария Петровна протягивает плед надзирательнице, боясь возбудить подозрения и в душе надеясь на удачу. Катя капризно отпихивает его, громко смеется, глядя, как надзирательница укачивает куклу. Правда, забавно. Женщина раскачивалась всем телом, крупной ладонью прихлопывая по воздушным оборкам. Плед проверять не стала, кивнула головой — чего, мол! Глаза подруг встретились, на плечо Марии Петровны легла теплая ладонь. Эссен благодарно улыбнулась. И опять не по-детски серьезное лицо Лели и опять оживленный смех Кати... Вот она, жизнь ее девочек!

Шагает по бульвару Мария Петровна, ворошит сырой осенний лист, будто переворачивает страницы своей многотрудной жизни. Был и еще один сын. Он умер, когда она строила баррикады у путиловцев в девятьсот пятом. С каким укором смотрел на нее Василий Семенович: не уберегла... Она и сама плакала...

Юру она увидела сразу, как только он подошел к памятнику Гоголю. Немного поодаль Леля... Катя. Они не здороваются с матерью, делают вид, что не замечают ее. Милые мои девочки! Юра проводит рукой по тяжелым цепям. Серый башлык сползает

ему на глаза.

— Юша! — почти беззвучно шепчет Мария Петровна, пытаясь подавить волнение. — Юша!

Мальчик поворачивается и кидается в ее объятия. Она проводит рукой по мокрому от слез лицу, сжимает худенькие плечи, чувствует, как они содрогаются от рыданий.

Горький ком подкатывается к горлу. Она не плачет, нет, лишь хмурится и покрепче прижимает сына.

— Полно... Успокойся, мой мальчик! — Мария Петровна увлекает его на скамью. — Сырость разводишь, а на бульваре и так мокро! Смотри, как воробышки радуются солнышку.

Мария Петровна старается отвлечь мальчика, но Юра качает головой и судорожно целует ее руки. В синих глазах — слезы крупными горошинами. Слезы огорчают ее — единственному сыну вновь причиняет боль!

— Ты приехала, мамочка?! Приехала?! Больше не расстанемся?! — Глаза с надеждой смотрят на мать.

— Приехала... Только придется вновь уехать. — Детям она никогда не говорила неправду и, тяжело вздохнув, повторила: — Придется...

— Но почему?! Почему?!

— Нужно, сынок! — Она гладит его по плечу, тормошит челку волос. — Расскажи лучше, как живешь. Ты воблу получил? Мой подарок... А в столовой какой суп берешь: «без ничего» или «ни с чем»?

Юра смеется. Спор взрослых в совнаркомовской столовой о супе, сваренном из тощей воблы и гороха, всегда веселил его. Мария Петровна это знала и обрадовалась его радости.

— Один день беру «суп без ничего», а другой «суп ни с чем».

Теперь смеется и Мария Петровна, удивляясь, как забавно звучат слова Бонч-Бруевича в устах мальчика.

— Ты береги себя, Юша. Я в трудной дороге, но известия о тебе получаю, и мне будет больно, если с тобой что-нибудь случится. Так-то, сынок... Слушайся Лелю и Катю... Может быть, тебе с ними придется скоро уехать.

— А ты? — перебил ее Юра. — Ты как же?

— Зачем задавать вопросы, на которые нельзя ответить? — возразила Мария Петровна и, заметив, как насупился мальчик, попыталась его успокоить: — Через недельку увидимся... Непременно, Юша... Теперь иди, пора!

Юра прижался сильнее, обхватил шею матери, покачал головой. Из глаз закапали слезы. Мария Петровна укоризненно взглянула, решительно отстранила и глухо повторила:

— Пора!

Клавдия Кирсанова

Клавдия Ивановна Кирсанова родилась в 1888 году в Кунгуре Нижегородской губернии. В революцию пришла с пятнадцати лет — у гимназистки Кирсановой при обыске найдены нелегальные издания. В 1904 году вступает в ряды РСДРП, ведет пропагандистскую работу среди учащихся и солдат Пермского гарнизона. После разгрома баррикад на Мотовилихе в декабрьские дни 1905 года продолжает работу в военной организации. В 1906 году арестована, приговорена к восьмимесячному заключению в крепости. После приезда в Пермь Я. М. Свердлова становится его

помощником по военной работе. В 1908 году вновь арестована за участие в организации побега политзаключенных пермской тюрьмы, отправлена в ссылку в Иркутскую область. Из ссылки бежала и вновь арестована в Саратове. В 1909 году в Перми была судима за побег из ссылки и приговорена к трем годам каторги. Вскоре была вновь судима по делу военной организации РСДРП — четыре года каторги и ссылка на вечное поселение в Сибирь. Каторгу отбывала в пермской каторжной тюрьме. В 1913 году этапом была отправлена в Якутскую область. Из ссылки К. И. Кирсанову освободила Февральская революция. Она направляется на Северный Урал, в Надеждинск. В годы гражданской войны — член Военной коллегии Богословского горного округа по борьбе с контрреволюцией. С Урала отозвана в Москву, где работает секретарем Хамовнического райкома. По партийной мобилизации К. И. Кирсанова направлена в Омск секретарем горкома. В 1922 году по возвращении в Москву назначена ректором Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова. В 1933 году за работу среди женщин награждена орденом Ленина. Долгие годы работает в отделе пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Пламенный пропагандист и агитатор, видный деятель международного женского движения. В 1945 году выезжает в Париж на Международный конгресс женщин. Умерла К. И. Кирсанова в 1947 году.

МИХАЛЫЧ

Остроконечное здание пермской губернской тюрьмы, обнесенное высокой кирпичной стеной, она увидела сразу, как только вышла на Вознесенскую улицу. Холодный ветер с колючим снегом, налетевший с низины, заставил девушку поглубже надвинуть смушковую кубанку и поднять воротник короткого жакета. Она потерла вязаной рукавичкой раскрасневшиеся на морозе щеки и прибавила шагу.

Грузно оседая на рессорах и поднимая искристую морозную мглу, проехала тюремная карета с глухо зашторенными окнами.

Девушка поспешно перешла улицу и оказалась на узенькой тропке Анастасьевского садика. В этот пасмурный день оголенные тополя и липы чернели сиротливо, подчеркивая суровость тюремного здания.

По Анастасьевскому садику с разных сторон были протоптаны тропинки, и все они, словно лучи, сходились у тюремных железных ворот. Клавдия, стряхнув снег с жакета,

отворила дверь в канцелярию, и ее тотчас оглушил разноголосый шум свиданной комнаты.

Женщины и дети торопливо и сбивчиво пытались что-то объяснить подслеповатому седому надзирателю, принимавшему передачи за узким столом. Клавдия заняла очередь за сгорбленной старушкой в салопе.

Пермская губернская тюрьма переполнена. Комнату для свиданий делила железная решетка, частая и ржавая. Параллельно решетке тянулся деревянный невысокий барьер, гладко отполированный локтями, к которому допускались посетители. Между решеткой и барьером по узкому коридору прохаживался старший надзиратель.

В красном углу светилась лампада перед иконой божьей матери в серебряном окладе. Старушка в салопе молча поставила на стол кошелку и туесок с молоком. Негнущимися узловатыми пальцами вынула из кошелки белый узелок.

— Трофимову, сынку, на башню... — проговорила она, и сморщенное лицо ее затряслось.

Надзиратель короткими толстыми пальцами поворошил узелок, разломил буханку ситного, заглянул в туесок. Потом поднял голову и решительно отодвинул котелок с пельменями.

— Знаешь ведь, старая, пельмени-то в котелке по инструкции не положены.

— Сынок просил... Его любимые... Прими, батюшка, век буду бога молить. — Она низко-низко поклонилась.

Надзиратель насупился, помедлил и молча сунул передачу в большую плетеную корзину.

Этого надзирателя Клавдия знала: человек не злой, но служака ревностный. И сегодня, увидев его на дежурстве, огорчилась: у нее в туеске стальные пилки, а в двойном деревянном дне записка о положении дел в Пермском комитете...

— Студенту Льву Герцу, в крепость, — сказала Клавдия, когда подошла ее очередь. — Жениху моему... — И, поставив туесок на стол, принялась вынимать из кошелки ситный, баранки, домашнее печенье.

— Эх, барышня, барышня, — заворчал надзиратель, — зачастили к нам. Такая красавица, а женишок, вишь, в тюрьме... Нехорошо-с...

Надзиратель поднял очки на лоб, взглянул на девушку. Серая смушковая кубанка серебрилась на ее небольшой, горделиво посаженной головке, из-под кубанки улыбалось румяное кареглазое лицо. Каштановые волосы выбивались на лоб, тугие косы падали ниже пояса.

Старик привычно проверял передачу. Ломал баранки,

домашнее печенье, ситный... Наконец взял туесок... У Клавдии сильно колотилось сердце.

Отодвинув локтем туесок и открыв ящик стола, надзиратель вынул список заключенных, находящихся в крепости. Близорукими глазами просматривал фамилии, перелистывал листы желтоватой бумаги.

— Так вот, барышня, передачу примем, а на свиданьице... — он кашлянул, — разрешения нет.

— То есть как это нет? — удивилась Клавдия, поправляя каштановую прядь. — Я вчера заходила к начальнику тюрьмы, — не задумываясь, прибавила она, — он сам разрешил. Нет, нет, тут, верно, опять канцелярия что-то напутала... Уж вы, пожалуйста, распорядитесь, — вежливо, но властно закончила она и отошла к скамье, на которой пристроилась мать Трофимова, ее добрая знакомая.

Старушка огляделась, зашептала:

— Спасибо, доченька, не забываешь старую. За деньги спасибо. Сразу поняла, что ты их приносила, когда конвертик-то нашла. Плохо без сыночка. С голоду померла бы, кабы ты не позаботилась.

— Да я-то тут при чем? — улыбнулась Клавдия. — Хороших людей много, не оставят в несчастье.

Карие и лучистые глаза ее тепло смотрели на Трофимову. Лицо стало задумчивым. Да, старушка верно догадалась: деньги приносила она. На беду, вчера поднялась метель, снег ходил по городу белой стеной, и Клавдия с трудом разыскала покривившийся домик с деревянным забором.

В этот вечер Клавдия разносила деньги по нескольким адресам в разные концы города. Продрогла отчаянно. Но разве в этом дело? Деньги эти надо было еще раздобыть! В дни получки сборщики подходили к рабочим с книжкой и по копейкам собирали деньги для семей арестованных.

— Бросила бы ты по тюрьмам-то ходить, — снова зашептала Трофимова. — Молодая, красивая, — старушка любовно выговаривала девушке, — образованная. Да тебя первейший жених возьмет... Гляди-ка, сам богач Губонин засватает. Семья у вас хорошая, достаток небольшой, но имеется. Батюшка твой всем деткам образование дал, и бог его здоровьем не обидел. Жить бы да радоваться. А ты все по тюрьмам...

Старушка так искренне ее жалела, что Клавдия засмеялась.

— Прости меня, старую, — растерялась она. — Знать, молодым виднее, как на свете жить.

По свиданной прошло легкое движение. Все вскочили со своих мест и, торопясь, толкаясь, устремились к деревянному

барьеру. Женщины в нагольных полушубках пропускали вперед детишек. Глаза были обращены к железной решетке.

Клавдию всегда удивляло, как по неуловимым признакам, известным только им, определяли женщины выход заключенных: не прошло и пяти минут, как послышался глухой топот, звон кандалов и громкий мужской разговор. За решеткой появились арестанты. Качнулось пламя в керосиновой лампе, дрогнула лампада у иконы божьей матери, нарастал плач и крик в свиданной.

Клавдия протиснулась к барьеру. Решетка мешала рассмотреть лица, девушка боялась пропустить Свердлова. К нему «невестой» и пришла она на свидание.

При аресте Яков Михайлович назвался Львом Герцем, предъявив студенческий билет имперского Лесного института.

Время свидания истекало, Свердлова не было. Что могло произойти? Клавдия терялась в догадках. Опять взметнулись истошные женские голоса — это ввели новую партию арестантов. Опять дрогнуло пламя в керосиновой лампе, и, перекрывая шум свиданной, послышался зычный бас:

— Родненькая моя! Наконец-то!

«Яков Михайлович! — обрадовалась Клавдия. — Только не знает, под каким именем пришла...»

За решеткой колыхнулись заключенные, и она увидела осунувшееся смеющееся лицо Свердлова, тонкими длинными пальцами он держался за решетку. Невысокий, худощавый, в серой арестантской одежде, Михалыч казался подобранным и сильным. Густые волнистые волосы падали на высокий лоб, темные глаза мягко смотрели сквозь стекла пенсне. Черные усы и черная бородка подчеркивали матовый цвет лица.

— Левушка, — громко крикнула Клавдия, — молоко получили?

— Отличное молоко! Благодарствую, — отозвался Свердлов.

— Как здоровье? — Клавдия наклонилась через барьер.

— Барышня! Не дозволено! — Старший надзиратель сделал запретный жест. И усмехнулся. — Женишка бог голосом не обидел, и так услышите... Иерихонская труба!

— Хорошо! — послышалось в ответ. — Не волнуйся! Тут меня осматривал лекарь. Говорит, после голодовки начался процесс в левом легком... Только я его успокоил — это еще с Николаевских рот, когда меня в карцере избивали...

— Не дозволено! Не дозволено, молодой человек! — заторопился к решетке старший надзиратель.

— А бить жандармам дозволено? — зло огрызнулась Клавдия, сверкнув карими глазами.

Шум в свиданной затих.

— Насильники! Убийцы! — раздался истошный крик.

Молодка, прижимая к груди ребенка и ожесточенно работая локтями, проталкивалась к барьеру. Клетчатый полушалок сбился. Клавдия заметила маленькое покрасневшее ухо. Зашумели арестанты, затрясли решетку. Старик с обветренным лицом и вислыми усами хрипло бросил:

— Дождетесь, ироды!

Забегали надзиратели, оттаскивая заключенных от решетки. Те огрызались. Свердлов взмахнул рукой и бросил в толпу:

— До свидания, товарищи! Сила за нами!

Появился начальник тюрьмы с аккуратно подстриженными усиками. В черной длиннополой шинели с голубым кантом. Он обвел сердитым взглядом настороженную толпу. Стараясь казаться спокойным, приказал:

— Прошу расходиться! Время истекло...

Свиданная медленно пустела.

В Анастасьевском садике мела метель. Серебрилась кора деревьев, покрытых изморозью. В густом кружеве инея застыли невысокие липки, ветви их напоминали узоры на прихваченных морозом стеклах.

Клавдии очень хотелось приподнять деревянное дно в порожнем туеске, возвращенном ей в тюремной канцелярии. Торопливо пробегали люди, и она не решалась.

Что означают слова о Николаевских ротах? Неужели его хотят перевести в эту тюрьму с каторжным режимом? Свердлов пока в Николаевских ротах не сиживал. Если он их назвал... Хуже и не придумаешь. Ведь здоровье у Михалыча не ахти какое. Да... А голодовка?! Значит, политические голодали. Били его действительно. Только не в Николаевских ротах, а в нижегородской тюрьме. Он тогда был совсем мальчиком. После побоев и карцера у него началась чахотка.

Она не выдержала, спряталась за густым орешником: так и есть — в туеске записка!

Крупно, размашисто писал Свердлов. «Хорошо жить на свете! Жизнь так многообразна, так интересна, глубока, что нет возможности исчерпать ее...»

Клавдия недоуменно шевельнула бровями.

«...При самой высшей интенсивности переживаний можно схватить лишь небольшую частицу. А надо стремиться к тому, чтобы эта частица была возможно большей, интересной... Болею душой за участь Трофимова, Меньшикова и Глухих. Во что бы то ни стало, при любых трудностях необходимо всех их вырвать из

тюрьмы. Военный суд им грозит смертной казнью. Организацию побега возлагаю на вас. Михалыч».

Смертная казнь! Лицо Клавдии сделалось серым. Долго стояла она у куста, не замечая ни мороза, ни ветра, со стоном и воем снующего по лучам Анастасьевского садика.

БОЕВИК ВОЛОДЯ

Ранними зимними сумерками Клавдия, кутаясь в белый пуховый платок, подошла к двухэтажному дому на Большой Ямской улице.

Старик, сгорбленный и худой, в оленьем треухе, подставил лестницу к уличному керосиновому фонарю и грязной тряпкой протирал закопченное стекло. Тусклый свет желтым пятном расползался по деревянному тротуару.

Тропинка, плотно утоптанная и посыпанная хвоей, упиралась в новый дом с высоким крыльцом.

Клавдия обмела веником валенцы и по крутой лестнице поднялась на второй этаж, в квартиру Володи Урасова.

Чистенькая горница с бревенчатыми стенами, за ситцевой занавеской на окне — герань, в плетеной клетке — щегол. Пахло дымком и свежеиспеченным хлебом. На зеленоватой клеенке пофыркивал начищенный самовар.

За низким столиком у русской печи на чурбаках расположились Урасовы — отец и сын. Отец сапожничал, сегодня ему помогал и Володя.

Приходу гостьи Урасовы обрадовались. Володя удивленно вскинул густые русые брови, снял черный матерчатый фартук.

— Раздевайся, Клавдичка... Погрейся с морозцу-то, — глуховато пригласил Урасов-старший.

Он провел большой рукой по окладистой бороде и долгимзадумчивым взглядом посмотрел на девушку. Тяжело вздохнул и, всунув деревянную колодку в стоптанный сапог, стал ритмично постукивать молотком.

— Спасибо, Александр Иванович. От чая не откажусь, — поблагодарила Клавдия, развязывая пуховый платок.

Скинув пальто, поправила синее гимназическое платье, потерла озябшие руки.

Володя, высокий, широкоплечий, с тонким лицом и большими голубыми глазами, медленно помешивал в стакане ложечкой. По спокойному выражению лица Клавдии трудно догадаться, чем вызван этот необычный приход. Дом Урасовых, с

недавних пор превращенный в тайный склад динамита, товарищи без крайней нужды не посещали.

— Ну, вы тут чаевничайте, а я ненадолго в амбар схожу, — поднялся Александр Иванович.

Володя с благодарностью взглянул на отца. Хлопнула дверь, и Клавдия услышала, как тяжело заскрипела лестница.

— Понимает, что поговорить надо. Вот и надумал... — Володя отставил стакан, придвинулся к Клавдии. — А ведь волнуется, да как волнуется... С каменоломен притащили динамит. Заранее обмозговал, где его припрятать. Но так все быстро завертелось, что подготовиться толком не сумел. Ну, на первый случай разложил патроны... В пергаментной бумаге они на чертовы пальцы похожи. Запихнул их под матрац и улегся спать. Решил: ночью перенесу. На беду, в ту же ночь братан заболел — все глаз не сомкнули. Утром — гудок, побежал на завод, а динамит оставил. Так и провертелся несколько ночей — все случая подходящего выбрать не мог... Тут-то, Клавдичка, и понял я по-настоящему своего отца. — Голубые глаза Володи потеплели, на лице появилось мягкое, доброе выражение. — Как ни прятал динамит, а скрыть не удалось, все узнал: то ли заметил, что тревожусь, то ли случай... Прихожу домой, а он — мрачнее тучи. «Ты что же, отцу родному довериться боишься?.. Ну удружил, сынок... Давно за тобой приглядываю — думаешь, не знаю, что в боевой дружине состоишь, оружие прячешь... Молчу, потому что одобряю. А на динамите спать-то нечего: не перина, поди! Уложим так, что и комар носу не подточит!» — Володя заулыбался, добавил с нежностью: — Товарищ он у меня настоящий!

— Завидую тебе, — задумчиво ответила Клавдия. — У меня дома этого нет. Мама добрая, очень добрая, но восемь человек детей, с ног сбивается... Не понимает меня. Все кричит: «Смотри, на каторгу угодишь!.. Стыд-то какой падет на семью. Кто сестер замуж возьмет, если каторжанкой будешь?» — Клавдия вздохнула. — Жаль ее, а что поделаешь...

Она налила в стакан свежего чая и отрезала кусок теплого морковного пирога.

— В печке щи горячие... Может, попробуешь?

— Некогда, Володя. Дел много. — Она помолчала. — Нужно пять бомб. Простые фитильные, с бикфордовым шнуром. Лучше в трехдюймовых шрапнельных банках — сработать им придется. К пятнице управишься?

Володя кивнул, не вдаваясь в расспросы.

— И еще вот что... Необходима веревочная лестница, — продолжала Клавдия. — Надежная, аршин на десять... — Она

достала из кармана чертеж. — По этим размерам... Еще два крюка отковать. Михалыч поручил подготовить побег Трофимова, Меньшикова и Глухих. Они теперь в башне, военного суда ждут. — Голос Клавдии звучал сухо, излишне деловито. — Сам знаешь, за экспроприацию...

Володя побледнел: смертная казнь! Как все обернулось... Только что же это? Зачем столько бомб?

— Будешь с дружиной участвовать в побеге, — объясняла Клавдия. — Прикроете отход товарищей. Завтра в восемь у Кафедрального собора передам ящик с браунингами. У тебя лежат берданы, так ты их достань... Думаю, Володя, без «лесных братьев» нам не обойтись... Связь с тюрьмой беру на себя... Михалыча на днях переведут в Николаевские роты. Торопиться нам надо, каждый час дорог. Побег приурочим к дежурству Янека. Давай вечерком с ним встретимся. — Она помолчала. — Да, Володя, еще... Товарищ Артем поручил в городском театре разбросать листовки о выборах в Думу. Передам их завтра, а ты подбери ребят понадежнее. Мотырева, Архиреева... Не следовало бы вас посылать в театр, но людей мало. Поредела дружина от арестов.

— Ничего, Клавдичка, выдюжим, — баском сказал Урасов. — Сама, гляди, не сорвись.

Ближе к окраине Перми, на Разгуляе, высились кирпичные стены военных казарм. Над массивными железными воротами двуглавый орел. У ворот полосатая караульная будка.

Вечерами у казарм молодежь собиралась на гуляния. Толпились солдаты, свободные от дежурств. Стайками мелькали подростки в засаленных полупальто и ушанках. Лузгая семечки, павами проплывали в нарядных шалях молодки.

Парни переговаривались с солдатами и угощали их табачком.

А солдат в Перми в ту зиму оказалось много. Помимо Ирбитского резервного батальона, который большей частью нес караульную службу в губернской тюрьме, местный гарнизон усилили Псковским полком.

Клавдия с Володей фланировали вдоль казарменных стен.

— Ну, Клавдичка, займемся сибирским разговором! — Посмеиваясь, Володя протянул горсть каленых кедровых орешков.

Молодые люди гуляли здесь не впервые. По заданию комитета Клавдия вела пропаганду в Ирбитском батальоне, а Володя обычно сопровождал ее.

Яна Суханека они заметили неподалеку от караульной будки. Был он среднего роста, худощавый, подвижной. Из- под черной бескозырки с белым околышем выбивались вьющиеся волосы. Широкие густые брови подчеркивали голубизну чуть выпуклых

глаз. Суханек помог Клавдии создать большевистскую группу среди солдат, распространял в казармах листовки и прокламации.

— Что ж так поздно? — улыбнулась Клавдия.

— Только освободился после наряда...

Не торопясь вышли они из толпы, не торопясь двинулись в сторону вокзала, освещенного электрическими огнями.

В пуховом платке, в валенцах, Клавдия не отличалась от фабричных девушек. Суханек наклонился к ней, рассказывая что-то веселое, и ловко извлек из кармана Клавдиной шубейки тонкие шуршащие листовки. Сунул их за шинель. Встречные солдаты провожали Яна завистливым взглядом: ишь, какую раскрасавицу отхватил! А Клавдия, храня на лице улыбку, тихо и быстро говорила:

— Дела плохи, Янек. Трофимова, Меньшикова и Глухих ожидает военный суд. Приговор один — смертная казнь. Побег будем устраивать в твое дежурство. Хорошо, если бы попал в охранение наружной стены: товарищи спустятся по веревочной лестнице...

— Трудно, Клавдичка, сейчас все больше ингушей назначают, — нахмурился Ян. — Тяжело с ними — по-русски не знают, темные, фанатичные. Попробуй-ка распропагандируй.

— И все же нужно, Янек. Ведь жизнь... — Голос ее дрогнул. — Давай подумаем, как лучше организовать побег... Ты ведь хорошо знаешь все подступы к тюрьме... Следует еще раз проверить толщину стены...

Клавдия умолкла. Ян вытянулся перед офицером. Девушка кокетливо ему улыбнулась. Их благородие был навеселе. Видать, кутнул в вокзальном буфете. Офицер небрежно кивнул Суханеку, внимательно оглядел Клавдию. Солдат с девицей близ вокзала — явление обычное. А девица, черт подери, куда как хороша!

— Пронесло! — облегченно вздохнул Суханек. — Молокосос новоиспеченный, житья от него нет. Пойдем отсюда. День воскресный — офицеров полно в буфете... Как это я сразу-то не сообразил... Ну, слушаю, Клавдичка, говори.

— Трофимов с товарищами в башне, в одиночке. Надо передать им план побега. Сам знаешь как... — И просительно добавила: — Может, узнаешь, когда Михалыча переведут в Николаевские?..

Неторопливо шествуют барышня и солдат. Влюбленно. Барышня встряхивает тугими косами, улыбается. Солдат поглядывает по сторонам — не напороться бы на офицера. А Володя Урасов, надвинув на глаза пыжиковую ушанку и отвернув воротник, следует позади.

Поднялся ветер и начал раскачивать на прямой как стрела

улице редкие деревья. На синеющем небе появились первые звезды. Стало холодно.

— Значит, до завтра! — сказала Клавдия. — На старом кладбище.

Клавдия вздрогнула: от мрачного склепа отделился человек, шагнул навстречу. Вглядевшись, узнала Володю. Под тенью разлапистой ели — Ян.

Светил молодой месяц. Среди холмиков чернели покосившиеся кресты. Клавдия, оступившись, увязла в сугробе. Володя помог ей найти едва приметную стежку.

— Осторожно, — предупредил он. — Скоро обрыв.

В низине тускло мерцал лед Егошихи. Здесь все знакомо. В оврагах близ Егошихи Пермский комитет не раз проводил солдатские сходки. Охранять их поручали дружинникам.

Мрачной громадой надвигалась тюрьма. И овраг делался все страшнее и глубже. С этой глухой стороны Клавдия задумала подойти с дружиной.

— Не люблю кладбища. — Девушка зябко повела плечами. — Да еще зимой и ночью. — Показывая на овраг, спросила: — Как считаете, удобное место?

— Нет, не годится. Провалим дело, — возразил Суханек. — Может, попробуем с Вознесенской?

— Ну уж надумал, там всегда народу-у-у... А про караулку забыл?.. — Клавдия покачала головой, взглянула на Володю.

— Он верно говорит — сказал Урасов. — Пошли. Сама согласишься.

«ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ»

Поселок за Камой Клавдия обошла стороной. Последний поселок, затерянный на крутых холмах. В морозном воздухе слышался ленивый перебрех дворовых псов. Мерцали едва приметные огоньки домишек, задавленных снегом. Доносился стук колотушки ночного сторожа.

Черной стеной поднимался лес. Дикие места. Мрачные. В лесной тишине дрожали смутные шорохи. На Клавдию наваливались зубчатые тени елей, пугая и настораживая. Серебристая пыль висела в морозном воздухе, слепила глаза. Трещали деревья, хрустел под ногами снег.

Немалый путь прошла она в эту звездную, лунную ночь. Обычно ее к «лесным братьям» сопровождал Володя Урасов. Но

теперь пришлось идти одной. Шла и вздрагивала от неясных звуков и криков ночных птиц. Временами останавливалась; в синей мгле ей слышались осторожные шаги.

Наконец лес начал редеть. Вот и пустырь артиллерийского полигона. Оврагом пробралась на закованную льдом Гайву. И опять стеною встал лес. Теперь главное — не пропустить малинник. Только заметить его под снегом не так- то просто. Девушка круто поднялась на холм и принялась разыскивать тропку, запорошенную снегом, тропку, что ведет к землянке «лесных братьев». «Эх, если бы рядом был Володя!» — Клавдия вздохнула. А на Александра Ивановича больно смотреть — так изменился за эти дни. Клавдия встретила его на Вознесенской — шел с передачей к сыну в тюрьму.

Сразу же после ареста Володи в городском театре в дом на

Большую Ямскую, где жили Урасовы, нагрянула полиция. Нашли оружие. Составили протокол, а на ночь оставили засаду — троих полицейских. Один из них взял с этажерки коробку с папиросами. Папиросы? Откуда? Вот эти-то папиросы и озадачили Александра Ивановича. Он вопросительно посмотрел на Клавдию.

— Неужто Володька курит?.. Баловаться начал!.. Выкурили полицейские эти папироски и заснули... Едва разбудили, когда утром смена пришла.

И тут Клавдия сразу все поняла. Улыбнулась.

— Не волнуйтесь, Александр Иванович! Не курит Володя... Здесь хитрость одна.

Александр Иванович успокоился, приподнял ушанку и пошел к тюрьме. А Клавдия долго смотрела ему вслед. Папироски-то эти она приносила Володе, и были они особенными. В табак подмешивалось снотворное; она тайком доставала его в Александровской больнице.

Возьмет Володя пачку папирос и пойдет с боевиками ночью по глухим переулкам угощать постовых. Заведет вначале разговор, а потом уж и папироску предложит. Выкурит полицейский такую папироску и через полчаса заснет. А Володя, притаившись в стороне, ждет этой минуты. Тихонько, на цыпочках подойдет и острым ножом обрежет «смит-вессон». Оружия у боевиков мало...

Тяжело взмахнув крыльями, взлетела с ели сова. Хрустнула сухая ветка, и Клавдия заметила дрожащую тень, похожую на потревоженного медведя.

— Кто здесь? — не выдержала она, выхватив пистолет из кармана.

На залитую лунным светом поляну вышел человек в овчинном полушубке и больших валяных сапогах.

— Лбов! —воскликнула Клавдия и бросилась навстречу.

— Клавдичка! — радостно отозвался мужчина и крепко расцеловал девушку. — Почему одна по ночам расхаживаешь? Где Володька-то?

Клавдия опустила голову.

— Молчишь... Взяли Володьку?.. Да? — проговорил Лбов. — Может, что похуже? Говори же ради бога!

— Арестовали. В театре. Листовки разбрасывали...

— Н-да... Хороший парень... Вот сволочи... — И спохватился: — Замерзла небось, да и страху, поди, натерпелась... Идем, идем!

Землянка едва виднелась среди сугробов. Лбов обломил ветку, замел следы. Неторопливо открыл маленькую дверцу, пропустил девушку.

Внутри землянка оказалась просторной: грубо сколоченный

стол, длинная скамья. Горела оплывшая свеча в железной кружке. Вдоль бревенчатых стен тянулись нары.

Когда они вошли, из-под овчинных полушубков показались лохматые головы.

— А, Клавдичка! Клавдичка пришла!

Клавдия узнала голос Вани Питерского. Он присоединился к отряду недавно, после разгрома патронной мастерской на Охте, в Петербурге. Вот его и прозвали Питерским.

Огромные тени заходили по стенам, к столу стали подсаживаться «лесные братья». Все они были дружинниками и в декабрьские дни геройски сражались на баррикадах в Мотовилихе. А Лбов командовал боевиками на Висиме, когда солдаты и казаки шли на штурм. Баррикада на Висиме оказалась последней, которую заставили замолчать.

До восстания Лбов работал на мотовилихинском заводе, куда поступил сразу же, как только вернулся с военной службы.

— Отслужил царю, — приговаривал на баррикаде Лбов, целясь из маузера в карателей, — теперь и рабочему классу послужить надобно.

В декабрьские дни пермские власти объявили Лбова вне закона, за поимку обещали крупную награду. Но народ оберегал его.

После поражения революции Лбов не захотел сложить оружия, как не захотел и признать поражения. Укрылся в лесу. Вместе с ним укрылись боевики, за которыми числились убийства царских чиновников и жандармов. Так возникли в лесах близ Перми «лесные братья», объявленные государственными преступниками; все они подлежали смертной казни в случае поимки.

Но «лесные братья» не прекратили борьбы. Баррикада передвинулась в лес. Совсем недавно к «лесным братьям» присоединились питерские боевики. Отряд разросся, окреп.

Пермский комитет собирал деньги среди рабочих, помогал «лесным братьям». Клавдия держала связь между «лесными братьями» и комитетом.

— Как живы-здоровы, товарищи? — радуясь встрече, спросила девушка.

Лбов грузно опустился на скамью. Рослый и широкоплечий, он невольно сутулился за низким столом. Иссиня-черные волосы лежали крупными волнами на плечах, жгучая черная борода делала его похожим на Пугачева. «Могутный человек, право же, — подумала Клавдия, глядя на него. — Могутный!»

— Жалко Володьку... Помню, как-то мы пригласили его на явку в Старую Слободку, начали требовать динамит и винтовки.

Знали, что у него в тайнике хранятся. — Лбов погладил пышную бороду. — Посмотрел я на него — паренек безусый. А паренек-то динамит не отдал... «Без решения комитета не могу!» Всего лишь и сказал. Как отрезал. И баста! Я его еще тогда похвалил: «Молодец, парень, дисциплинку чувствуешь...» Эх, Володька... — Лбов грохнул по столу кулаком. — Как я ненавижу этих сатрапов!

Клавдия достала пакет, заколотый английской булавкой.

— Вот деньги от комитета. Держи, Александр Михайлович. Это вам Богомаз передал вместе с приветом. А это гостинцы, — Клавдия отвела глаза: гостинцы-то были от нее. — Здесь сушки, домашнее печенье... А теперь получайте письма.

Лбов зажег еще одну свечу, поставил в железную кружку. Землянка сразу сделалась больше и просторнее. Письма расхватали мгновенно.

— Ну, Клавдичка, выкладывай новости. Да смотри, чтобы хорошие, — сказал Лбов, заметно повеселевший после весточки из дому.

Клавдия улыбнулась. Знала, как жадно ждут «лесные братья» рассказов о городе, о делах в комитете, как стосковались они о близких, как дорого им каждое слово.

— Хороших мало... Виделась с Михалычем воскресным днем. Похудел... В Николаевские роты его перевели...

Все хорошо знали Свердлова: не раз приходили из чащобы в Мотовилиху послушать Михалыча. В землянке стало тихо. Лбов гневно тряхнул черной гривой.

— Почему не отбили? — в упор глядя на Клавдию, сурово спросил он, и лицо его передернулось.

— Не отбили... Суда еще не было, серьезных улик пока нет... А неудачным побегом можно дело испортить...

— Бежать ему надо... Бежать! А мы поможем, — настойчиво продолжал Лбов. — Михалыч смелый, а для побега главное — смелость... Все эти фараоны дрожат, когда видят настоящего человека... Помню, как-то зашли мы с товарищем в Мотовилиху. Вечерело. Идем по улице, а товарищу моему страсть как курить захотелось. Кинулся он в карман — спичек нет. Огляделся — на посту полицейский. Подошел и спросил: «Дай прикурить!..» А у того аж руки задрожали. Узнал, сволочь! — довольно басил Лбов, морща высокий лоб.— Ну, закурил дружок, и мы пошли вразвалочку. Знаю, стрелять не станет. Рука не поднимется...

— Обожди, Александр Михайлович, — перебила его Клавдия. — Дело есть серьезное... Троим нашим товарищам смертная казнь грозит. Михалыч поручил организовать побег... Но почти все дружинники в городе арестованы. Вот и наш Володя... Плохо, что при обыске оружие нашли... Я тут вам листовку принесла — ее-то

и распространяли в театре. — И Клавдия положила на стол папиросный листок.

— За что же товарищей пеньковая веревка ждет? — прервал ее Стольников, натягивая на плечо полушубок.

Стольникова Клавдия уважала. Был он правой рукой Лбова, его другом и советчиком. Лбов любил его, как брата, за отвагу и щедрое сердце. Она посмотрела в широко раскрытые голубые глаза Стольникова и начала самую трудную часть разговора:

— Трофимов с товарищами шел на экспроприацию. Для партии потребовались деньги. Только неудачно: кто-то предупредил охранку, и вся группа напоролась на засаду. Завязалась перестрелка... Товарищей арестовали. Теперь их ждет военный суд, наверняка присудят к виселице. — Клавдия придвинулась к Стольникову: — Времени у нас в обрез. Смертники сидят в башне. Окно камеры выходит в Анастасьевский сад. Для побега все готово. Установили связь с солдатом караульной службы... Но без вашей помощи не обойтись... — И, прижав руки к груди, горячо добавила: — Дело трудное. Знаем, показываться вам в городе опасно... Мы поначалу думали обойтись дружинниками... Но трудно. Товарищей при побеге нужно прикрыть.

Лбов молчал. Казалось, он хотел послушать, что скажут друзья. Клавдия посмотрела на него. Лбов, потупившись, обхватил руками горячую кружку.

— В комитете мне сказали так: дело для «лесных братьев» рискованное. Пускай решают сами.

— Помозговать следует... — Лбов пил большими глотками горячий чай, похрустывая сушками.

— А чего тут думать? Надо идти! Не можем мы, как лешие, в глухомани сидеть, — горячо бросил Ваня Питерский. — Надо, а вернее, обязаны...

Тикали карманные часы, лежавшие на столе. Над кружками поднимался пар. Плыли клубы махорочного дыма.

— А в общем вперед — мое любимое правило. Вперед, как учил Суворов, — могучим басом пророкотал Лбов и вновь стукнул тяжелым кулаком по столу. — Давай, красавица, выкладывай. «Лесные братья» не оставят товарищей в беде. Пойдем на штурм пермской бастилии!..

— Спасибо, товарищи! Я так и думала... Только тебе, Александр Михайлович, лучше в лесу остаться, — осторожно заметила Клавдия.

— Конечно, Александра не возьмем, — подтвердил Стольников. — Его каждый встречный узнает. Зачем судьбу испытывать?!

— Живем вместе и умрем вместе. Лбов — не двух лет по третьему. Выкладывай, Клавдичка. — И он обнял Стольникова.

Клавдия разложила на столе план тюрьмы и Вознесенской улицы. Жирным крестом пометила караульное помещение, обвела кружочком башню.

— Побег назначен на вторник. Всего два дня. У Сибирского тракта буду ждать вас в семь вечера. Передам бомбы... А уж остальное на месте. Только порядок и дисциплина, товарищи. — Девушка помолчала и добавила: — Ну, давайте письма, я потопаю...

ТРЕТЬЕ ОКНО ОТ УГЛА

Розвальни остановились. Клавдия, закутанная в белый пуховый платок, вскочила в них. Лошади рванули и понеслись. Снег больно ударил в лицо. Девушка сжимала в руках кошелку с бомбами. Лбов нахлестывал лошадей.

Мелькали верстовые столбы Сибирского тракта. Позади осталась застава с двуглавым орлом. Проскочили деревянный мост и оказались на Разгуляе. Лбов, чуть привстав, лихо размахивал кнутом и покрикивал на низкорослых крестьянских лошадей.

У низины, после Разгуляя, лошади замедлили бег. Девушка оставила кошелку с опасным грузом, выпрыгнула из розвальней и показала Лбову на глухой, заснеженный проулок.

— Лошадей привяжи там. Сами к тюрьме. Рассыпаться в садике напротив караулки и ждать меня. Да, телефон не забудьте обрезать. — Она махнула рукой и тотчас исчезла в воротах проходного двора.

Поодиночке, спрятав оружие под овчинные полушубки, скрывались в темноте «лесные братья».

Проходными дворами Клавдия вышла на Вознесенскую улицу. Впереди тускло горели огни — тюремные огни. На углу Вознесенской и Анастасьевского садика возвышался деревянный дом чиновника Черногорова.

Клавдия поднялась по лестнице, тихонько постучалась.

За дверью послышались торопливые шаги. Худощавая девушка с приветливым лицом крепко обняла Клавдию.

— А я уж беспокоилась, — сказала Антонина, — думала, не случилось ли недоброе. — И прошептала: — Ой, боюсь за тебя...

Клавдия, отстранившись, торопливо проскользнула в комнату. Под низким абажуром на столе стоял нехитрый ужин со

стаканом горячего чая. Комната угловая, и широкое венецианское окно выходило на Вознесенскую улицу. Окно это приходилось напротив башни пермской губернской тюрьмы.

В квартире Соколовых, которые снимали ее в доме Черногорова, Клавдия появилась не случайно. Отсюда она установила связь с заключенными, придумав систему трех абажуров — желтого, красного и зеленого. Зеленый абажур служил сигналом побега. И вот долгожданный час настал. Клавдия едва сдерживала волнение.

— Клавдичка, я ужин собрала. Садись, садись, — хлопотала Тоня.

— Спасибо. Времени нет.

— Чаю, хоть чаю выпей...

Настенные часы пробили половину восьмого. Девушка погасила лампу. И сразу же в чернеющей темноте замерцало оконце башни. Клавдия порывисто сняла абажур с лампы. Тоня, вопросительно взглянув, подала ей другой — зеленый. Клавдия кивнула: да, сегодня, как условлено, зеленый... И она широко отдернула тюлевую занавеску. Прижалась лицом к холодному стеклу. Темь, непроглядная темь... И там вдалеке — едва приметное оконце тюремной камеры.

Лампа стояла на подоконнике, освещая Клавдию снизу широкой зеленоватой полосою — ее напряженное лицо, ее плотно сжатые губы.

Тоня, крепко обняв подругу, смотрела в зимнюю темь: там, в одной из одиночек башни, сидел ее жених... Но вот в камере заколебался свет, призрачный, неживой, моргнул и погас: сигнал принят.

Клавдия перевела дыхание.

— Спасибо, Тонечка. Прощай!..

— Помни, я одна дома... — быстро проговорила Антонина. — Может, понадоблюсь... Жду тебя...

— Спасибо. Дверь пока не закрывай... Мало ли что может произойти. — Клавдия поцеловала подругу и выбежала из комнаты.

Над городом висела густая вечерняя мгла. Кругом тихо, безлюдно. Впереди мрачно чернела тюрьма. Клавдия свернула с тропинки Анастасьевского сада в узкий проход между сугробами, раздвинула ветви, увидела Ваню Питерского. В руках у него веревочная лестница.

За кустами и сугробами залегли вооруженные «лесные братья». Клавдия выпростала из кармана шубейки браунинг, всмотрелась в одинокую фигуру: часовой прохаживался у тюремной стены.

Послышалась резкая отрывистая команда: происходила смена караула. У тюремной стены, освещенной блеклым фонарем, занял свой пост Ян Суханек.

Ожиданием жили в этот вечер не только «лесные братья» и Клавдия Кирсанова. Ожиданием жили и узники башни.

Беспокойство началось с того дня, когда через волчок в шестую одиночку на каменный пол упала записка. Трофимов, громыхнув кандалами, поднял ее и молча кивнул Глухих. Тот, подтянув кандальный ремень, чтобы меньше слышался звон, двинулся к волчку, заглянул в узкий тюремный коридор. Потом повернулся спиной и закрыл волчок затылком.

Трофимов раскрыл записку. Почерк, похожий на вязанье, — женский почерк. Он придвинулся к керосиновой лампе, висевшей над столом. Откашлялся.

«Дорогие товарищи! Сердцем всегда с вами. Любим и гордимся. Примерно через неделю будем встречать в Анастасьевском садике. Сигналом послужит зеленый свет в третьем окне от угла в доме чиновника Черногорова на Вознесенской. Ждите после семи. Готовим лестницу и железные крюки. Действуйте решительно и помните побег Баумана. До встречи, друзья, на воле! Наташа».

— «Наташа»! — повторил Трофимов. — Это кличка Клавдии Кирсановой. Значит, она готовит побег...

С этого дня и началось ожидание. С этого дня и воскресла надежда. Вскоре в волчок упал план башни и путь побега. Нужно спуститься вниз по железной лестнице. Направо входная дверь, которая и приведет к тюремной стене...

День побега приближался. Трофимов с блестящими глазами ходил хмельным от счастья. Говорил он мало, только удивленно встряхивал крупной головой и пожимал плечами. Даже Меньшиков, осторожный и самый старший среди них, все чаще мечтал о доме. Воля, жизнь, друзья!

Одно лишь их беспокоило и мучило: как уйти без товарищей?!

Здесь, в башне, в каждой камере замурован друг. Уйти и не помочь товарищам — невозможно! И Трофимов разработал свой встречный план.

Меньшиков и Глухих одобрили его.

Февральским днем в камеру принесли заснеженный туесок. Трофимов сразу начал его прощупывать. Глухих по обыкновению закрыл волчок затылком.

— Ура! — Трофимов вынул из берестяной коры две гибкие

стальные пилки. Вскинул их на ладони и с чувством добавил: — Великое дело — рабочая солидарность!

— Запомним день десятого февраля, — в волнении сказал Меньшиков.

Глухих не удержался и заплакал. Трофимов молча положил руку на плечо друга. Потом подошел к Меньшикову, сел на табурет, прикованный цепью к стене, и начал распиливать кандалы. Глухих стоял у волчка. День выдался удачный. В тюрьме дежурил дядька Буркин, старый и добродушный надзиратель. Он попусту не придирался к узникам, и при нем дышалось легче.

Тихо повизгивала стальная пилка, острая и мелкозубчатая. Она быстро согревалась, оставляя едва видимый след на кандалах. Взмах, еще взмах, и с худых синеватых рук Меньшикова упали кандальные цепи, звякнув о каменный пол. Тот почувствовал непривычную легкость и стал растирать разбухший красный рубец. Глаза его озорно сверкнули.

Глухих знаком подозвал Трофимова к волчку. Нетерпеливо отобрал у него стальную пилку, присел у табурета на пол и начал распиливать ножные кандалы. Башенные часы отбили шестой удар, арестованные закончили работу.

Густые сумерки вползали через решетчатое оконце. Темнело. Арестанты поспешно улеглись на нары, ожидая, когда дежурный из уголовных зажжет керосиновую лампу. Натянули серые одеяла, изъеденные молью, под самый подбородок, испытывая непривычную легкость.

У двери остановился надзиратель. Медленно опускалась по блоку закопченная керосиновая лампа. Щелкнул замок, и дверь распахнулась. Уголовный Мухин, с угрюмым и неприветливым лицом, снял стекло, зажег фитиль. Он пониже пристроил лампу над квадратным столом и, недоуменно взглянув на спящих «смертников», вышел. Вновь резко щелкнул замок. В волчке показался расширенный глаз надзирателя Буркина. Послышались шаги, заскрипела дверь соседней камеры.

Трофимов отбросил одеяло, спрыгнул с койки.

— Давай, браток, к волчку. — Он кивнул Глухих и, когда тот закрыл волчок, повернулся к Меньшикову: — Топай, родимый, к окну... Нужно проверочку сделать...

И хотя все понимали, что проверочку делать рано, что до назначенного срока еще более часа, Меньшиков стал под окном, Трофимов ловко влез ему на плечи и ухватился руками за решетку. Прошли томительные минуты ожидания. Наконец он повернулся к товарищам и отрицательно покачал головой.

— Да рано же, черт возьми! — Трофимов спрыгнул на пол, виновато посматривая на друзей. — Еще кипяток не разносили.

— Конечно, рано, — добродушно посмеиваясь в пушистые усы, подтвердил Меньшиков и быстро приказал: — Ложись!

В коридоре опять послышались гулкие шаги. Началась раздача ужина.

С глухим скрежетом башенные часы пробили семь. Жизнь в тюрьме затихла. Теперь у заключенных остался один час.

В шестую одиночку вместе с сумерками заползла тревога. Ровно в восемь надзиратель обычно сдавал ключи от одиночек в контору, и тогда побег невозможен. Успеют ли товарищи на воле? Кто будет стоять на часах у башни? Свой ли человек?..

Первым не выдержал Трофимов. Он поднялся с койки и начал холщовым полотенцем тщательно протирать стекло. Подкрутив фитиль на лампе, Трофимов вновь вскарабкался на плечи Меньшикова. Крепкими руками ухватился за чугунную решетку. Глаза неотступно следили за третьим окном от угла. Временами его сменял Глухих. А Трофимов отдыхал, закрывая волчок.

Хрипло и устало часы отбили еще удар. «Значит, семь часов тридцать минут». И в это время его подозвал Глухих. Они поменялись местами. Стараясь не шуметь, Трофимов еще раз вскарабкался на плечи Меньшикова, прильнул к окну.

Из темноты в зеленом свете абажура выплывало девичье лицо. Лампа ярко освещала Клавдию.

Трофимов не мог оторваться от окна. Вместе с Клавдией в одиночку заглянула жизнь, торжествующая, молодая. Наконец он опустился на пол. Счастливо улыбаясь, вытер вспотевшее лицо, обнял Меньшикова.

— Начнем! Путь свободен. Клавдичка подала сигнал...

Желтый свет керосиновой лампы разливался по одиночке. В настороженной тишине Трофимов снял горячее стекло с лампы и раздавил его. Послышался звон, и на каменный пол, сверкнув в темноте, полетели осколки. Трофимов заспешил к волчку.

— Эй, дядька Буркин... Дядька Буркин! — хрипловато закричал он. — Стекло на лампе лопнуло.

В волчке появился встревоженный глаз. Темнота в камере, густая в дрожащем свете фитиля, озадачила его.

— Подожди... Сейчас принесу... Эка незадача! — И надзиратель, громыхая связкой ключей, заторопился в ламповую, расположенную тут же, в башне.

Трофимов и Глухих заняли свои места. Тяжело вздохнув, медленно отворилась железная дверь.

— Арестованные накинулись на надзирателя, схватили, зажали ему рот, потащили к железной койке. Боролись ожесточенно и зло. Наконец Буркина плотно связали холщовыми полотенцами и заткнули рот кляпом.

— Лежи, дядька... Не хотелось в твое дежурство... Но пришлось, — тихо бросил Трофимов, отбирая у надзирателя наган и связку с ключами.

Гулко стучали по тюремному коридору деревянные коты Трофимова. Он взглянул на Глухих и повернул не к выходу из башни, как предусматривалось планом, а к одиночкам.

На железных дверях одиночек мерцали белые номера, Глухих уверенно шел за ним. Витая лестница с входной дверью осталась позади.

Неумело орудуя ключами, Трофимов начал подбирать их к пятой одиночке. Массивные стальные ключи плохо слушались. Трофимов перебирал их в руках, пытаясь разглядеть номер. Но номеров не значилось. Ключи, словно близнецы, лежали на широкой ладони. Сердито выругавшись, Трофимов стал действовать наугад. Открыть одиночки оказалось делом нелегким. Ключи не подходили к замкам. Приходилось вновь и вновь менять их. Каждый замок имел свой секрет. И эти секреты должен был разгадать Трофимов.

В башне находилось одиннадцать одиночек на двух этажах, соединенных витой лестницей. И эти одиннадцать одиночек нужно открыть Трофимову, иначе он не мог уйти из башни. Не мог...

Наконец распахнулась первая тюремная дверь.

— Свобода! Выходи, братва! — крикнул Трофимов и двинулся дальше.

Глухих обнял товарищей и начал распиливать кандалы.

В башне нарастал шум. Раздавались громкие голоса. Скрипели двери. Звенели кандалы. Во всех камерах у волчков стояли заключенные, торопили Трофимова.

Пока Глухих распиливал кандалы, а Меньшиков дежурил около надзирателя, Трофимов пытался открыть седьмую одиночку. Ключ легко вошел в скважину, но замок зажал его и не выпускал. Трофимов нервничал, тряс дверь, а замок цепко держал ключ.

Вдруг распахнулась дверь ламповой. Уголовный Мухин, случайно задержавшийся в этот вечер, испуганно всплеснул короткими руками и сипло пробормотал:

— Караул! Спасите!

Трофимов резко повернулся и поднял наган.

— Не стреляй, кормилец. Не стреляй... Вот те крест — не выдам! — И Мухин начал мелко креститься.

— Черт с тобой! — в сердцах бросил Трофимов. — Сиди здесь, пока не уйдем, — и опять завозился с ключами.

И сразу же по витой лестнице раздался дробный стук

деревянных котов. Мухин, воровато озираясь, бежал к дежурному по тюрьме. Трофимов выстрелил, Мухин ахнул, присел и... вновь побежал.

Выстрел гулко разнесся под тюремными сводами. Зазвенел пронзительно звонок, и по железным ступеням лестницы тяжело загромыхали сапоги надзирателей.

— Тревога! — крикнул Трофимов. — Уходи, Глухих, в камеру.

Трофимов опустился на одно колено и, как в дни баррикад, прицелился в надзирателя, рыжая голова которого появилась в лестничной клетке. Глухих быстро подскочил к нему. В коридоре поднялась ружейная стрельба, сизый пороховой дым заплясал под низкими сводами. Пуля пробила Трофимову плечо. Правая рука повисла. Трофимов упал. Глухих прикрыл собою друга, долго отбрасывал надзирателей, пытавшихся захватить Трофимова. Но вот он покачнулся и медленно осёл на залитый кровью пол.

Тупым кованым сапогом рыжий надзиратель ударил Трофимова. Тот открыл глаза, мутно посмотрел по сторонам. Услышал стоны Глухих и, собрав последние силы, втащил его в камеру, захлопнув дверь.

Волчок осветился ярким пламенем. Это начальник тюрьмы Гумберт выстрелил из браунинга. Надзиратели, тяжело дыша, ввалились в камеру. Первым к Трофимову подскочил Гумберт.

— Ты, сволочь, стрелял?

Дуло нагана плясало перед глазами Трофимова. Потом рукоятка резко опустилась на его голову.

— Отвечать отказываемся... Показаний не даем, — прохрипел Трофимов.

— Дашь, сволочь... Дашь, дашь, дашь! — истерически кричал Гумберт. — Заставим!..

Началась расправа. Заключенных били прикладами, кололи штыками.

...Все так же неторопливо вышагивает часовой. Клавдия не отрывает глаз от кирпичной тюремной стены: ждет товарищей. Ваня Питерский наготове держит веревочную лестницу, железные крюки.

— Что-то долго, Клавдичка, — басит Лбов, сверкая темными глазами под густыми, серебряными от инея бровями.

— Ждать всегда долго, — отвечает Клавдия, чувствуя, как ее трясет озноб.

Но тут с треском распахнулась дверь караульного помещения, оттуда высыпали солдаты.

— Готовьсь! Не подпускать солдат к башне! — крикнул Лбов.

Пригибаясь, Лбов перебежал к тюрьме. Стольников полз следом, не теряя его из виду. Клавдия вновь с надеждой посмотрела на высокую тюремную стену. Желтоватая полоса от фонаря освещала Яна Суханека.

И вдруг солдат вскинул винтовку, троекратно выстрелил в воздух.

«Что случилось?»

Сердце у Клавдии сжалось. Ян предупреждал об опасности.

Троекратно прозвучал выстрел. Клавдии показалось, что Ян замахал рукой и что-то крикнул.

С низины шеренгой двигались надзиратели. Винтовки они держали наперевес. Клавдия поднялась.

— Отходить... отходить...

Лбов одним ударом сшиб ее с ног. И тотчас над Клавдией засвистели пули.

— Прочь, девка, — приказал Лбов. — Ползи, говорят тебе! Я их бомбой осажу! Стольников! Куда прешь на рожон? Назад!

Из караулки ответили залпом. Клавдия заскользила к темному проулку. Ваня Питерский с колена бил по черной шеренге. Бил спокойно, деловито.

Вновь всплеск огня разрядил ночь: Клавдия увидела Лбова, сильного и яростного. Пули жужжали над его головой.

— Отходим, Александр Михайлович... Отходим! — вновь кинулась Клавдия к Лбову.

Лбов, без ушанки, с почерневшим лицом, схватил ее за плечо и круто повернул от тюрьмы. Еще раз оглянулся на стену около башни.

Клавдия с отчаянием посмотрела на Лбова: провал... Опять провал... Лбов втолкнул ее в синеющую подворотню у дома Черногорова. Обнял за плечи.

— Прощай! Нам пора уходить... Может быть, махнешь с нами, Клавдичка? — с надеждой спросил он. — Пропадешь здесь...

— Спасибо, Александр Михайлович! Без комитета не могу. Уходи скорее...

— Негоже бегать мне, как зайцу! Много чести фараонам.

Выстрелы звучали все ближе. Солдаты караульного взвода прочищали тюремный садик. Лицо Лбова было страшно. Он поднял огромный кулак и погрозил тюрьме. Распахнул дверь, толкнул девушку в парадный подъезд и бесшумно исчез.

В подъезде Клавдия встретила Антонину Соколову, бледную, встревоженную.

— Все пропало! — хрипло сказала Клавдия, шатаясь от усталости и волнения.

Ветер клонил ветви деревьев до земли, кровавым шаром сверкало солнце.

Клавдия обкладывала зелеными ветками свежую могилу Вани Питерского. Могила возвышалась на бугре под разлапистой елью. Погиб он недавно в глухую ночь. Погиб от солдатской пули, попав в засаду. И не стало бесстрашного боевика Вани Питерского...

Хоронили Ваню ночью. Плакала вьюга. Пудовым, обжигающим руки ломом долбили мерзлую землю. Ваня лежал на сером брезенте. На лице застыла тихая улыбка. Чернела ранка от пули на гладком лбу. Незрячие глаза смотрели в высокое небо, под которым так мало пришлось ему пожить. Долго и безмолвно стояли «лесные братья». Низко склонил голову Лбов, роняя скупые слезы. Бросил первую горсть земли.

С того дня и зачастила Клавдия на старое кладбище.

Клавдия оглянулась на тюрьму, отделенную рвом от кладбища. Вздохнула. И показалось ей, что из решетчатых окон смотрят на могилу Вани Питерского друзья... Смотрят и скорбят вместе с нею... Поклонившись до земли, Клавдия медленно побрела по узкой тропке.

Еще одна свежая могила привлекла ее внимание. Тяжелый металлический крест отбрасывал тень, похожую на виселицу. На кресте громоздился пышный венок с траурными бантами. Клавдия расправила широкую шелковую ленту, прочла: «За спасение тюремной администрации».

Большой осиновый кол был вбит рядом с крестом. Сверху на зачищенной коре жирно чернело: «Иуда!»

Тюрьма гудела, как шмелиный рой, когда Трофимова с товарищами, оглушенными и избитыми, уносили в тюремную больницу. Спас их от смерти дядька Буркин, которому удалось привести в башню тюремного врача. Молодой врач схватил за руку Гумберта и потребовал прекратить избиение. Лицо его покрылось красными пятнами, голос звенел от возмущения. И Гумберт сдался. Врач вызвал санитаров и не разрешил надзирателям нести носилки, опасаясь, что они добьют заключенных. Скорбным было это шествие. Слабо стонал Трофимов. С помертвевшим лицом лежал Меньшиков, что-то силясь произнести обезображенным ртом. Кричал Глухих с куском шашки в бритой голове.

И все же Трофимов нашел силы утром переслать политическим записку на вощеном пакетике от порошка. Принесли ее в корпус санитары. «Нас предал Мухин. (Мы избиты до полусмерти.) Прощайте, товарищи. Трофимов».

Дрожали от ударов двери, звенели стекла, с треском падали

койки... Политические начали обструкцию.

Записку Трофимова переслали уголовным. Уголовные вынесли Мухину смертный приговор. Перепуганный, он решил отсидеться в канцелярии. Только и там разыскал его повар — арестант Березин. Тяжелой походкой подошел к Мухину. В руках огромный кухонный нож. Презрительно бросил: «Сдохни, сволочь!»

Начальство устроило Мухину пышные похороны. На панихиду в тюремную церковь сгоняли силой. Вели себя арестанты непочтительно: смеялись, переговаривались. Никто не жалел предателя-иуду...

Клавдия шла и думала: две жизни, две смерти.

На фамильном склепе купцов Грибушиных возвышался мраморный ангел с крестом. Маленький невзрачный человек с глазами-буравчиками притаился у холодного камня. Пристально взглянул человек на Клавдию, но она не обратила на него внимания. Прошла, опустив голову.

ДЕМОН

Клавдия подходила к желтому двухэтажному дому на Оханской улице. Здесь снимал квартиру купеческий сын Вениамин Кутузов.

Тяжелым оказался март 1907 года. Неудавшийся побег, друзья — одни в тюрьме, других и вовсе нет в живых. Пермь на «чрезвычайном» положении, боевиков судят военным судом. Новое горе легло на плечи: убили Ваню Питерского, а вскоре ранили Демона из отряда Лбова. Рана начала гноиться. Клавдия боялась гангрены. Правда, удалось привезти городского врача, но положение оставалось критическим. Перевязки делала она. Приходила вечером с желтым кожаным саквояжем.

Раненый Демон приютился на квартире купеческого сына Кутузова. Обросший, худой, он лежал на широкой кровати, морщился и тихо постанывал, когда Клавдия снимала окровавленные присохшие бинты. Бережно она обрабатывала рану, накладывала свежую повязку. А выхаживала раненого Евдокия Чечулина, тихая, добрая и отважная женщина.

— Плохо он ест, Клавдичка, — жаловалась Евдокия. — Кормлю с ложечки, как ребенка. Хорошо хоть, спать стал... Аж вечор испугалась — спит и спит. Потом думаю: а ведь сон-то — лучшее лекарство.

Демон улыбнулся в усы:

— Она мне спать не дает. Ешь да ешь... Одним держу — сбегу в лес к Лбову...

Все трое рассмеялись.

И вдруг кто-то дернул ручной звонок. Девушка, подхватив раненого, вопросительно посмотрела на Евдокию. Та растерянно развела руками: в этот час никого не ждали. Демон вынул из-под подушки револьвер, попытался сесть, но не смог и упал на руки Клавдии.

В дверь барабанили. Клавдия, опустив раненого на подушку, скользнула к окну. Напротив дома стояли околоточный, дворник и еще какой-то субъект. Звонок захлебнулся, смолк. Послышался окрик:

— Отворяй! Полиция!

Евдокия тоскливо взглянула на Клавдию. Та выпрямилась, скрестила на груди руки.

— Пусть ломают. А ты, Евдокия, не трудись... Нам полиция ни к чему... Это они без нас обойтись не могут. — И Клавдия ободряюще подмигнула Чечулиной. — Мы чисты, как голубки... — И вдруг прикусила губу, спросила Демона: — А вы тут никакой нелегальщины не развели?

— Как не быть? — вздохнул Демон.

Евдокия отобрала тонкие листы прокламаций, поднесла спичку, бумага как бы нехотя загорелась. В дверь бешено барабанили.

— Давай револьвер, товарищ, — твердо сказала Клавдия. — Весь дом обложили. Стрелять бесполезно.

Демон, поколебавшись, отдал револьвер, Клавдия швырнула его в помойное ведро.

— Клавдичка, запомни, — проговорил Демон, — зовут меня Илларионом Парашенковым... Из крестьян Вятской губернии. Может, когда...

Дверь затрещала и грохнулась. С минуту было тихо. Но вот что-то зашуршало, заскреблось об пол, и в комнату медленно вполз щит из толстых досок.

— Бросай оружие! — грозно прокричал хриплый голос. Клавдия не могла удержаться от смеха. Вот так штука, черт побери! Такой арест в Перми — новшество.

— Бросай щит! — насмешливо ответила Клавдия. — Какое у нас оружие? Отродясь в глаза не видели!

Щит отодвинулся, показалась сконфуженная физиономия жандарма. Комната наполнилась полицейскими. Ротмистр Самойленко казался обескураженным при виде столь мирной группы.

Играя пенсне, строго объявил:

— Все вы арестованы. Да-с, — пробормотал он. — Кирсанова... Чечулина...

Громыхая сапогами, полицейские кинулись к Демону, оттолкнули женщин, сдернули ватное одеяло. Клавдия вспыхнула:

— Перед вами тяжелораненый. И я, как фельдшер, протестую...

— Полноте, госпожа Кирсанова, — пренебрежительно заметил ротмистр, — боюсь, фельдшером вам не суждено стать, как не удалось и гимназию закончить.

Самойленко доставал с этажерки книги, перелистывал их, швырял в сторону. Одна из книг в кожаном переплете его заинтересовала. Острым ножом ротмистр надрезал корешок, извлек записку. Надел пенсне, прочитал: «Горжусь мужеством

героев, которые отдают жизнь за народ. Счастлива, что иду одной дорогой с героями. Безумству храбрых поем мы песню...»

Клавдия, покосившись на Самойленко, узнала свою записку к Демону. Но теперь не до улик. Она оттолкнула полицейского, помогла раненому одеться. Евдокия подала ему шинель. Полицейские, никчемно суетясь, мешали им, пытались оттащить от Демона.

— Евдокия, — командовала Клавдия, — запоминай номера: этот второй, а этот пятый...

Полицейские испуганно стянули шапки с номерами, пихнули за пазуху.

— Вот так-то лучше, — насмешничала Клавдия. — Революция научит вас вежливости.

Ротмистр побелел.

— Вы за это ответите, госпожа Кирсанова.

— И вы ответите, — отпарировала Клавдия.

Самойленко, кисло улыбнувшись, приказал:

— Увести!

СИБИРЯК

Поезд набирал скорость. Иркутск остался позади. Клавдия облегченно вздохнула. «Как хорошо — одна в купе! Отосплюсь... Спасибо товарищам — устроили по-царски».

Девушка не сразу узнала себя в зеркале: бледная, круги под глазами, складки у рта.

Наше поколенье юности не знает,
Юность стала сказкой миновавших лет;
Рано в наши годы дума отравляет
Первых сил размах и первых чувств расцвет... —

грустно проговорила она, поставила саквояж на плюшевый диванчик, неторопливо сняла жакет с бархатным воротничком. Отколола атласную шляпку-пирожок. Провела рукой по каштановым волосам и поправила тяжелый узел.

Клавдия села ближе к окну, откинулась на спинку диванчика. Проносились телеграфные столбы, красноватые будки стрелочников, заводские остроконечные корпуса. Синело небо над могучими кедрами.

В купе было уютно, и Клавдия отдалась ощущению покоя, подчинилась размеренному перестуку колес и плавному покачиванию вагона. Взгляд ее стал задумчив, печален. И воспоминания нахлынули на нее...

...В ссылке, куда она попала после крепости, пришлось нелегко. Народ неприветливый, кругом непроходимая тайга, никто тебя не стережет, рождается иллюзия свободы, а живого дела нет. Выдержала лишь месяц такой жизни.

Ну вот... вот она и сбежала из этой проклятой ссылки. Сколько она там торчала, в этом Балаганском уезде? Нынче октябрь, октябрь девятьсот восьмого, а приговор вынесли весной прошлого года. До Иркутска добиралась на крестьянских лошаденках. Тайга уж пылала осенними красками. А беглянка думала, где найдет она приют, где достать деньги и хоть какую-то одежонку поприличнее. После долгих мытарств разыскала в Иркутске явку.

Хозяйка, молоденькая курсисточка, обещала связать ее с организацией ссыльных. Пришлось несколько дней сиднем сидеть и крошечной горенке. Изредка заглядывала к ней опрятная старушка, вдова бедного чиновника, и уводила на свою половину. Старушка чем-то напоминала Клавдии ее мать.

Красный угол в горенке занимал большой киот с витыми венчальными свечами. Свечи старушка берегла на счастье. Только счастье обходило стороной этот маленький дом...

Старушка не досаждала расспросами, а сама рассказывала, как мужа схоронила, как сын умер. Как-то под вечер, когда снег на дворе лежал багровый, привела племянницу, невысокую, ладную девушку, и та застенчиво предложила Клавдии паспорт. Клавдия задохнулась от счастья. Настоящий паспорт, «железка», как говорили в подполье. Да с таким-то паспортом сам Столыпин не страшен!

Потом обрядили Клавдию в синий жакет, дали ей шляпу, ботинки. А потом и плетеную корзину. Девушка сложила в нее старенькую шубейку, и сразу появился багаж. Теперь можно думать о России...

Поезд стучал, уносил ее все дальше и дальше от Иркутска. Придется остановиться в Екатеринбурге, чтобы замести следы. А там — в Москву, к друзьям...

За окном кружился мертвый лист. Бродили осенние тени. Могучие кедры, как родные братья, один к одному. Клавдия прикрыла глаза.

...Судили ее по процессу «двадцати двух», судили вместе с питерцами. Тогда по процессу из питерцев проходили боевики: Сибиряк, Учитель, Ястреб, Гром, Демон...

Военный суд судил их за «принадлежность к преступному сообществу, составившемуся для насильственного ниспровержения установленного основными законами образа правления...». Здание окружного суда оцепили солдаты. Как-то среди них Клавдия разглядела Яна Суханека. Она готова была поклясться, что заметила в глазах его слезы.

Сибиряка приводили закованного, под усиленным конвоем. Боялись этого богатыря! Твердо шагал он, окруженный солдатами. Бряцали ружья, поблескивали штыки. А Сибиряк лишь пренебрежительно оглядывался по сторонам. На процессе Клавдия узнала его фамилию: Савельев. Дмитрий Петрович Савельев. В Пермь прибыл тайком из Петербурга. Держали его в «полуротках», страшной военной тюрьме за Сибирским трактом. Около «полуроток» чернело крестами старое солдатское кладбище. В «полуротки» помещали смертников. Там же и вешали их.

Под каменными сводами прокурор читал обвинительное заключение. Был он, прокурор этот, невысок, сутуловат. Читал монотонно. Когда дошел до хранения в доме Чечулиных «бомб, начиненных гремучим студнем», голос его осекся. Сибиряк с видимым удовольствием слушал перечисление своих «преступлений», щурился, улыбался, поддакивал. Знал, что его ждет смертная казнь, но а к комедии суда относился хладнокровно. Клавдию привозили на суд из губернской тюрьмы. Она сидела в башне, в той самой башне, из которой пыталась организовать побег товарищей. Стоял апрель, бездонное голубое небо. Природа готовилась к цветению, а здесь, в здании суда, свершалось убийство.

И однажды солдат, подталкивая Сибиряка штыком, прокричал: «Иди, иди, висельник проклятый... Вот уж о ком веревка-то плачет!» Сибиряк резко повернулся, уперся грудью в острие штыка. Солдат опешил, не выдержал его яростного взгляда и попятился. Сибиряк покачал головой, презрительно сплюнул и, громыхая кандалами, прошел к скамье подсудимых. В тот день он попросил: «Клавдичка, вся надежда на тебя... Ведь повесят, сволочи... Я боевик и умереть должен достойно. — Помолчал и добавил: — Понимаешь, с оружием в руках. Оружие бы... Любое. Даже вот эти кандалы. Поспрашивай у себя на башне, может, что придумать можно».

И в первый раз в его глазах Клавдия прочла отчаяние. Не смерть страшила, а унижение...

Почти всю ночь перестукивались в башне. Надзиратель Буркин грозил карцером, но сделать ничего не мог. То на одном конце, то на другом раздавался стук. Стучали на первом этаже,

стучали на втором. Стучали в стены, стучали в пол. Надзиратель решил при проверке доложить по начальству, но утром внимательно посмотрел на Кирсанову и досадливо махнул рукой.

Сибиряк ждал Клавдию. По ее глазам понял — дело сделано. Читали обвинительное заключение. Прокурор, потрясая запиской, взятой при аресте Кирсановой, желчно подчеркнул: «Безумству храбрых поем мы песню!» Клавдия задохнулась от негодования. Да, она писала эту записку... Да, она всегда восторгалась и будет восторгаться мужеством героев, павших в борьбе... Этого чувства господину прокурору не понять: «Рожденный ползать — летать не может!»

Прокурор побагровел, потребовал призвать Кирсанову к порядку. Подсудимые смеялись. Конвоиры таращили глаза. Отчаянно дребезжал колокольчик в руках председателя...

Прокурор вытер лоб и продолжал, поглядывая на Сибиряка:

— Если бы встали тени убиенных чинов полиции... Если бы они ожили и смогли заговорить, то преступник, именующий себя Сибиряком, содрогнулся бы от ужаса... Покрылся бы холодным потом от раскаяния и стыда...

И тут голос прокурора заглушил бас Сибиряка:

— Если встанут тени убитых и замученных за народное дело царскими опричниками, то прокурору придется оледенеть... Здесь холодным потом не обойтись... Нас мало, но придет время, когда народ сделает то, что мы не сумели сделать!

Обвиняемые придвинулись к Сибиряку, придвинулись и застыли. Наступила тишина. Зал притаился. Председатель прервал заседание.

Вечером огласили приговор военного суда. Зловещие тени падали от решетчатых окон... Сибиряка и его товарищей приговорили к смертной казни через повешение. Клавдию ждала крепость и ссылка на вечное поселение в Сибирь.

Осужденные начали прощаться. Железные руки Сибиряка обхватили Клавдию. Они поцеловались в последний раз.

Смертников уводили. Побрякивали прикладами конвоиры. Клавдия с трудом сдерживала слезы. Сибиряк прокричал:

— Боритесь, товарищи! Боритесь до последнего вздоха! Мы еще постоим за себя!

В камере Клавдия долго плакала. И теперь, в вагоне курьерского, вспомнив все это, она залилась слезами...

С приведением приговора в исполнение торопились. Сибиряк это знал. Ночью он развернул план, переданный Клавдией. На вощеной бумажке был нарисован нижний угол двери в камере номер пять, там стоял жирный крест. Между дверным косяком и шершавой стеной узники нашли узкую, едва приметную щель.

Когда-то в камере сидел рабочий — боевик с Мотовилихи, ему-то и принадлежал этот тайничок: если в щель осторожно опустить тонкую иглу, то можно зацепить конец суровой нитки, а потянув за нее, достать стальную пилку.

В гулкой ночной тишине раздались приглушенные шаги тюремной стражи. На кованых сапогах войлочные туфли. Двигались воровато, крадучись. И все же Сибиряк услышал их. Услышал и встретил, как боец. Первым вошел грузный Высоцкий, начальник «полуроток», которого ненавидели за жестокость. И сразу же Сибиряк обрушил на его голову кандалы, завернутые в полотенце. Высоцкий ахнул и мешком повалился на пол. Смертники набросились на стражников, смертники крушили тюремщиков кандалами...

По тревоге в «полуротку» ворвались солдаты, открыли стрельбу, коридор заволокло дымом. До самого утра продолжался яростный бой. Сибиряк и его друзья погибли. Их расстреляли в камере. Мутноватый рассвет робко пробивался через решетчатое окно. Всхлипывал дождь.

...За окном была тайга. Паровоз тоскливо гудел.

СЛУЧАЙНОЕ ЗНАКОМСТВО

Переждав несколько дней в Екатеринбурге, Клавдия вновь села в поезд Иркутск—Москва. В купе оказалась семья чиновника, скучная и чопорная. Тихо постукивали колеса, бранились соседи. Девушка лежала на верхней полке и рассматривала знакомые места. Каждая верста, которую с такой обидной быстротой пробегал поезд, дорога и близка до мелочей.

Она даже матери не сообщила, что будет в Перми проездом. И когда поезд пришел в Пермь и она увидела знакомый городской вокзал, ей сделалось так тяжко, грустно и одиноко, что она в сердцах упрекнула себя за излишнюю осторожность.

Поезд стоял, как показалось Клавдии, долго, очень долго. Неподалеку от вокзала возвышались красные казармы. Туда она частенько ходила с Володей Урасовым. Припомнились встречи с Яном Суханеком. Неудавшийся побег Трофимова из башни. Тогда Трофимова и его друзей избили так, что на суде им даже не вынесли смертного приговора. Теперь Трофимов в тюрьме. Осужден надолго. Клавдия знала, что и Лбова казнили... Пермская тюрьма, мрачная, жуткая. Каких героев поглотила она, свела в могилу...

Соседи по купе сошли в Перми. Девушка осталась одна. И

вдруг она уловила звон шпор. Ближе... Ближе... Она натянула на голову одеяло и отвернулась к стене. Сердце лихорадочно забилось: неужели все кончено?..

Поезд тронулся. Дверь открылась. Клавдия услышала, как новый пассажир положил вещи. Осторожно кашлянул. Постоял. Она почувствовала его взгляд. Заскрипели пружины. И сладковатый табачный дым наполнил купе.

Был вечер, и горел свет. В купе сидел жандарм. Клавдия приподнялась на локте, посмотрела на него и зевнула, прикрыв рот ладошкой. Жандарм, молодой еще мужчина, любезно улыбнулся:

— Уж и Вятку проехали, а вы, барышня, все спите.

— Вятку? — искренне удивилась Клавдия.

— Ну, с Вяткой-то пошутил... Сейчас чай подадут... Не желаете ли?

— Да уж, право, пора. Пройдите, пожалуйста, в коридор. Я оденусь...

Мужчина наклонил голову и вышел, медленно задвинув за собой дверь. Клавдия тоскливо посмотрела в окно. Спустилась с полки, причесалась, оправила бантик на белой кофте, потуже затянула широкий пояс. Вздохнула и пригласила попутчика.

Жандарм, ладный и щеголеватый, щелкнул каблуками и подсел к девушке.

Клавдия незаметно окинула взглядом его багаж. Плохо. Очень плохо... Один портфель. Вряд ли с таким багажом пускаются в путь по личной надобности. Арестует. Наверняка арестует...

Жандарм не отрывал от Клавдии пытливых глаз. Девушка старалась не замечать его настороженности. Чуть прищурив карие глаза, спросила:

— Так вы в Кунгуре иль в Перми сели? Вошли так тихо, что я и не расслышала...

— В Кунгуре, — ответил жандарм, вновь внимательно посматривая на Кирсанову. И представился: — Петр Петрович Семипалов.

— Очень приятно... Наталья Порфирьевна Фадина. — Она поднялась, взяла с верхней полки шитый бисером ридикюль, улыбнулась беспомощно и добавила: — Боюсь паспорт потерять. Я ведь в первый раз в такой дальней дороге без матушки. Долго ль до беды? И так обрадовалась, когда вас увидела, ну, думаю, слава богу — приличный человек рядом будет. А у меня, знаете ли, — все более оживляясь, продолжала Клавдия, — неудача. Да, да... Сейчас расскажу. Я сама родом из. Тулы... Может, бывали? Нет? Жаль, очень милый городок. Там у нас на Губернской

собственный дом. А семья большая, очень большая. — И девушка, улыбаясь, широко развела руками. — Двенадцать детей.

— Двенадцать! — ахнул жандарм. — Ну и ну!

— И все девочки! А я после гимназии надумала к сестре, в Екатеринбург... Она обещала место гувернантки в хорошем доме. Матушка поплакала и отпустила: ведь к родной сестре... И что же? Представьте положеньице: приезжаю, а сестра и не думает устраивать меня — заставила своих детей нянчить. Пятерых, один другого меньше. Замучили... Стала проситься в гувернантки — зять запротестовал: живи, мол, у нас... Зачем держать в доме чужую прислугу? Ты родня, вот и живи. Думала-думала и решила уехать. Может, в Москве место найду...

Клавдия презрительно оттопырила губы и передернула плечами. Петр Петрович слушал внимательно. Девушка нравилась ему.

— Справедливо... Очень справедливо... — согласился жандарм. — Что за жизнь для образованной барышни — с детьми возиться? — И многозначительно прибавил: — Детки не уйдут...

— Хотите домашних пирогов? — встрепенулась Клавдия. Она сняла с полки саквояж и выложила на узенький стол морковные пироги, крутые яйца, кусок вареного мяса...

Петр Петрович достал из портфеля кусок запеченного окорока. Бросил на столик газету:

— Будьте хозяюшкой...

Клавдия скосила глаза на газету. «Пермские ведомости»! Еще совсем свежая.

— Газеткой интересуетесь? У меня есть сегодняшняя...

— Нет, зачем же... Это уж пусть стриженые барышни читают или те, которые в пенсне... — Покраснев, доверительно сообщила: — Я рукодельничать люблю... Работу и в дорогу взяла...

Клавдия достала из саквояжа черную бархатную подушечку, наполовину расшитую, и сумку с яркими шелками.

— Вы мне что-нибудь расскажите... А я займусь.

Она склонилась над работой. Петр Петрович вздохнул: «Чудо как хороша! Наивна. Непосредственна. Скромна». Клавдия взглянула на него из полуопущенных ресниц и сердечно попросила отведать пирогов. Жандарм, собирая губы в улыбку, с чувством поблагодарил:

— Спасибо... Какое удовольствие встретить такую девушку, как вы! Спрошу чаю, и вместе откушаем.

Он вышел. Осторожно закрыл дверь. Клавдия быстро отвернула угол «Пермских ведомостей», и сразу же статья, набранная жирным шрифтом, привлекла ее внимание: «О Пермской военной организации».

«...После ареста главной руководительницы Пермской военной организации СДРП Клавдии Кирсановой весной 1907 года снова названная организация начала развивать свою деятельность среди нижних чинов Пермского гарнизона. Не встречая среди масс нижних чинов особого распространения, эта организация приобрела небольшое количество деятельных членов из состава 11-го Пехотного Псковского полка, 232-го резервного батальона, Пермской конвойной команды, писарей Управления Пермского Уездного Воинского Начальника и 54-го драгунского, ныне 17-го уланского Новомиргородского полка, которые под руководством городских интеллигентов и интеллигенток распространяли между нижними чинами нелегальную литературу, проводили собрания и возбуждали своих сотоварищей к производству активных выступлений против военного начальства...»

Клавдия откинулась на спинку и закрыла глаза. Провал... Военную организацию она создавала с таким трудом.. Значит, и Ян Суханек арестован. Тогда, после неудачного побега Трофимова, начальство наградило его орденом святой Анны и чином ефрейтора. Теперь он в военной тюрьме. Очевидно, докопаются и до его роли в подготовке побега.

Горечь и боль переполняли ее сердце. Она почувствовала, что начинает бледнеть. Зябко передернула плечами и, достав шерстяной платок, накинула его. Отчаянно заболела голова. Взяли... Взяли...

Из статьи Клавдия поняла, что объявлен ее поиск по делу военной организации. И если б она не сбежала из ссылки, то ее доставили бы под конвоем в Пермь.

Удивленно взглянула она на Петра Петровича, не сразу поняв, почему в купе оказался жандарм. Петр Петрович держал в вытянутой руке кулек с огурцами и участливо спросил:

— Вы, я вижу, здесь скучаете. Решил дождаться станции и прикупить огурчиков... Смотрите, рябые, с хрустом...

Клавдия плохо его понимала. Голос слышался откуда-то издалека. Петр Петрович старательно подкрутил подстриженные усы и недоуменно взглянул на нее. Клавдия молчала. Петр Петрович вспыхнул от обиды и растерянно положил кулек на столик. Клавдия с трудом воспринимала происходящее. «Можно ли представить большее страдание,— подумала она. — Узнать об аресте товарищей и выслушивать болтовню нагловатого жандарма!» Клавдия наклонилась над работой, руки ее быстро замелькали. Стежок за стежком, стежок за стежком. Петр

Петрович осторожно кашлянул. Озабоченно нахмурясь, Клавдия посмотрела на его круглое самодовольное лицо. Хотелось побыть одной, подумать... И вдруг ее охватила такая тоска, что, казалось, не хватит сил вынести: и эту игру с жандармом, и эти горестные раздумья, и это стремление уйти от опасности.

— Я тут, пока вас ждала, — приглушенно заговорила она, — вспомнила родных, и так горько стало в одиночестве...

Петр Петрович пожал ей руку, сочувственно кивнул головой.

— Я ведь понятие имею. Это считают, что ежели жандарм, то и не человек... Хорошим людям я всегда помогу. Знаете ли вы, что такое жизнь? — Он поднялся во весь рост. Помолчал и, закатив глаза, хрипловато прочитал:

Жизнь — это серафим и пьяная вакханка,
Жизнь — это океан и тесная тюрьма...

«Господи, — тоскливо подумала Клавдия. — Не хватало мне от жандарма услышать стихи Надсона... Вот что значит мода!» И сухо заметила:

— Что такое жизнь — стихами не определишь...

— Справедливо, очень справедливо. Когда везешь политических, они все больше стихи читают... Иногда очень душевные...

«Что ты понимаешь о жизни!» — закипело раздражение у Клавдии.

Она заставила себя улыбнуться и начала разрезать тонким ножом вареное мясо. Петр Петрович ел с удовольствием.

Дверь в купе открылась. Заглянул низкорослый человек. Он вежливо поздоровался и, увидев жандарма, торопливо захлопнул дверь. Клавдия тихо усмехнулась: ширма превосходная!

Дни проносились, как верстовые столбы за окном вагона. Петр Петрович становился все более любезен и внимателен. А однажды, когда Клавдия вышла на остановке в Казани, Петр Петрович сделал ей предложение по всей форме.

Клавдии еле удалось погасить лукавые огоньки в глазах. Слушала скромно, низко наклонив голову. Петр Петрович, взяв ее за руку, говорил:

— Я уж не молодой... Людей повидал, а такого человека, как вы, Наталья Порфирьевна, не встречал. У меня серьезные намерения. Есть сбережения. Человек я положительный и на семейную жизнь смотрю здраво. Купим домик с садом... Заживем, как все добрые люди.

Задумчиво поглядывала на него Клавдия.

— Домик... Сад... — Ответила медленно, тихо: — Я и сама думала о семейной жизни. Мечтала о человеке положительном и серьезном. Я не бесприданница. Только без благословения родительского не могу дать согласия. Доеду до Москвы, а там сразу к тетке. Потом — в Тулу... — Опустила глаза и прибавила: — А тогда уж ждите...

Петр Петрович просиял, гордо повел ее в буфет «распить бутылочку шампанского». Так состоялась их «помолвка». Теперь он заботился и опекал ее открыто.

На стоянках поезда Клавдия несколько раз встречалась с низкорослым человеком. Тот даже о чем-то разговаривал с Петром Петровичем. Только Петр Петрович рассмеялся и громко, чтоб его расслышала Клавдия, ответил:

— Моя невеста. Едем к родным...

Низкорослый человек кисло поздравил и вежливо откланялся. Клавдия перестала обращать на него внимание. Только как-то спросила Петра Петровича: о чем это хлопочет их попутчик?

Петр Петрович досадливо махнул рукой:

— Да все беглых из ссылки ловит... Какая-то курсистка удрала из-под Иркутска. — И нежно прошептал: — Не тревожьтесь, моя голубушка, Наталья Порфирьевна... Это не должно интересовать вас. Это все политика. А вам, красавице, там делать нечего.

Глаза Клавдии сузились. Только влюбленный Петр Петрович ничего не замечал. Мысли о женитьбе захватили его целиком...

Клавдия старалась не говорить о будущем. Рассеянно отвечала на его вопросы. Иные думы и иные заботы тревожили ее. Пугала Москва. Явка надежная. И все же... Товарищи приютят на первое время, свяжут с организацией. А если в Москве провал? В такие минуты она смотрела на Петра Петровича колюче, зло. А он терялся и мучился: чем это мог огорчить свою невесту?..

Москва их оглушила. Паровоз тяжело вращал красные колеса. Бегали и кричали носильщики. Толпились на перроне пассажиры. Пытливо заглядывали в лица господа в котелках, которых Клавдия определяла безошибочно. Филеры. Однако как их много в первопрестольной!

Петр Петрович нес плетеную корзину и не отрывал от Клавдии горящих глаз. Она шла спокойно, положив свою маленькую руку на руку Петра Петровича. Опустила на шляпе вуаль и в очередной раз уверяла его, что дня лишнего не задержится в родительском доме. Который раз Петр Петрович

проверял: не потеряла ли суженая его адрес? И Клавдия в доказательство раскрывала ридикюль...

На площади под большими часами они расстались. Петр Петрович усадил «невесту» на извозчика и долго махал вслед рукою.

Прокатив по Мясницкой, Клавдия вновь вернулась к вокзалам. Сдала вещи в багаж, взяла нового извозчика и поехала к Зоологическому саду, на Пресню...

В этот холодный осенний день в саду народу было мало. По пруду плыли багряные листья осины, тоскливо и протяжно кричали селезни с подрезанными крыльями. Застыли черные лебеди в накрахмаленных оборках.

Клавдия опустилась на скамью. Рядом Пресня. Пресня, о которой так много говорено и слышано. Здесь, у Зоологического сада, тогда, в декабре, возвышалась баррикада. Отстреливались дружинники. Трепетал красный флаг, расползался пороховой дым, стонали раненые. Воображение нарисовало картину баррикадного боя столь явственно, что Клавдия вздрогнула. Долго смотрела она на кленовые листья, тронутые первым морозцем, поднялась и пошла к выходу. Замелькала решетчатая ограда. Девушка оглянулась на черных лебедей и пруд, запорошенный опавшими листьями...

«Пресня» — белело на железном кружке деревянного двухэтажного дома. Клавдия заметила грузного дворника в фартуке с начищенной бляхой. Дворник шумно сметал мусор метлой... А вот и второе окно, завешенное голубоватыми гардинами. Но почему нет герани? Почему нет условного знака? В чернеющем парадном стоял господин в коротком пальто. Филер... Клавдия прошла мимо дома, опасаясь лишний раз повернуть голову. Ее догнал дворник. Снял толстую рукавицу и, откровенно разглядывая, спросил:

— Кого разыскиваете, барышня?

Клавдия смерила его презрительным взглядом и, поправляя шитую вуаль, бросила через плечо:

— Пора бы знать жильцов своей улицы.

Провал. Кольцо сомкнулось.

КАТОРЖАНКА

Карцер в новом корпусе пермской тюрьмы, в которую Кирсанову препроводили после ареста, напоминал тесный каменный мешок. Шершавые слезящиеся стены, холодный

цементный пол. Полумрак. Массивная дверь. Под самым потолком оконце в бахроме паутины. По стене ползают мокрицы. Клавдия их всегда боялась. Она гадливо передернула плечами и, поставив чайник у двери, начала изучать стены. О чем только они не рассказывали!

За мое к свободе рвенье
Дал мне царь на много лет
Даровое помещенье,
И прислугу, и обед...

Раскинув руки, Клавдия уперлась в стены «дарового» помещения. Стуча котами, двинулась, выставив плечо. Это старый прием — в темноте легко расшибить лицо. Хорошо еще, что «светлый» карцер не такой строгий, как «темный». Правда, она побывала не так давно и в «темном». Тогда лишь по звону кандалов определяла время суток. Даже волчка в двери нет — изолировать так изолировать! И девушка порадовалась бледной и дрожащей полоске света, пробивавшейся сквозь паутину решетчатого оконца. Тряхнула косами и запела:

Побежденный на востоке,
Побежденный на Руси,
Будь же проклят, царь жестокий,
Царь, запятнанный в крови...

За дверью загремели кандалы. Видно, у каторжанина отстегнулся ремень, цепи лязгали по камню. А может, надзиратель кого-то вел в карцер и отобрал ремень.

Она вновь притопнула котами, еще громче пропела:

Ну что за божья благодать:
Крамолы происки убиты,
Корой древесной люди сыты —
Повсюду тишь, повсюду гладь!..

В коридоре захохотали. Послышался сердитый окрик, и раскрылась маленькая форточка, словно квадратный глаз. Надзиратель заглянул в карцер:

— Госпожа Кирсанова! Перестаньте. Наденем смирительную...

— Ну уж, сидеть в вашей вонючей дыре да не петь! — И, подойдя вплотную к квадрату, наставительно закончила: — Говорила начальству и повторяю вам: администрация должна согласовывать режим с заключенными. Поскольку я не принимала участия в его разработке, то правила поведения буду определять сама! А теперь потрудитесь закрыть форточку и оставить меня в покое, как гласит инструкция.

— Опять за старое, госпожа Кирсанова! — проворчал надзиратель. — Пора бы и образумиться!

— Доложу по начальству, что вы вступаете в недозволенные разговоры с заключенными. — Лицо девушки приняло наивно-доверчивое выражение. — Может быть, записочку передадите или подскажете, чем можно в карцере заниматься! А?

— Пфу... — Надзиратель махнул рукой и захлопнул квадрат.

Товарищи, братья, друзья!
Не падайте гордой душою,
Ходите, веселость храня,
И с поднятой вверх головою!

Клавдия прислушалась. Надзиратель стоял под дверью и молчал.

— Вот теперь дело! — удовлетворенно проговорила она и схватилась рукой за щеку.

Зуб отчаянно болел. От резкой, дергающей боли, подкравшейся неожиданно, выступили капельки холодного пота.

Виновата в этой боли сама. В тюремной больнице во вторник дантист подготовил зуб к пломбированию. Дантист был свой человек. Приносил записки, письма, запрещенные книги. Работал не спеша. Надевал на тонкий крючковатый нос роговое пенсне и, включив бормашину, начинал рассказывать о новостях на воле. Она дорожила этими встречами. И даже не пожалела свой здоровый зуб. Садилась на высокий стул, откидывала голову на спинку и слушала, боясь хоть слово проронить. Иногда постанывала, охала, опасаясь, как бы кто из надзирателей не подсматривал. Работу дантист не заканчивал. Так случилось и в последний раз. Снял эмаль, обнажил нерв, повозился с зубом,

вручил письмо от товарищей — и ушел. Только больше не появлялся. Она слышала, что его неожиданно обыскали в канцелярии и арестовали.

И вот зуб проклятый!.. Она замотала голову косынкой, подняла воротник бушлата. Не помогло. Налила в кружку воды и отломила кусок вязкого, сырого хлеба. Хлеб прилипал к зубам, а боль от холодной воды сделалась нестерпимой. Клавдия, заткнув уши ватой, чтобы не заползли мокрицы, свернувшись калачиком, прилегла на плиты камня и заставила себя заснуть...

За дни, которые Кирсанова провела в карцере, в одиночке №3, предназначенной для особо важных преступников, появился новый арестант, Мерзляков. Обвиняли его в убийстве пристава в Ижевске.

— Пристав был гад, — пощипывая русые брови, говорил он Володе Урасову. — Увечил рабочих, как дикой зверь. Я его предупредил: брось, говорю, сволочь, а то, гляди-ка, найдутся руки!.. А тут дружка моего, Васятку, сгребли. Пристав измутузил его в кровь, два ребра сломал, зубы пересчитал. Несколько суток Васятка без сознания провалялся. Ну, я и не выдержал. Ночью подкараулил да и уложил из маузера. Тут меня и взяли: знали, что грозился. Маузер нашли, но никто ведь не видел... Как говорится, улик-то прямых нет! Не могут же присудить к смертной казни? А? Как ты думаешь? Должны соблюдать законность? Правда?

Он с тревогой смотрел на Володю.

— Не могут! Факт! Нет улик! — соглашался Урасов.

Мерзляков веселел и начинал долгий рассказ о жизни, об ужасах и беззакониях, творимых на заводе...

И все же Мерзлякова приговорили к смерти. С суда он уже не вернулся в камеру к Урасову, где находился в дни следствия. Он стал узником третьей одиночки, к которой приставили нескольких надзирателей, следивших за каждым его движением.

Володя Урасов не отходил от стены и стучал почти открыто. Косточка указательного пальца вспухла, кожа сбилась.

Начались для тюрьмы страшные дни ожидания. Вот тогда, после карцера, и вернулась Клавдия. В камере их находилось трое — худенькая Ксения Егорова, обвиненная в хранении бомб, молчаливая Кетова, прошедшая по делу незаконной перевозки оружия, и она, Кирсанова. По соседству сидел Володя Урасов, с которым они встретились после долгой разлуки.

Девушка сразу поняла — беда, увидев усиленный наряд надзирателей в коридоре.

— Мерзляков? — прошептала она, обнимая Егорову. Ксения кивнула. Поспешно встала и налила Клавдии стакан кипятка,

руки ее дрожали. На побледневшем лице резко выделялись красные от слез глаза и набухшие веки.

— Так ведь улик-то прямых не было! — возмутилась Клавдия, обхватив тонкими пальцами кружку.

— Нашли... — устало ответила Ксения, и голос ее дрогнул. — Не спим какую ночь... Ждем, чтобы проводить...

Тяжело вышагивали надзиратели. В эти вечерние часы, когда солнце скользило по зернистой стене, камера показалась Клавдии склепом. Она вздрогнула и испуганно посмотрела на Ксению, боялась, что та прочтет ее мысли. Ксению трудно было узнать: так изменилась за это время. Клавдия жадно пила кипяток, но и он не спасал от озноба.

Клавдия уселась на кровать и начала стучать Мерзлякову:

«Дорогой друг, послушай прекрасные строки:

Но чтоб вал пришел девятый,
Вал последний, роковой,
Нужны первые усилья,
Нужен первый вал... второй...»

Она горестно сжала голову руками — какие нужны слова, когда смерть стоит на пороге! Схватила выщербленную ложку и опять застучала:

«Всем сердцем с тобой в эти последние дни. Любим тебя и всегда будем помнить. Что нужно? Все сделаем!»

«Спасибо, Клавдичка. Меня тут и Володя и Ксения не забывали... Дорогие мои, хорошие... Ты лучше расскажи, как твой зуб?»

Загремел засов. Появился надзиратель по кличке Шик. «Молод, красив и шикарен», — с издевкой говорили о нем в тюрьме. Надзиратель пропустил уголовного с бачком. К дверям поднесли ушат с кипятком.

— Что приуныли, невесты? — прошепелявил уголовный, обнажив прокуренные корешки зубов, и участливо добавил: — Сегодня разлука! Получайте!

— Ишь, разговорился... Кавалер! — оборвал его надзиратель.

Уголовный влил в бачок с вдавленными боками три половника и ушел. Из бачка повалил густой пар. Клавдия машинально помешала ложкой «разлуку»: кровавые сгустки печени, куски легкого, коровьи зубы... Бр-р!

Ксения взяла с подоконника «динамит» — ломти вязкого серо-грязного хлеба. Его клали на ржавые оконные решетки для

просушки. Кетова вопросительно поглядела на подруг и, подражая артельщикам, постучала ложкой по краю бачка. Обычно стук этот их всегда смешил, но сегодня никто не обратил на него внимания.

— Ешь, Клавдичка.

Клавдия поднесла ложку ко рту, но плачущая стена ожила. Стучал Мерзляков:

«Сегодня казнь!»

«Откуда? — метнулась Клавдия. — Откуда узнал?»

«Приходил начальник тюрьмы. Спрашивал, нужен ли священник. Отказался. «Вы и так петлю наденете. Зачем священник!»

...В эту ночь тюрьма не спала. Заключенные поделили в камерах ночные часы. Дежурили. Клавдия лежала молча. Чудились воровские шаги тюремщиков в войлочных туфлях. Она вскакивала с койки и подбегала к волчку, ощущала себя бессильной в этой каменной могиле. Ах, если бы удалось открыть дверь!

И все же они пропустили момент, когда надзиратели пришли за Мерзляковым. И тем оглушительнее взметнулся его голос:

— Прощайте, товарищи! Палачи пришли! Живите! Не поминайте лихом!

Тюрьма ожила вмиг. Забегали, закричали в камерах. Клавдия колотила кулаками в железную дверь, едва сдерживая рыдания.

— Прощай! Прощай!

К Клавдии подошла Ксения. Они обнялись. Громыхнула дверь у железной витой лестницы. Все стихло. Тюрьма замерла. Увели...

И в звенящей тишине раздался высокий и страстный голос. Клавдия пела, глотая слезы, пела, сжав, кулаки:

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу,
Вы отдали все, что могли, за него,
За честь его, жизнь и свободу!

Песню подхватили. Пели товарищи, пели братья по партии. И Мерзляков услышал эту песню...

ПЯТАЯ КАМЕРА

Клавдия в холщовом каторжном платье, заложив руки под серый фартук, стояла посреди камеры и презрительно гнусавила:

— По указу его императорского величества временный военный суд в городе Перми, выслушав дело крестьянки Клавдии Кирсановой... — она перевела дух, — признал Кирсанову виновной в подговоре, учиненном по соглашению с другими лицами, составить сообщество с целью насильственного изменения в России, путем вооруженного восстания, установленного законами основного образа правления и замены такового демократической республикой, каковое сообщество, однако же, не сотворилось, а потому и на основании последней части сто второй статьи Уголовного уложения — в каторжные работы на три года, как лишенную уже ранее всех прав состояния... — Девушка смешливо наморщила лоб и закончила: — А я-то и не знала, что у меня в России так много прав, а главное — состояния! Знаменитым человеком становлюсь, товарищи! Сразу два процесса! Едва закончился процесс о побеге из ссылки, как уже привлекают к дознанию по делу военной организации. Да-с, от каторги не отвертеться... Хорошо, если срок придется отбывать здесь, в Перми. Все к дому поближе... Слушай, Ксения, а прокурор со своим хохлом, ей-богу, похож на мокрого петуха, еле сдержалась — так и хотелось дернуть за этот хохол...

— Все шутишь, Клавдичка, — с ласковым укором проговорила Кетова.

Она сидела у окна, ловила последние лучи солнца. Продолговатое лицо ее казалось особенно бледным. Клавдия, вздохнув, посмотрела на Ксению Егорову. Глаза их встретились, и Клавдия увидела такое участие, что у нее перехватило дыхание. «Нас трое, — подумала Клавдия, — трое в этом сыром каземате, и только товарищество может спасти. Главное — не утратить бодрости, не поддаться тюремной тоске. Иначе не выдержать...»

Клавдия неторопливо расчесывала длинные волосы и думала, думала. Почему Ксения все время молчит? Она пытливо поглядела на подругу.

— Ксения! Что случилось? А?

— Отец меня хочет сделать «подаванкой».

— Как?

— Матери я почти не помню, отец мне мать заменил. Вчера приехал из Екатеринбурга, пишет, что хочет подать прошение на высочайшее имя. Просить милости... — Голос Ксении дрогнул. — Четыре года каторги и вечное поселение, видно, испугали его. Письмом своим душу мою... И как это он не понимает? А ведь ближе никого на свете нет...

— А ты? — осторожно спросила Клавдия.

— Я? — удивилась Ксения. — Написала через тюремную канцелярию, что, если он подаст прошение, покончу самоубийством. Какой еще выход?!

— Отец поймет, — не очень уверенно заметила Клавдия...

— Да... Он прислал ответ. Тоже через канцелярию. — Она протянула Клавдии лист бумаги.

Письмо было короткое: «Кто не слушается мать-отца, тот послушается тюремного колокольца!»

Подошла к столу и Кетова, отложив книгу. Начали разглядывать розоватую бумагу, перекрещенную бурыми полосами: администрация, боясь молочной тайнописи, обрабатывала письма йодом.

— Разукрасили! — усмехнулась Клавдия. — И родительских писем не щадят...

— Отец всегда любил стихи и меня приучил... — как бы оправдываясь, сказала Ксения. — В тюрьме стихи словно живая вода. Начнешь читать — человеком себя чувствуешь.

И тихо и светло — до сумерек далеко,
Как в дымке голубой, и небо и вода,
Лишь облаков густых с заката до востока
Лениво тянется лиловая гряда.

Клавдия мечтала, отрешенно смотрела на закатное солнце. Но вот и оно скрылось где-то там, далеко-далеко, и сумрак сгустился в камере, и будто еще тише стало в тюрьме.

На шнурке из коридора опустили пятилинейную лампу. Дважды щелкнул замок, вошел надзиратель, поднес спичку к лампе, и блеклый свет разлился по камере.

— Эх, Буркин, Буркин, и зачем зажгли эту коптилку? — тихо проговорила Кетова. — Уж лучше б чайку принесли.

— Не положено по второму разу, — беззлобно отозвался надзиратель и, волоча ноги, удалился.

Клавдия налила в кружку воды и стала держать ее над лампой. Стекло быстро покрылось копотью, противно запахло керосином, но Клавдия не сдавалась:

— Решено: будем на лампе греть воду. Все же лишний раз горячее. А?... Первую кружку Ксении, потом тебе, Кетова. Когда я из Сибири бежала и останавливалась в Екатеринбурге, удивительные вещи услышала про Свердлова. Ты, Ксения, знаешь Михалыча. Там, в седьмой камере, старостой его выбрали. Это у него тюремная профессия. Приходит как-то начальник тюрьмы,

Свердлов ему и говорит: «Нужен на ночь кипяток». — Клавдия переменила затекшую руку, продолжая держать кружку над лампой. — Сказал Михалыч раз, повторил другой, ссылаясь на какие-то ему известные тюремные инструкции, начальник и разрешил. Но только седьмой камере. Свердлов протестовать: почему, дескать, одной камере? Начальник заупрямился. Яков Михайлович думал-думал и придумал. Проделали отверстие в соседнюю камеру. Шило у Михалыча нашлось. В это отверстие вложил жестяную трубочку. Михалыч садился на корточки и, обжигая руки, лил из чайника кипяток, а там уж соседям — только кружки подставляй. На день отверстие заделывали черным хлебом... — Клавдия старательно разлила нагретую воду по кружкам, поставила на стол. — Пора укладываться, на ночь тепленького хлебнем, оно и хорошо.

Клавдия аппетитно откусывала от горбушки, запивала хлеб редкими глотками. Половину горбушки подложила под подушку. Ночью набегут мыши и усядутся на железной спинке кровати, свесив длинные голые хвосты. Как станут наглеть и полезут по волосам, так нужно хлеб бросать на середину камеры. Мыши сбегут по жидким прутьям, затеют драку.

В окно пробивался лунный свет. Отошел еще день...

— На прогулку! — зычно крикнул дядька Буркин.

— Врача! У нас больная!

Клавдия стояла у железной койки, на которой лежала, натянув грязноватое суконное одеяло, Кетова. Ее черные тоскующие глаза лихорадочно блестели, на впалых щеках полыхал румянец.

В тюрьме свирепствовал тиф, и Клавдия боялась за Кетову.

— Ксения! Клавдичка! Идите на прогулку! Ведь всего-то пятнадцать минут! А я пока засну. — Кетова постаралась улыбнуться. — Ну, идите, не беспокойтесь обо мне.

— И то правда, — посоветовал Буркин. — Врача все равно не дождетесь. Почти все уголовные свалились.

С надзирателем Буркиным заключенные считались: не злой и не придира. В его дежурство перестукивались почти без помехи, а иной раз и записку просили передать в город, и Буркин не отказывал.

— Прошу вас, идите, — прошептала Кетова.

Низкие облака висели над тюремным двориком. Сыпал частый дождичек. Цветочная клумба — предмет гордости и забот администрации — в этот серенький осенний день показалась Клавдии совсем жалкой: палки георгинов, рахитичные ноготки, побуревшая трава. А ты ходи да ходи вокруг этой дурацкой

клумбы как заведенная.

У канцелярии околачивался помощник начальника тюрьмы Ямов. Обрюзгший коротышка, он хмуро следил, как прогуливаются заключенные. На вышке торчал солдат с винтовкой. Все было обычным, но сегодня именно эта тупая обыденщина возмутила Клавдию. Она переглянулась с Ксенией, та все поняла, и они разом повернули назад, изменив маршрут прогулки.

У Ямова брови удивленно шевельнулись. Он помедлил, решив, должно быть, что каторжанки ошиблись. Потом крикнул:

— Ходить по кругу! По кругу!

— Помойная яма-то разоряется, — толкнув Ксению локтем, громко сказала Клавдия. — Нашел лошадей, чтоб гонять...

Ямова точно толкнули. Он мигом очутился посреди дворика.

— Почему нарушаете порядок?

— Какой такой порядок? — усмехнулась Клавдия.

— Прогулка только по кругу! — Левая щека у Ямова задергалась.

— А у нас кружится голова. Понятно? — вызывающе ответила Кирсанова и, взяв под руку Егорову, как ни в чем не бывало продолжала беседовать с нею, словно и не замечая помощника начальника тюрьмы.

— В карцер! Прекратить прогулку!

В карцере вонь и сырость. Около параши шмыгала крыса.

— Как же быть с Кетовой? Она без помощи не может. Нужно что-то придумать. — Клавдия вынула из кармана бушлата кусок хлеба.

— Теперь в лучшем случае на семь дней, — огорченно отозвалась Ксения. — А здорово, что мы проучили этого рыжего...

— Ты не пугайся... Я сейчас истерику закачу... Выпустит как миленькие...

Клавдия легла на скамью, распустила косы и завыла:

— Мама! Ма-ма! Ма-ма!

В голосе ее слышалось столько страдания, что Ксения содрогнулась. Крик всколыхнул зловещую тишину.

— Ма-ма! Ма-ма! Ма-ма! — неслось по гулким полутемным коридорам.

Тоска, боль, отчаяние перекатывались под тюремными сводами. Ксения зажала уши руками и со страхом смотрела на подругу. Клавдия полузакрыла глаза. Линии рта исказились горькой гримасой, косы лежали на полу.

— Ма-ма! Ма-ма! Ма-ма!

— Кирсанова! Прекрати! — закричал в форточку надзиратель.— Всю тюрьму взбаламутила...

И тюрьма начала оживать. Загромыхали кулаки о железные двери, забегали надзиратели по коридорам.

— Ма-ма! Ма-ма! Ма-ма!

Дверь карцера вздрогнула, и на пороге выросла фигура начальника тюрьмы, Клавдия не шевельнулась. Рядом с начальником сутуловатый фельдшер тюремной больницы. Начальник пропустил его вперед:

— Осмотрите!

Фельдшер, дохнув махоркой, сосчитал у Клавдии пульс, потрепал рукой по щекам, посмотрел глаза, оттянув нижнее веко. Фельдшер слыл добряком.

— Сильное нервное потрясение, господин начальник... Потрясение, которое может дать тяжкие последствия. В карцере оставлять больную крайне рискованно.

— Начальство и порядок нужно уважать, госпожа Кирсанова... Но раз больны, освобождаю вас от наказания, строго предупредив... — Начальник приложил руку к козырьку фуражки, вышел.

Через час Клавдия снова хлопотала в камере около больной Кетовой. Ксению выпустили к вечеру.

Подобного случая тюрьма не знала.

МАТЬ

Весна 1913 года обещала быть ранней и дружной. По утрам еще прихватывали легкие заморозки, но дни выдались красные, высокие.

Клавдия стояла у решетчатого оконца. Звонкая весенняя капель била по железному навесу. Наступил последний день ее каторги в пермской тюрьме. Клавдия ждала отправки этапом в Якутскую область на вечное поселение... Вечное поселение, к которому она приговаривалась второй раз.

Первым ушел этапом Володя Урасов. Уходил он ранним утром, и только дядька Буркин, передав записку отцу, помог по-людски ему собраться.

Потом уходила Ксения. Родных у нее в городе не было. Клавдия, упросив того же дядьку Буркина купить материю, сшила ей полотняное платье.

А сегодня ждала отправки она. Нехитрые пожитки давно сложены в холщовый мешок и отобраны на проверку в тюремную контору. Только заветный кусок мыла она спрятала за пазуху. По прошлому разу знала — отберут. Непременно отберут! Новички

всегда страдали в этапе без мыла. Пылища, духота, грязь... А мыло отбирали — боялись, что кандальники им воспользуются и снимут цепи. Кандальников в партии наверняка много будет. Почти вся партия. Уголовные, политические шли в кандалах. В редких случаях политических заковывали попарно в наручники. Только женщины шли свободно. Клавдия зло рассмеялась. «Свободно! — под охраной роты солдат... Свободно! — в вагонах с решетчатыми окнами и отделениями для конвоя... Свободно! — под присмотром палочной команды среди глухих сибирских деревень...»

Загремел засов, и Клавдия, натянув бушлат на полосатое каторжное платье, вышла за надзирателем на тюремный двор.

Пахнуло свежестью. Рассвет казался хмурым. По серому

небу расползались палево-малиновые разводы. Тяжелые тени придавили тюремный двор.

Солдаты стояли цепью. Белели начищенные пуговицы на черных шинелях да околыши фуражек. Слышалась команда, щелкали затворы винтовок. Конвойный офицер, длинный и тощий, с озабоченным и сердитым лицом, еще раз пересчитал партию по списку и начал выстраивать каторжан по пяти в ряд. Клавдия попала в седьмой ряд третьей с края.

Рассвет уже наступил, по-весеннему скорый и солнечный, а партия все еще толпилась на тесном дворе. Суетился начальник тюрьмы, раздраженный, злой. Кричали конвойные, в пятый раз делая перекличку. Толкались надзиратели, проверяя прочность кандалов. Слышались соленые словечки уголовных, продрогших и уставших от ожидания.

Наконец массивные железные ворота распахнулись, и, окруженная плотным кольцом солдат, партия двинулась по сонному городу к вокзалу. Сразу же от Анастасьевского садика бросились люди с узелками в руках. Клавдия жадно разглядывала бежавших. Вчера она послала с надзирателем Буркиным матери записку и очень волновалась, что какие-то непредвиденные обстоятельства помешают ее получить. «Хоть бы разок повидать мать! Вот так, издали».

Только сейчас она поняла, как волновалась все это время. Прошло четыре года с того дня, когда в городском суде Клавдию приговорили к каторге. Четыре года, как она не виделась с матерью! Запомнила ее глубокие морщины у глаз, окаменевший от горя рот. Мать смотрела на дочь черными тоскующими глазами. Крупные слезы текли по дряблым щекам. А потом она попыталась улыбнуться. Но улыбка получилась страдальческая. И долго еще при мысли об этой улыбке у Клавдии горестно сжималось сердце. Им попрощаться не дали; судили ее тогда по

делу военной организации. Конвоиры скрестили штыки, когда мать попыталась обнять дочь. Клавдия чуть ли не с кулаками бросилась на рябого солдата, препровождавшего ее в губернскую тюрьму.

— Я за тебя на каторгу иду, а ты мою мать прикладом! — И, не утерпев, сказала с сердцем: — Дубина стоеросовая!

Мать плакала навзрыд, крестила ее издали сухими маленькими пальцами. Клавдия низко поклонилась, стараясь запомнить ее на долгие годы. Так они расстались в тот памятный горький день.

Партия уже поднималась по Вознесенской улице. Блестели от дождя крыши домов. Дул пронизывающий ветер. Стояла вязкая глубокая грязь.

Клавдия не находила матери среди небольшой горстки провожающих, непонятно, какими правдами и неправдами узнавших о дне выхода партии.

И вдруг из глухого проулка устремилась сгорбленная маленькая фигурка. «Мать! — сразу узнала Клавдия. — Наконец-то! Мать!» Клавдия замедлила шаг, и тут же на нее налетел каторжанин, больно отдавив ногу.

— Шагай! Шагай! — гортанно прокричал черноусый солдат и выразительно прищелкнул затвором.

Путаясь в широкой юбке и вытирая слезившиеся глаза, мать, словно не видя солдат, шла к Клавдии. Она вытянула руки и, сразу обессилев от волнения, начала спотыкаться и шататься. Клавдия замахала ей, ужасаясь, как постарела и высохла мать за эти годы. Закусив губу, Клавдия с трудом различала дорогу. Всеми силами она старалась сдержать слезы, а слезы застилали глаза. Она боялась их вытереть, чтобы не расстраивать мать. Только махала, махала рукой.

Мать схватилась за сердце и уронила на вытоптанную мостовую белый узелок. Она с трудом поспевала за партией, и расстояние между ними все увеличивалось.

— Держись, Яковлевна, держись! — прокричали откуда- то сбоку.

Клавдия повернула голову и увидела, как подхватил мать Александр Иванович, отец Володи Урасова. Поднял с земли узелок. Сдвинув на лоб треух и расстегнув полушубок, быстро догнал партию:

— Кирсановой! Клаше!

Узелок поймали, и вскоре вместе с увесистым ударом от уголовного он оказался у Клавдии в руках. Она прижала его к груди, и на нее пахнуло теплым ржаным духом. Клавдия прижала узелок покрепче.

Звенели кандалы, кричали простоволосые женщины, поблескивали штыки. А Клавдия все оглядывалась и оглядывалась на сгорбившуюся мать.

На вокзале партию ждали. На перроне находился усиленный наряд жандармов, цепью отделивший каторжан от публики.

Синели арестантские вагоны с густыми железными переплетами на окнах. Вперед вышел все тот же конвойный офицер, длинный и тощий, и начал резким неприятным голосом делать перекличку. Клавдия плохо следила за происходящим.

Мать стояла около кадки и не отрываясь смотрела на нее. Она уже не плакала. Глаза ее с болью и нежностью разглядывали дочь. Действительно, легко ли среди каторжан с бубновыми тузами увидеть свою дочь! Вновь в Сибирь! Вновь навечно! Все тюрьмы да аресты, каторга да этапы. И матери хотелось громко закричать, чтобы вернули ее дочь. Она уже стара, и у нее так мало осталось сил. Мать даже рассердилась на дочь. Почему, почему она не может жить, как все?! Мать бы нянчила внуков, и дочь была бы всегда рядом. Но, поймав жесткий и твердый взгляд, который Клавдия бросила на жандармского ротмистра, она сразу сникла: нет, никогда ее дочь не смирится. Никогда!

Клавдия опять взглянула на мать и улыбнулась. Мать закивала седой головой, заволновалась. Побледнела ее Клавдичка, побледнела, сердечная. И так подумать — ведь не за себя страдает! Осунулась, и в карих глазах нет былого молодого задора. Лишь тоска да боль! Сердцем мать поняла, как изменилась дочь за годы каторги. И небывалая нежность захлестнула ее сердце. Нежность и всепрощающая материнская любовь. Она подивилась, как могла упрекать Клавдичку или осуждать ее. Ужаснулась своей жестокости и, глотая слезы, закричала:

— Клавдичка, доченька моя! Береги себя, ласточка! Ласточка моя!

Мать растолкала толпу и придвинулась вплотную к цепи жандармов.

Никогда она так не любила свою Клавдичку, никогда не испытывала такой муки, как в эти последние минуты прощания. Она во всем оправдывала дочь. Ругала себя за старость и неумение понять того дела, которому Клавдия отдала жизнь. Она тянулась к дочери, чтобы прижать ее к груди. И опять им помешали. Жандармы стояли сплошной стеной, и, как ни старалась мать, пройти ей не удалось. Она погрозила сухоньким кулаком. Клавдия засмеялась, придвинулась поближе. И опять смотрела на нее, смотрела, чтобы унести в сердце образ матери на долгие годы разлуки.

...В вагоне оказалась невероятная толчея, духота. Клавдия вместе с женщинами-уголовными заняла боковую клетушку.

Убегал город, и лицо матери расплывалось, как белое пятно. И как только застучали колеса, как только замелькали версты и полустанки, в вагоне запели. Клавдия вздохнула, радуясь, что позади остались тюрьма, Ямов, опостылевшая камера... Перемена обстановки рождала надежды. Да и конвойные на этапе притихли, словно понимали, что каменных стен нет.

Напротив Клавдии, пристроившись на низенькой плетеной корзине, сидела женщина. Лицо ее, широкоскулое и миловидное, портил грубый рубец на левой щеке. Она с любопытством разглядывала Клавдию и, наконец, низким голосом спросила:

— Политическая?

Клавдия кивнула. Руки ее ловко укладывали косы в пучок.

— А за что? Такая молодая, красивая... Жить тебе и веселиться, а ты — в политику. Не убивала, не воровала, а каторжанка!

— Бывает...

Клавдия развернула узелок, собранный матерью. И опять сердце защемило от боли. Припомнила, как заплакала мать, когда ударил вокзальный колокол, как махала она платком, как пыталась бежать за вагоном.

— Угощайся. Домашние.

— А меня к столу не пригласите, красавицы? Гостем буду. Гость в доме — хозяйке счастье.

Клавдия подняла глаза. Смуглый цыган с красивым лицом и жгучими глазами остановился против них. Он был закован в ножные и ручные кандалы. Иссиня-черные волосы, курчавая борода, нависшие брови делали его похожим на ворона. В правом ухе сверкала серебряная серьга. Цыган загремел кандалами, протянул грязную руку. Клавдия дала ему пирог. Цыган блеснул зубами.

— Будем знакомы. Конокрад Яшка. — Он шутовски приподнял плоскую каторжанскую шапочку, жадно начал есть.

— Пошел, пошел на место, басурман проклятый! — Накинулся на него унтер из караульной команды. — Вишь, кавалер выискался!

Цыган передернул плечами и, позванивая кандалами, начал наступать на крикуна. Плечи его мелко тряслись, ноги дробно отплясывали. Сочным голосом, не отводя глаз от унтера, цыган запел:

У студентки под конторкой

Пузырек нашли с касторкой,
И один из них, капрал,
Полон рот ее набрал.
Дунул, плюнул, говорит:
«Эфто, братцы, динамит.
Динамит не динамит,
А при случае палит...»

Унтер глядел на него с ожесточением, а Яшка, озорно сверкнув белками глаз, пел.

Весь вагон вторил Яшке, похохатывая и притопывая:

Эх вы, синие мундиры,
Обыщите все квартиры...
Обыскали квартир триста —
Не нашли социалиста.

Этап начался.

ПУЛЕМЕТЧИЦА

Взошло солнце, и яркий свет заполнил лес, окутанный утренней дремой. Над таежным безмолвием звенела тишина. Изредка потягивал свежий ветер, предвестник зимы, да шуршал мертвый лист, кружась, падая на землю. Осень выдалась необычной для Северного Урала. Почти весь октябрь стояли теплые дни. Деревья красовались оранжевым кружевом, будто осень не хотела уступать дорогу зиме. Солнышко светило мягко и приветливо. Трепетала береза, в ее зелень желтым золотом вкраплялся пожухлый лист. Не уронили своих бордово-красных треугольников клены.

Среди рыжих лиственниц темнели крепкой хвоей ели. Отливала свинцом осина... А ночью выпал снег, густым покрывалом одев землю, хлопьями облепив деревья. Тайга, убранная искрящимся снегом, казалась призрачной, неживой. Ветер срывал листья и перекатывал их, зеленые, бордовые, оранжевые, по белому снегу. В снежном серебре миллиардами хрустальных лучей засверкало солнце.

По небу ползли облака, оставляя едва приметную тень на земле. Облака проползали лениво, и тогда в бездонном куполе небес проглядывала такая синь и голубизна, что у Клавдии Ивановны перехватывало дыхание.

День разгорался. Пела и звенела тайга. Обвешанные сверкающими каплями деревья бросали на землю резкие тени, словно палочные удары.

Клавдия Ивановна, поправив мешок за спиной и расстегнув шинель, присела на пенек. Уже не первый день идет она тайгой в расположение Волынского полка. Развязала мешок, достала кусок хлеба. Начала аккуратно есть, стараясь не ронять крошек, как когда-то в пермской тюрьме. На кустах рябины прыгали дрозды. С тонких ветвей падали ягоды каплями крови на снег. Тяжелые раздумья не оставляли ее. Припомнилась весна 1917 года в Якутске. Весна бурная, расцвеченная кумачовыми полотнищами и революционными декретами. С первой зеленоватой дымкой, появившейся над тайгой, Клавдия Ивановна начала собираться в дорогу. Наступил день, когда вскрылась Лена. Колония политических ссыльных, среди которых находилась и Кирсанова, покинула Якутск. Позади остались долгие годы ссылки, гонения, нужды...

Трудные дороги революции привели Кирсанову в Надеждинск, небольшой городок на Северном Урале. Здесь она устанавливала Советскую власть, ждала посланцев от Владимира Ильича Ленина.

А теперь кровь и пожар обрушились на землю. Кровь и пожар. Белые овладели Уралом. Все, чему была отдана ее жизнь, все, чему была отдана жизнь товарищей по партии, — попрано и поругано. Советская власть в Надеждинске низложена. Завод отобран у рабочих. В городе бесчинствует «белая дружина» — лавочники и черносотенцы, нацепившие на рукава белые повязки. Хлещут нагайками. Расстреливают коммунистов. Рабочих загоняют в казармы.

По щекам катились слезы. Клавдия Ивановна чувствовала их горько-солоноватый вкус. Белые в Надеждинске!

Она ушла из города с последним эшелоном. Всю ночь в Совдепе семьям красноармейцев и рабочим раздавали муку, деньги. Женщины не расспрашивали ни о чем. А лишь горестно, поджав губы, смотрели на нее, комиссара. Нужно было уходить. Белые рвались к Верхотурью. Захватят его — тогда Надеждинск будет отрезан. Торопливо листала она протоколы заседаний Совета, первые декреты, первые приказы... За каждым клочком бумаги — бессонные ночи, мучительные раздумья. А теперь документы сжигались. Она помешивала железной кочергой в

голландке красные катушки бумаг с траурной каймой пепла да слушала, как ревет огонь.

На станции дожидался состав-коротышка из восьми вагонов: двух классных и теплушек. Попыхивал паровоз большой трубой, рассыпая искры. Тоскливо лязгали буфера. Пробегали и красноармейцы, подтаскивая к вагонам ящики с документами. Грузили оружие, пулеметы.

Сиротливо чернели остроконечные башенки надеждинского вокзала. Мигал фонарь водокачки. Сухим листом била береза в ее запыленные оконца. А там, на севере, сверкал вечным снегом Денежкин мыс.

Клавдия Ивановна поправила кобуру маузера на кожанке. В глазах провожающих увидала испуг, сказала громко:

— Мы вернемся! Обязательно! — И, уже стоя на подножке вагона, прокричала: — Вернемся!

Вагон трясло. Брызги фонтаном разлетались из-под шпал и залепливали грязью стекла. От тряски уныло скрипели полки. В горячечном бреду метался тифозный больной. Неторопливо переговаривались рабочие. Впереди ждала неизвестность. И от этой неизвестности у Клавдии Ивановны, как и у всех сидящих в вагоне, болезненно ныло сердце. Она придвинулась к окну. Вдали виднелись трубы Надеждинского завода, приземистые домишки, окруженные заборами, одинокие фигурки людей. Город уходил. Поезд прибавлял ходу...

Эшелон проскочил на Вятку, а Клавдия Ивановна задержалась в Верхотурье. В монастыре, напоминавшем крепость, собрались представители Совдепа. Совещание было недолгим. Коммунисты рассылались по уезду: поднять повстанческое движение. Для защиты Советской власти в округе создали Военную коллегию; членом ее стала Кирсанова.

Начались трудные дни. Кирсанова собирала отряды, произносила речи, убеждала людей. Не спала, держалась усилием воли. И все же Верхотурье под напором беляков пришлось оставить. Она ушла и из этого города с последним эшелоном.

Эшелон снова уходил на запад, а Клавдия Ивановна осталась на станции Выя, чтобы попасть в Волынский полк.

Там, в Вые, и узнала, что творилось в Надеждинске, так полюбившемся ей.

В город пришли каратели, пришли, словно в завоеванную страну, с нагайками и шомполами.

На князя Вяземского, командира карательного отряда, жутко смотреть. Верзила саженного роста. Лицо жестокое, глаза безумные, весь опух от пьянства, на черной папахе — череп и кости.

Князь Вяземский с трудом выдержал торжественную встречу, которую ему устроили на вокзале местные лавочники и духовенство. Особенно суетился регент церковного хора.

Маленький, с пухлым румяным лицом, он, благоговейно взмахнув руками, начал «Многая лета». Хор старательно ему вторил. Князь скривился, откровенно зевнув. После торжественного богослужения регент подкатился к князю, осторожно ступая короткими ножками. Он приветствовал князя пышной и громкой речью от партии кадетов, членом которой имел честь быть. Почтительно наклонил лысеющую голову и замер. Князь Вяземский взорвался, побледнев от гнева, процедил сквозь зубы:

— Партия... На святой Руси партия?! Распустились, подлецы... Расстрелять!

Глаза его бешено сверкнули, и регента схватили. Князь, ударив плетью по высоким сапогам и не глядя по сторонам, прошел мимо оробевшей толпы.

Ночью начались аресты. Арестованных сгоняли к дому барона Таубе. Пытки, избиения, допросы... Утром первую партию арестованных повезли на расстрел. Окровавленных и полураздетых, их везли через весь город на санях. Конники с обнаженными шашками сопровождали обреченных.

Расширенными от ужаса глазами смотрели женщины, пытаясь пробиться к саням с осужденными. Слышались стоны, проклятия...

Расстреливали на окраине города близ татарского кладбища.

А потом князь Вяземский начал порку для устрашения. Экзекуция происходила у дома барона Таубе, в пристройке. Целыми днями раздавались крики истязуемых, ругань пьяных карателей. Пол, стены, даже потолок забрызганы кровью. Пороли нещадно. Обливали холодной водой и вновь пороли, посыпая раны солью. И так день за днем...

Пора в путь. В последний раз оглянулась Клавдия Ивановна на лес и, ориентируясь по компасу, двинулась на запад, к деревне Вологино, где квартировал Волынский полк.

Над деревней курился сизоватый дымок. Доносился лай собак. Чернели крыши домов, покрытые дранкой.

Сопровождаемая молоденьким красноармейцем, направилась к избе. Здесь размещался штаб полка. От долгой дороги она устала и предвкушала отдых и ночлег.

На продолговатом столе сразу же увидела карту. Над ней склонились командиры и о чем-то спорили, не обращая внимания на вошедших. Больше других горячился Симонов, моряк, ее

товарищ по Надеждинску. У русской печи гремела чугунами старуха.

Клавдия Ивановна сняла мешок, опустила его на лавку.

— Товарищ командир... Доставил тут гражданочку до вас! — сказал красноармеец по-юношески звонко.

— Ну, кто там? — недовольно отозвался высокий худощавый человек, приподнимая голову от карт.

— Клавдия Ивановна! — обрадованно закричал Симонов, сдвигая по привычке бескозырку на лоб. — Вот здорово!

Клавдия Ивановна развязала черный платок, сняла шинель. Огляделась. Пригладила каштановые волосы и, улыбаясь, протянула руку командиру.

— Волков, — представился он.

— Здравствуйте... Здравствуйте... Наконец-то добралась. Как обстановка? — Она осторожно отстегнула булавку, из бокового кармана платья достала бумагу. Развернула, протянула ее Волкову. — Верхотурье пало. Третьего дня. Положение тревожное. Создана Военная коллегия. Вот мой мандат. Волков, скосив глаза, читал:

«Как член Военной коллегии, тов. Кирсанова имеет неограниченные права в Богословском горном округе, а именно: ликвидировать неработоспособные учреждения и учреждать новые; смещать и назначать должностных лиц; по борьбе с контрреволюцией тов. Кирсанова имеет право организовывать отряды, вооружать их и вести самую беспощадную борьбу с контрреволюционерами означенного округа.

Тов. Клавдия Кирсанова имеет право разговоров по прямому проводу, телефону, подачи телеграмм с надписью «военная», бесплатного и беспрепятственного проезда во всех поездах всех жел. дор. линий, также требовать паровозы и целые составы, что подписью и приложением печати удостоверяется».

Командир аккуратно свернул мандат, возвратил его Кирсановой:

— Мы бы тебя, Клавдия Ивановна, и без мандата приняли... Вот послушай обстановку...

Командир был для Клавдии Ивановны человек новый. Он привел из Сосьвы с металлургического завода отряд рабочих-красногвардейцев, который влился вместе с надеждинцами в Волынский полк. Говорил немного. Движения его сдержанны.

— Положение складывается так, товарищ Кирсанова, — Волков расправил карту, разрисованную красными и синими линиями. — Полк занял позицию по реке Актай. Вот здесь

проходит линия окопов. Тут, за рекой, белые. Штаб их в селе Путивке. Полк свежий, недавно сформирован. Располагает пушками, пулеметами. Мы же все время отходим с боями от самой Тавды. Бойцы устали. Обмундирование летнее. От полка осталось два батальона. Вооружены винтовками и двумя пулеметами. Что делать?

— Наступать! Волынский полк будет участвовать в наступлении на Верхотурье. Не можем мы оставить Верхотурье. Здесь железнодорожный узел, здесь сердце Богословского горного округа. Здесь подступы к Туринским рудникам, к Надеждинскому металлургическому заводу, к золотым и платиновым приискам... Надо выбить белых из Верхотурья. Знаю, что полк устал, долгое отступление измотало его, бойцы плохо одеты... Знаю... И все же наступать — другого выхода нет! — Клавдия Ивановна подошла к Симонову. — Вяземский бесчинствует в Надеждинске... Сердце стынет от горя, как узнаешь об его художествах. Нужно коммунистов послать в его отряд, начать пропаганду... — И озабоченно спросила: — Как с патронами?

— Да плохо. По два десятка на бойца, — глуховато ответил Волков.

— Плохо, — согласилась Кирсанова. — Вот отобьем Верхотурье и тогда отправим полк на переформирование. Ты проводи меня, Симонов, к надеждинцам... Пойду поговорю с товарищами, а через час соберем коммунистов.

С шумом распахнулась входная дверь. В морозном облаке в избу ввалился молоденький красноармеец. Вытянулся Перед командиром:

— Товарищ Волков! Беляки в атаку пошли!

Кирсанова схватила шинель и поспешно выбежала за командиром, на ходу завязывая платок.

Обстрел нарастал. Слышались тяжелые раскаты артиллерии и лающий треск пулеметов. Бежать было трудно. Ноги проваливались в снегу, хлестал ветер. Она привычно ощупала маузер. Позади остался последний дом. Вот и окопы. Прижавшись к земле, бойцы вглядывались в берег Актая. Полк ждал команды и огня не открывал. Она спрыгнула в окоп, больно ударившись о мерзлую землю. Прилегла к земле и так же, как и бойцы, начала смотреть на пологий берег Актая. Загрохотала артиллерия, вздыбив снежный фонтан, и смолкла. Наступили жутковатые минуты затишья. Взвилась красная ракета. По белому насту, высоко поднимая ноги, пошли в атаку солдаты.

Клавдия Ивановна ощупала вороненую сталь маузера. Нет, это не оружие в бою! Обрадовалась, увидев на небольшом возвышении под кустом орешника пулемет. Тупорылый ствол его

блестел на солнце. Она вылезла из окопа, обдирая руки о мерзлую землю, двинулась к пулеметчикам. К счастью, первым номером оказался надеждинец, запевала из отряда Симонова. Парень приветливо кивнул и тихо, словно могли услышать, сказал:

— Будешь, Клавдия Ивановна, патроны подносить. — И уже чужим голосом крикнул: — Ложись!

Белые наступали. Гремел барабан. Лучи солнца играли на золотых погонах. От черных высоких папах солдаты казались неестественно большими и грозными. Послышалась громкая команда, и заученным движением солдаты взяли винтовки наперевес. В руках офицера сверкала шашка.

Клавдия Ивановна лихорадочно подсчитывала. Батальон. Еще батальон. Еще... Да, силы не равны. Полк вымуштрован. Озлобленные лица. Золотые погончики вольноопределяющихся. Сынки лавочников и заводчиков спасают «свободную» Россию!

Рокотал барабан, печатал шаг полк. Морозная земля гулко передавала размеренные удары. Кирсанова посмотрела на пулеметчика. На лице его нетерпение. «Что же это Волков не дает сигнала! — забеспокоилась она. — Патроны жалеет...»

Было страшно смотреть на марширующие сапоги, слушать барабанный гром. «Решили дать показательный бой, сволочи! Знают, что полк измотан и оружия мало», — пронеслось у нее.

Черные шеренги приближались, она уже хорошо различала лица солдат. Брезгливо морщил губы высокий черноусый офицер. Испуганно таращил глаза правофланговый, громила саженного роста. Штыки, примкнутые к винтовкам, зловеще покачивались. Ближе, ближе, ближе...

— По врагам революции огонь! — послышался хриплый голос Волкова.

И сразу же ударил пулемет: тра-та-та, тра-та-та... Клавдия Ивановна подтащила ящик с патронами, залегла. Волынцы дали залп. Пули со свистом перелетали через Кирсанову. И вдруг, раскинув руки, упал черноусый офицер, сверкнула его шашка. Строй нарушился, начал редеть, понеслись проклятия. Наконец-то замолчал барабан. Пулемет захлебнулся, первый номер истошно прокричал:

— Патроны! Патроны!

Кирсанова чуть дрожащими руками начала вытаскивать ленты из железной коробки. Молоденький красноармеец, испуганный и притихший, лежал у пулемета вторым номером и расширенными глазами глядел вперед. По неестественной бледности, покрывшей его веснушчатое лицо, Кирсанова поняла — первый раз в бою. И, полная сочувствия, пожалела его.

— Ползи к Симонову! Скажи, чтоб фланги не забывали. Я заменю тебя!

Клавдия Ивановна улыбнулась. Она уже овладела собой. Белые вновь пошли в атаку. Ряды сомкнулись, зазвенел барабан. Волынцы молчали. Первый номер развернул пулемет, и резкая пулеметная очередь прошила шеренги.

Глухо ударили пушки. Снаряд, взвизгнув, разворотил орешник. Пулеметчик качнулся и отвалился, раскинув руки. Клавдия Ивановна кинулась к нему. На высоком лбу чернел осколок снаряда, тонкая струйка крови заливала лицо.

— Убит, — тихо проговорила Кирсанова.

Накрыв его голову ушанкой, словно он мог простудиться на мерзлой земле, придвинулась к пулемету. Вернулся молоденький красноармеец и беспомощно замер. Клавдия Ивановна чужим голосом приказала:

— Ленту! Ленту!

В шум боя, в гром артиллерийской пальбы и треск выстрелов вновь влилась пулеметная очередь: тра-та-та, тра-та-та... На конце тупорылого ствола пулемета плясало красное пламя. Клавдия Ивановна не отпускала гашетку. Била уверенно, прицельно. Беляки отступили. Полк бежал, офицер с широким полковничьим погоном озверело колотил солдат нагайкой. И тогда Кирсанова поднялась во весь рост, вынула маузер, громко прокричала, повернувшись к волынцам:

— Вперед за Советскую власть! — И первой бросилась по снежному насту, слыша за собой тяжелый топот солдатских сапог.

Волынский полк пошел в атаку.

Конкордия Самойлова

Конкордия Николаевна Самойлова (Громова) родилась в 1876 году в семье священника, в Иркутске. В гимназии вступила в кружок «саморазвития», стала свидетельницей ожесточенных споров народников и марксистов. В 1896 году приезжает в Петербург, становится слушательницей Бестужевских курсов. В 1897 году первое политическое выступление во время студенческих волнений, вызванных самосожжением Марии Ветровой. В 1901 году арестована, последовала высылка из Петербурга. С трудом добивается разрешения уехать в Париж для окончания

образования. Больше года провела в Париже. Здесь она познакомилась с В. И. Лениным, который читал лекции в Высшей русской школе общественных наук профессора Ковалевского. В 1903 году Конкордия Николаевна возвращается в Россию, становится членом комитета РСДРП в Твери. В Твери проработала недолго: грозил арест и пришлось выехать в Екатеринослав. В 1904 году вновь арестована и отправлена в Тверь. В губернской тюрьме провела четырнадцать месяцев. В 1905 году уезжает в Одессу. В дни декабрьского вооруженного восстания находится в Москве. Из Москвы направлена в Ростов-на-Дону, работает в городском комитете. Вновь арестована и выслана в Вологду. В 1906 году совершает побег из ссылки, работает в Москве. Усилившаяся слежка заставляет переехать в Луганск, откуда она направляется делегатом III съезда партии в Лондон. После съезда работает членом комитета в Петербурге. В 1909 году арестована и заключена в Литовский замок. С конца 1912 года работает секретарем газеты «Правда». В 1914 году участвует в издании журнала «Работница». В этом же году — пятый арест. Из ссылки освободила Февральская революция. В 1918 году выступает с докладом на I Всероссийском съезде работниц и крестьянок в Москве. В 1920 году совершает поездку по Волге на агитпароходе «Красная звезда», заведует политотделом. Умерла К. Н. Самойлова в 1921 году во время своей второй поездки на агитпароходе «Красная звезда».

«ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ»

— Битва русских с кабардинцами.

— Или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа.

— Где вы читали эту книгу?

— Там, где любят женихов!

— Хорошо ли там жилось?

— Насчет пищи ничего, а спать было холодно.

Конкордия Громова с облегчением произнесла последнюю фразу пароля «третьей степени доверия». Пароль, который она получила в Париже, давал ей право войти в жизнь Тверского комитета РСДРП. Гусев, молодой худощавый человек — с ним она обменивалась паролем, — долго тряс руку.

С шумом распахнулась дверь. Куделли, смеющаяся, счастливая, вбежала в комнату и бросилась на шею.

— Кона, милая! Какое счастье!

— Вот уж кого не ожидала встретить! — обрадовалась Конкордия.

Конкордия стояла, держа подругу за руки. Солнце освещало ее высокую фигуру, энергичное лицо с карими глазами и широкими черными бровями. Полотняное платье с матросским воротником перехвачено синим поясом. Широкополая шляпа едва держалась на густом узле каштановых волос.

— Из Парижа, Кона, да? Что слышно про Второй съезд? — Прасковья Куделли не отрывала от нее восторженных глаз. — Отвечай же!

— Как отвечать, когда ты слова не даешь вставить! — Конкордия мягко улыбнулась. Обняв Пашу за плечи, кивнула на диван. — Присядем. Почему ты здесь?

— Долгая история. Тогда, после ареста на Бестужевских курсах, тебя в Иркутск, а меня в Псков. Потом побывала в Лондоне, Женеве. Вновь в Петербурге… Арест, и вот я в Твери. По правде говоря, мне повезло. Недалеко от обеих столиц, район рабочий. Морозовская мануфактура. Дел хватает!

Гусев не стал мешать разговору подруг, ушел, прикрыв дверь.

— У нас без конца аресты. Уранов словно взбесился: обыски по всему городу. Да что обыски — всю ночь громыхали тюремные кареты, арестовывали правого и виноватого.

— Уранов? — переспросила Конкордия.

— Да, Уранов, начальник Тверского жандармского управления. Ему снится партийный комитет. Очень много усердия, да мало результатов.

— Говорят, в городе арестовали более двухсот человек. Даже мой шурин, Иннокентий Иннокентьевич, которого никак не назовешь социалистом, и тот возмущен. Ну, а комитетчики уцелели? — Конкордия подняла брови.

— Уцелели. Правда, Гусева едва не схватили. Квартира его давно на примете. Вчера вернулся с заседания, раздеться не успел — звонок. Сразу понял, что за птицы. Начал нелегальщину прятать, дверь сорвали с петель. Жандармы с порога кричат: «Господин Гусев, вы арестованы!» Кто-то выстрелил. Гусев схватил лампу со стола, разбил и в темноте выскочил в окно, а там садами… Как мог удрать — диву даемся! — В голосе Куделли Конкордия уловила мягкость.

— Силы приходят к человеку в момент опасности. Много доброго мне говорили о Гусеве, да и впечатление он производит приятное. Вы его на съезд прочите? Шурин рассказал анекдот. Охранка платит по две тысячи наградных за выдачу комитетчиков. Какой-то шутник распустил слух, что комитетчики ходят в черных шляпах и крылатках. Вот всех и хватают. Черная

шляпа и крылатка — вне закона!

— А знаешь, Кона! У императорского дворца на бульваре вечером задержали человека. Городовой грубо рявкнул: «Кто вы?» — Куделли едва сдерживала смех, в глазах озорные огоньки. — Тот заикаясь ответил: «Товарищ прокурора». Каков же был его ужас, когда вслед за оплеухой услышал: «Вот товарищей-то мы и забираем!»

— Видно, славно поработал комитет, если вызвал такую ярость... Куда определите меня? — На лице Конкордии сосредоточенное выражение. — Без дела сидеть не могу.

— Дело найдется. Обсудим на комитете. Долго ли была в Париже?

— Почти весь девятьсот второй год. Слушала лекции в Высшей школе общественных наук у Ковалевского. Наездами там бывал Владимир Ильич, читал лекции. И знаешь, малодоступное делалось простым, понятным. Блистательный и образованный марксист. Владимир Ильич подолгу разговаривал с каждым, кто вырывался из России. Как-то он уговаривал партийца: «Езжайте домой. Вы ведь практический работник, в таких у нас особая нужда». Вот, думаю, и мне пора. Уложила вещи и — в Тверь. Остановилась я у сестры, квартира ее неподалеку от кафедрального собора; шурин — смотритель духовного училища. Более удачный вариант трудно подобрать. Товарищи за границей советовали им воспользоваться. Жду тебя вечерком... Есть хорошие подарки.

...К чаю собралась вся семья. Наталья Николаевна, старшая, радовалась приезду матери и сестер. Она рано покинула родной дом и очень скучала.

Конкордию не видела она пять лет. Нашла ее совсем взрослой и похорошевшей. Но прошлое Конкордии тревожило: арест, исключение с Бестужевских курсов, непонятная поездка за границу. Опасалась и ее открытых демократических взглядов, знакомств.

Конкордия приехала к ней из Парижа. В таком городе, как Тверь, это расценивалось как сенсация. Наталья хотела пригласить друзей. Об этом ей уже намекали. Сам архиепископ Филарет выразил интерес к гостье. Поговорила с Конкордией, но та только рассмеялась. Удивлялась Наталья и изящным вещицам, которых сестра навезла великое множество. Странно, Конкордия никогда раньше не обращала внимания на них... Наталья рассматривала репродукции, такие красочные, яркие. Альбом с видами Парижа положила на ломберный столик, сразу же при входе в гостиную. Нет, положительно Конкордию трудно понять. А эти частые отлучки из дому, которые так тревожат матушку? У

Конкордии есть другая жизнь, она пугает и страшит семью. Наталья поговорила с матерью, помолилась в Калязинском монастыре и решила ввести в дом отца Павла. Молодому скромному священнику симпатизировал Иннокентий Иннокентьевич. Загадывать рано, но есть же «господин случай»! Сегодня на чай, а вернее, на рассказы о Париже приглашен и отец Павел.

В гостиной мать, сестры, Иннокентий Иннокентьевич с отцом Павлом.

Наталья окинула стол озабоченным взглядом. Кажется, все в порядке: серебро, китайский сервиз. Во главе стола усадила мать. Незаметно для других похвалила ее туалет: черное атласное платье с тюлевой вставкой и воланом. Мимоходом поправила белую розу в волосах Калерии; младшая совсем недавно стала появляться на вечерах и мило конфузилась. Зато Конкордия удивила ее несказанно: вышла в домашнем полотняном платье. Так манкировать приличиями в провинциальном городке! Она переглянулась с матерью и усадила сестру рядом с отцом Павлом.

Молоденькая горничная на вытянутых руках внесла серебряный самовар. Запахло угольком, острые красные искорки упали на поднос.

Конкордия радостно улыбнулась:

— Самовар! К кофе я так и не привыкла. В Париже все горевала о самоваре. Налей, пожалуйста, покрепче. Проголодалась отчаянно.

Отец Павел предупредительно придвинул корзиночку с бисквитами, наложил в блюдечко варенья.

— Как понравился наш городок? Не правда ли, после Парижа маловат?

— Позволю не согласиться. Я патриот Твери, поклонник ее славной истории. — Иннокентий Иннокентьевич заправил салфетку за воротник сюртука. — Тверь дала Руси славные имена. Архимандрит Сергий присутствовал при венчании на царство Федора Алексеевича, а игумен Феодорит — при четвертом бракосочетании царя Ивана Васильевича.

Конкордия с аппетитом уничтожала бутерброды, запивая их крепким чаем. Удивленно подняла брови.

— В свое время по селам Тверской губернии ходил в народ Сергей Кравчинский. Он поселился у отставного артиллерийского офицера Ярцева батраком и ратовал за установление республики.

— Какой Сергей Кравчинский? — обеспокоенно поинтересовался Иннокентий Иннокентьевич.

— Да тот самый, что заколол кинжалом шефа жандармов Мезенцева в Петербурге. Это был ответ на казнь Ковальского, его

товарища по «Народной воле». При налете на квартиру Ковальского жандармы дали залп из винтовок, ранили его, а связав веревками, топтали ногами. Смертный приговор Ковальскому читали более получаса у раскрытой могилы. В безоружного стреляли пятнадцать солдат. Яму забросали землей, а потом по могиле прошли с музыкой церемониальным маршем войска. — Щеки Конкордии горели, говорила сухо, сдержанно.

Калерия всплеснула руками. Любовь Петровна, мать Конкордии, нервно теребила шелковый платок. По крупному красивому лицу бежали слезы. Участливо и тревожно смотрела на Конкордию, страшась за ее судьбу. Наступило неловкое молчание. Наталья, вся в красных пятнах, стала предлагать чай.

Отец Павел провел рукой по бородке.

— Ужасный случай... Насилие и братоубийство объяснить трудно. На пасху пришлось служить на Морозовской мануфактуре. Так знаете — скандал! Рабочие возбуждены. Старики попросту заявили, что не могут от души произнести «Христос воскресе», пока распинают их братьев... Гибнут невинные даже в пасхальные дни, когда все глаголют о воскресении Христа. Так-с... Не подумайте плохого: я против смутьянов и бунтовщиков, но крайние меры не всегда себя оправдывают.

— Давайте о чем-нибудь другом! — Иннокентий Иннокентьевич под красноречивым взглядом жены переменил тему разговора.

— Конечно, конечно! А как наши соотечественницы ведут себя в Париже? — оживилась Наталья.

— Большинство — бесподобно. Одеваются по последней моде: красные шляпки, оранжевые платья и голубые зонтики. Парижане называют это яичницей красок.

Наталья преувеличенно громко рассмеялась.

— Комнату сняла в пансионе, где было два пианино. Там жили студентки консерватории. Представьте мой ужас, когда предупредительная хозяйка привезла третье! — Конкордия мягко взглянула на мать. Она понимала, что та расстроена, и ей хотелось, чтобы вечер закончился спокойно. — Сбежала, как последняя трусиха.

— Но ты же так любила музыку! — удивилась Калерия.

— Ее оказалось слишком много. У злобы черная радость, говорил Виктор Гюго. Такую же радость испытала я, когда закрыла за собой дверь пансиона.

Наталья заметила, как восхищенно поглядывал на Конкордию отец Павел. «Удивительная девушка», — думал он. К тому же разговор на социальные темы, модный в обществе, придавал

известную остроту и оригинальность вечеру.

— Как трудно в житейском океане найти свое место! Только религия может помочь человеку. — Отец Павел придвинулся к Конкордии.

— «Давно называют свет бурным океаном, но счастлив, кто плывет с компасом!» — Конкордия задумчиво помешивала ложечкой в стакане. — Частенько вспоминается мне Карамзин. Только компас у каждого свой. Он зависит от чести и совести.

— Полно, Кона... Покажи лучше виды Парижа. — Наталья подала сестре альбом в сафьяновой коже, с медными застежками. — Я так тебе благодарна.

Альбом пошел по рукам. Конкордия рассказывала, радуясь оживлению сестер. Глаза ее часто останавливались на матери. Она вынула из карманчика часы — скоро восемь. В прихожей звякнул колокольчик. Наталья взглянула на горничную.

— Нет, это ко мне. Извините, возьму альбом показать подруге.

...Комната, которую сестра приготовила к ее приезду, была крохотной, но уютной. Стены оклеены белыми обоями, на окнах прозрачные тюлевые занавески. Низкая кровать в пене кружев. Мебель мягкая, удобная. Овальный столик, инкрустированный перламутром. На нем букет гвоздик: Наталья знала, какие цветы сестра любит больше всего.

Куделли с удовольствием огляделась.

— Настоящая светелка! — Она взяла со столика зеркальце в медной окантовке.

— Парижское... Вот еще альбом... Коробка от Пакэна, самого модного магазина в Париже. В ней я привезла матушке тальму с гарусом.

Куделли удивленно взглянула на нее. Помолчала. Повертела коробку с яркой наклейкой.

— Однако не думала, что ты там туалетами занималась.

— Приходилось...

Тихонько постучавшись, в дверь вошла Калерия. Конкордия мягко попросила сестру:

— Принеси, пожалуйста, таз с теплой водой.

— Таз? — не поняла Калерия.

— Да, эмалированный. И чтобы вода непременно теплая.

Когда сестра вернулась, Конкордия закрыла на задвижку дверь. Куделли осторожно наливала в таз воду из голубого кувшина. Калерия не отводила глаз от сестры.

— В Париже в холодные дни постели согревают глиняными кувшинами с горячей водой. Осень там промозглая, камины не спасают. Зато весной Париж прекрасен: бульвары в зеленом пуху,

пестрые тюльпаны, каскады фонтанов. — Конкордия говорила неторопливо, ловко сняла ножницами медный ободок с зеркала. Она отделила стекло, а картон, на котором оно было закреплено, опустила в таз.

— Кона, что ты делаешь? — На круглом лице Калерии испуг. — Ты же испортишь!

Куделли ласково обняла девушку за плечи.

— Сейчас все увидим, — проговорила она и, вдруг догадавшись, придвинула к Конкордии коробку от Пакэна, бесцеремонно сорвала модные застежки с парижского альбома.

Разрозненные печатные листы с видами Парижа Конкордия погрузила в теплую воду.

— Ну, девочка моя, ты нам помогла, а теперь поди последи, чтобы никто из домашних не поднялся сюда ненароком. — Конкордия подтолкнула оторопевшую сестру к двери. — Заговори их, задержи...

Куделли, закатав рукава блузки, безжалостно взрезала паспарту ножом, счистила верхний слой с нарядной картинкой.

— Видишь, ничего особенного, — довольно посмеивалась Конкордия. — В Тверь прибыл «мелкий транспорт». Провозить через границу литературу с каждым днем труднее. Чемоданы с двойным дном, шляпные коробки — все проваливалось. Таможенники по стуку стали обнаруживать «Искру». — Конкордия подлила теплой воды в таз. — Действие рождает противодействие. Этот клеевой состав изобрели недавно. Им пропитывают листы отпечатанной бумаги без ущерба для текста. Склеивается много листов — и объем получается небольшой, и для таможенников практически неуловим. Вот полюбуйся: прекрасные картины Бёклина и не менее прекрасные номера «Искры».

Конкордия осторожно отдирала один от другого тонкие листы газеты, бережно раскладывала их на кружевном покрывале.

Куделли расцеловала подругу,

— Необходимо распределить литературу по районам, особенно в Заволжский. А то там крутятся дамы-благотворительницы из «Общества доброхотной копейки». Сами копейки в базарный день не стоят, а вреда от них... Кружки нужны. Возьмешься?

— Конечно! — Конкордия ловко прихлопнула мокрый листок на стенное зеркало.

ГЕНИАЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ЭДИСОНА

Конкордия зачастила в Троицкую церковь, старинную, семиглавую. Стояли успеньевы дни. Верующие толпами валили по деревянному мосту через Тьмаку — мутную речушку, на берегу которой возвышалась церковь.

На рябой от дождя реке дрожало и множилось отражение витых куполов. Конкордия задержалась на мосту, осторожно осматриваясь по сторонам. Да, опять этот тип в серых панталонах и соломенной шляпе, надвинутой на глаза. Она приметила его в конке. Попетляла по пыльным улочкам и вновь обнаружила на мосту. Шпик... Девушка подождала, пока с ней поравняется тучная купчиха, окруженная домочадцами, и вместе с ними вошла в церковь.

Было прохладно и угрюмо. Продолговатые оконца едва пропускали свет. Железные решетки разрезали солнечные лучи. Круглые деревянные своды поддерживались массивными столбами, отчего в церкви казалось тесно. Низко опускалось железное кованое паникадило с шандалами в два яруса. Сверкали царские врата, переливаясь цветной слюдой. Над алтарем пестрела роспись, изображающая благовещенье. Пресвятая дева склонилась над прялкой, искрились рубиновые нити, голубело покрывало.

Гнусаво пел дьячок с козлиной бородкой, тихо разливался хор на клиросе. Конкордия дождалась окончания обедни. Заторопилась, укутав голову кружевным шарфом. Видела, как шпик тревожно вглядывался в толпу, нервно мял папироску в руке. Толпа повалила густая, уйти удалось незаметно.

На отшибе, неподалеку от Троицкой церкви, притаился домик старинной архитектуры. Резные наличники на окнах украшали его. Покрывшееся крыльцо скрывали кусты дикого персика с серебристым благовонным листом. Домик утопал в яблоневом саду. Клонились ветви, усыпанные антоновкой. Листьев не видно — одни яблоки. Лишь тропинку, ведущую к дому, окаймляли пушистые сибирские пихты.

Этот укромный дом разыскала Куделли для особо конспиративных целей. Охранка орудовала так яростно, что типографии проваливались раньше, чем начинали работу. Последней провалилась типография в лесной сторожке близ Дорошихи. Оставшийся шрифт Конкордия собрала по горсточке, зашила в холщовые мешочки. Шрифт переносила небольшими порциями, боясь привлечь внимание охранки. И вдруг этот шпик. Случайность? Или?..

— Наконец-то, Кона! — Куделли встретила ее в полутемной прихожей. Конкордия уловила настороженность в ее глазах. — Опоздала-то как.

— Ровно на обедню. — Конкордия улыбнулась, чтобы успокоить подругу. — Проторчала в церкви. Право, славное соседство.

Конкордия осторожно сняла жакет, отвязала мешочки со шрифтом. По сдержанным движениям Куделли поняла, что ее подруга взволнована.

— Кона, что произошло?

— Шпик. Субъект в серых панталонах со стертым лицом... — Конкордия развела руками. — Благо, кончилась обедня, смешалась с толпой.

— Нет, это не случайность! — словно читая ее мысли, отозвалась Куделли. — Поспрашиваю в комитете, а пока прекрати ездить в Дорошиху. Типография, к сожалению, несбыточная мечта...

— Прекратить поездки согласна. Шрифт-то перенесла весь — два пуда по горсточке. Типография...

— Перестань, Кона! Станка нет, наборных касс нет, печатников нет. Полковник Уранов подрезал основательно. А тут еще шпики завертелись.

— Я тебе расскажу прелюбопытную историю со слов Бонч-Бруевича, только наберись терпения, о том, как в Москве повторили изобретение Эдисона — мимеограф...

В окно ударили крупные капли дождя. Куделли разогрела на спиртовке кофе.

— Ну и погодка! В такую только и слушать истории. — Она заметно повеселела, усадив Конкордию за стол.

— Как-то в газетах промелькнуло сообщение о гениальном изобретении Эдисона — мимеографе. Аппарат легко и быстро воспроизводил с печатного листа до тысячи оттисков. Конечно, подпольщики заинтересовались. На Кузнецком мосту в магазине Блока публика глазела на мимеограф: компактный, блестящий, изящной отделки. На Кузнецкий мост зачастил и Бонч-Бруевич. Мимеограф нужен был в подполье, но стоил больших денег. Изготовить мимеограф взялся Радин, связанный с марксистами. Взялся! Легко сказать, когда ничего не известно. Думали-думали и надумали... — Конкордия лукаво сощурилась. — Однажды в магазине появились четверо молодых людей в костюмах велосипедистов: узкие бриджи, шапочки с кожаным козырьком. Бонч-Бруевич накануне обегал всех знакомых, чтобы раздобыть эти костюмы. Радин вырядился посолиднее: еще бы, дядюшка четырех недорослей! В магазине продавались велосипеды. Красные, с никелированными спицами, низкими сиденьями, они стояли в углу, удивляя москвичей своей дороговизной. Хозяин магазина Блок, немолодой коммерсант, засуетился около

покупателей, желавших приобрести сразу четыре велосипеда. Доказывал их преимущества, особливо подчеркивая, что шины из каучука. У Бонч-Бруевича глаза разгорелись...

Куделли посмеивалась, слушая подругу. Она хорошо знала Бонч-Бруевича, высланного в Тверь под надзор полиции. Высокий, сутуловатый, *с* добрыми близорукими глазами, он оживал в рассказе Конкордии.

— Неужто Бонч-Бруевич такой заядлый гонщик? — прервала ее Куделли.

— Да, отчаянный! Можно представить, что он чувствовал, когда осматривал эти чудо-машины. Торговались долго. Дядюшка сдерживал молодых людей, затевавших невиданное дело — поездку в Петербург во время летних вакаций на велосипедах. Блок уверял, что молодые люди правы и на Западе поездка на велосипедах дело привычное. За велосипедами Радин пообещал зайти через денек. На прощанье дядюшка остановился у мимеографа, посмеялся над блестящей, но бесполезной игрушкой. Хозяин обиделся. По секрету сказал, что за продажей мимеографов наблюдает полиция: каждый аппарат на учете, и смешного в этом мало. Более того, протянул схему, которую дядюшка небрежно засунул в карман резинового пальто: посмотрит, мол, на свободе. У него завод, надо множить документы. И тут свершилось то, ради чего была затеяна эта комедия. Хозяин решил показать прибор в действии. Радин развалился в кресле, племянники окружили аппарат. Блок намазал мимеограф краской, наложил вощеную бумагу, начал вращать ручку. Появились оттиски. Племянники незаметно делали свое дело: кто отковырнул краску, убрав в пробирку, кто засунул в карман вощеную бумагу, кто задавал отвлекающие вопросы. Так закончился визит в магазин Блока. Начались мучительные поиски. В московском подполье у Новодевичьего монастыря повторили мимеограф — и это все при первобытной технике, в условиях тяжелейшего подполья! — Конкордия помолчала. — И понимаешь, Паша, меня больше всего поражает настойчивость, с которой связан каждый шаг в нашей многотрудной жизни.

— Так ты захотела повторить мимеограф? — удивилась Куделли.

— Не совсем. Но не следует забывать, что есть шрифт, богемское стекло, краски, а главное — желание! Подожди, скоро Уранов опять будет хвататься за голову — в городе заработает типография. Владимир Ильич очень интересовался печатным делом на Западе. Он настаивал, чтобы в Россию перевозили матрицы, тогда типографии оказались бы избавлены от самой

трудной части — набора. Но как это сделать здесь? Ты, Паша, дай-ка мне в помощь Потапыча — печатник он хороший, да и человек проверенный.

Наборных касс достать не удалось. Потапыч покачал головой и по привычке подвязал седые волосы тесьмой. чтоб не падали на глаза. Конкордия долго не могла привыкнуть к литерам. Потапыч дивился ее упорству и лишь изредка покрикивал, когда она не сразу узнавала нужную букву. В комнате душно, пахнет краской. В окна вставили щиты, обитые войлоком. Конкордия сутками не выходила из типографии, сказав родным, что гостит у подруги. Дома верили и не верили. Конкордия жалела мать, но дела оставить не могла. У Потапыча неожиданно поднялась температура, и первый набор пришлось делать самой. С пинцетом в руках старалась она извлечь из груды литер одну, нужную ей. Мешочки путались, шрифты высыпались, и приходилось вновь и вновь копаться с набором...

Медленно росла стопка отпечатанных листовок.

«События всколыхнули застоявшееся болото нашего захолустья, заставили говорить о себе и город, и деревню, и фабричную массу. Теперь все убедились, что наши ряды, ряды борцов за человеческое счастье, не фикция. Теперь все убедились, что социал-демократы и у нас в Твери представляют из себя известную силу, силу организованную и революционно настроенную...»

Конкордия перечитала листовку, удовлетворенно вздохнула. Скоро одиннадцать. Через час придет Куделли, чтобы разнести пачки по городу. Вот когда пригодятся модные накидки, скрывающие фигуру. Сильно удивилась бы матушка, увидев, как располнела ее дочь за эти сутки! Концы по городу предстоят немалые — казармы гренадерского полка, фабрика Берга, Морозовская мануфактура. А там уже товарищи расклеят их на стенах домов, на уличных фонарях и до дверей полицейских участков доберутся. Полковнику Уранову придется побеситься. В Твери подпольная типография!

Задребезжал звонок. Конкордия прислушалась: два длинных, один короткий. Условный. Но почему не в назначенный час? Потапыч сдвинул очки на кончик носа, откашлялся.

— Пожалуй, «тетушка» пришла за товаром.

У Конкордии дрогнуло сердце: до прихода Куделли целых сорок минут, без крайности она беспокоить не станет. Помедлив, осторожно прикрыла дверь каморки, где печатали листовки, набросила кружевную накидку. Улыбнулась Потапычу, прежде чем запереть его на ключ. Положила ключ в горшок герани,

припорошив землей. Только после итого пошла к двери.

— Хорошо, что застала тебя! — Куделли раскраснелась от быстрой ходьбы, тяжело дышала. — Кона, из города нужно завтра же уезжать!

— Что случилось? У меня завтра занятия, да и вообще я не собираюсь покидать город.

— Так решил комитет. В кружке провокатор. Кажется, Волнухин. О тебе известно в полиции, адрес прослежен. Уранов подписал ордер на арест. Вот деньги. Переждешь день на квартире доктора Ваксмана, с ним договорено. Утречком принесу билет до Екатеринослава…

— В Екатеринослав! — не могла прийти в себя от изумления Конкордия.

— Да… Явка на Пушкинской улице у зубного врача Фриче. Пароль: «Мне нужно вставить фарфоровый зуб». «Фарфорового зуба у меня нет. Приходите завтра. Возможно, привезут из Гомеля». Запомнила?

Конкордия кивнула.

— Фриче свяжет с комитетом. Дела там тяжелые — провалы, обыски, да и типографию нужно ставить. — Куделли прижалась к Конкордии, тихо гладила ее по волосам. — Если бы ты знала, как трудно мне с тобой расставаться. Кружковцы полюбили тебя, в комитете меньшевики притихли…

— Да… А как же листовки?! Мы с Потапычем славно поработали. Знаешь, набор почти ничем не отличается от настоящего. Жаль бросать дело! Может быть, все не так серьезно? — Конкордия с надеждой смотрела на Куделли.

— Нет, весьма сложно. Уранов завербовал провокаторов среди рабочих. Допрашивал арестованных сам, предлагал папиросы, рассказывал о социалистах, «волках в овечьих шкурах». В общем второй Судейкин. Вот на такую удочку и попался Волнухин из твоего кружка. Парень он молодой, в рабочей среде не варился, на деньги жадный.

— Попроси зайти ко мне Калерию попрощаться, а то волноваться будут. Она и матушку подготовит.

— Как же, Кона? За домом, наверное, слежка. А главное, водить на конспиративную квартиру без надобности… — Куделли развела руками.

— Я могла бы встретиться с нею в городском саду или у Отроч-монастыря.

— Нет, рисковать не стоит. Подумаю, что можно сделать.

В окно ударили крупные капли дождя. Ветер поднимал опавший лист и пригоршнями бросал его на низенький домик.

День хмурился. Низкие облака прикрыли солнце. Потемневший липкий снег завалил мостовую Екатеринослава.

Конкордия в модной шубке, отделанной белкой, замерла у строгого двухэтажного особняка и смотрела, как по Екатерининскому проспекту проползала жиденькая патриотическая манифестация. Началась русско-японская война, и лавочники собрались на улицах с царскими портретами и хоругвями. Манифестантов сопровождал наряд полиции. Впереди маршировали два купца с царским портретом в руках. Шли они не в ногу, и потому царь переваливался с боку на бок. Уличные мальчишки, сдвинув на макушку меховые треухи, бежали за процессией. Хрипло, нестройно звучало:

Боже, царя храни!..

Боже, царя храни!..

У механической мастерской братьев Гаркснис процессия остановилась. В воротах показались мастеровые в холщовых фартуках. Под настойчивые окрики полиции неохотно стянули шапки. Вперед пробрался подросток с лицом, перемазанным мазутом, в небрежно наброшенном на худенькие плечи пиджаке. Огляделся. Выскочил на мостовую, прямо в огромную лужу, и начал разбрызгивать грязь. Грузный городовой, приподнимая полы черной шинели, кинулся к подростку. Но тот не испугался и, смешно копируя неуклюжего городового, скрылся в проходном дворе.

Рядом с Конкордией щеголеватый офицер громко возмущался поведением мальчишки и неловкостью городового. Офицер оказался знакомым. В одном купе ехали из Киева. Конкордия получила транспорт литературы в Киеве и теперь возвратилась в Екатеринослав, где поселилась после своего бегства из Твери.

В поезде Конкордия обрадовалась попутчику-офицеру. За ней началась слежка. Замелькал человек в коричневом пальто с каракулевым воротником и с неизменной газетой, прикрывавшей лицо. В Киеве стоило немалого труда отделаться от шпика, но у поезда тот ее поджидал. Офицер, который выказывал Конкордии явные знаки внимания, видно, сбил его с толку. В Екатеринославе коричневое пальто не появлялось, но настороженность не покидала девушку. На вокзале в Екатеринославе Конкордию не встретили, хотя телеграмму она подала заблаговременно. Девушка мучительно соображала, куда ей направиться со своим чемоданом. Извозчиков у вокзала не оказалось. Очевидно, заняты полицией в связи с происходившей манифестацией. Пришлось пойти с офицером. Он нес чемодан, проклинал бездельников

извозчиков, сердился на полицию. Время тянулось, а Конкордия все не могла придумать, как отвязаться от попутчика. Не вести же его на конспиративную квартиру?.. Офицер добивался адреса. Конкордия посмеивалась: что ж, назвать Чечеловку, рабочий район, где она снимала комнату у путевого обходчика?..

Офицер вопросительно взглянул на девушку. Розовое лицо с аккуратной ниточкой усов. «Уж не догадывается ли? Кажется, кокетством и жеманством больше не продержаться». Лукаво улыбнулась, грассируя, сказала:

— Благодарю вас, блужданиям нашим пришел конец. Я дома. — Она подняла глаза на блестящую медную табличку на парадном.

— «Присяжный поверенный А. А. Александров»! — удивленно прочитал офицер. — Вот уж не думал.

Конкордия повернула голову. Действительно, она остановилась у дверей известного в городе адвоката. Скромно потупила глаза и, едва удерживаясь от смеха, проронила:

— Да, это мой родственник. — Подхватила чемодан, протянула руку в тонкой перчатке. — Принимаем по вторникам и субботам. Милости прошу!

Грациозно наклонила голову, нажала кнопку звонка. Массивная дверь распахнулась. Конкордия подала бородатому швейцару чемодан, оглянулась. Офицер приветливо кивнул, затянулся папироской и неторопливо двинулся вдоль улицы.

— Мне нужен господин Александров, — сказала Конкордия, втайне надеясь, что адвоката не окажется дома.

— Прошу наверх. Разрешите? — Швейцар помог Конкордии снять пальто и с легким полупоклоном указал на лестницу.

Конкордия машинально оглядела себя в зеркало. Узкое темно-серое платье, шапочка-пирожок, беличья муфта. Провела рукой по лицу, словно собираясь с силами, и поднялась по лестнице. Черные ботинки утопали в пушистом ворсе ковра.

Александров, высокий мужчина с энергичным лицом и орлиным взглядом, принял приветливо. Она опустилась в кожаное кресло, лихорадочно соображая, как начать разговор.

— Чем могу служить, сударыня? — Его черные глаза изучающе смотрели на девушку.

— Решила посоветоваться с вами. Моего кузена арестовали и отдали в солдаты во время студенческих волнений. Хотелось бы знать, есть ли юридическая возможность освободить его и вернуть в университет?

— Простите, с кем имею честь разговаривать? И кем вы интересуетесь?

— Мне нежелательно называть фамилию. — И, стараясь

смягчить отказ, добавила: — У меня есть причина...

— Сударыня, как же я могу быть полезен, если вы решили не называть себя? — Он откинулся в кресле и забарабанил пальцами по сукну. — При таких условиях я вряд ли что могу сделать.

— Простите, я не хотела вас обидеть. — Девушка была искренне огорчена. — Разрешите мне зайти в другой раз...

Конкордия выпрямилась, Невольно посмотрела в окно. У парадного топтался субъект в коричневом пальто с каракулевым воротником. Она почувствовала, что бледнеет. Адвокат тоже взглянул на улицу, вздохнул, спросил с нарочитой небрежностью:

— Вы пришли с вещами?

— Да... Попросите швейцара вызвать извозчика и подтвердить при необходимости, что я ваша дальняя родственница. Мне нужно вернуться на вокзал. Может быть, успею к вечернему поезду...

— Гм, родственница, дальняя родственница... — Пальцы его все быстрее барабанили по столу. — А пока по чашке кофе?

Швейцар вытащил чемодан. Александров проводил Конкордию до извозчика, раскланялся. Извозчик гикнул, лошади понеслись.

У вокзала Конкордия увидела знакомого студента-технолога, которому должна была передать чемодан. Он беспокойным взглядом окидывал толпу. Девушка подняла руку, студент поспешил навстречу.

— Как я рад! Кто знал! Оказывается, с сегодняшнего дня курьерский приходит на два часа раньше обычного. — Он бережно снял чемодан. — Да, забыл на радостях, вам письмо. Держите...

...В маленький домик на Чечеловку Конкордия добралась к вечеру. Долго не решалась распечатать конверт, надписанный круглым детским почерком Калерии.

Припомнился последний вечер в Твери. Мать повидать не удалось. За домом следили, и она боялась подвергать родных опасности. Торопливо написала записочку Калерии: просила собрать самые необходимые вещи, уложив их в парижский саквояж.

В окно стучал ветер кленовым листом, по темному стеклу текли дождевые капли. Гнулись и скрипели деревья в саду. Конкордия прижалась лицом к окну, вслушивалась в вой ветра и шум дождя. Поезд отправлялся ночью. Она ждала сестру.

Дрогнула калитка. Закутанная Калерия перепрыгивала через лужи. Конкордия распахнула дверь, поцеловала сестру. Свет в прихожей не зажигали, и на лице Калерии выделялись лишь

черные дуги бровей да пухлый полудетский рот. Конкордия сжимала худенькие плечи, чувствуя, как все тело содрогается от рыданий. Поправила мокрые пряди волос, выбившиеся из-под шляпки. Калерия смущенно улыбнулась и торопливо стала рассказывать, что из вещей удалось ей принести. Робко протянула шитый бисером кошелек с деньгами. Оказывается, ее в парадном встретил Иннокентий Иннокентьевич, потребовал сказать, куда собралась в такое ненастье. Она отказалась отвечать, тогда он выдернул ключ из двери. Калерия, боясь опоздать, выложила правду. Шурин достал из кармана деньги, отдал их ей. Конкордию это растрогало. Понимала: ему без неприятностей не обойтись. Сестра просила адрес, по которому можно будет писать. Конкордия грустно рассмеялась: адреса она и сама не знала. Решили писать в Киев на имя знакомого студента Шипова, а тот уж будет эти письма пересылать по назначению.

Провожать себя на вокзал Конкордия не разрешила. Опасно. Чавкала грязь под копытами тощей клячи. Дождь хлестал. Сутулился извозчик в брезентовом плаще. Раскаты грома перемежались яркими вспышками молний. Конкордия вымокла до нитки, зонт не спасал. Надеялась, что в такую непогоду мало найдется охотников торчать на вокзале. По перрону торопливо пробегали пассажиры. Падал косой свет из окон вагонов, да в лужах дрожали зеленоватые круги станционных фонарей. Она поплотнее повязала голову платком и, разбрызгивая лужи, прошла к вагону второго класса.

По условленному адресу она написала сразу же. Вести доходили тревожные. Уранов проявил в поисках редкостную настойчивость, которой она не находила объяснения.

Калерия держится молодцом; а ее лишили права выезда из города, отдали на поруки Иннокентию Иннокентьевичу, фотографируют как преступницу. Почему-то гнев Уранова обрушился на нее.

И вот теперь пришло письмо:

«14 января. Уже два месяца, как мы ниоткуда не получаем писем, за исключением твоих последних, которые ты мне послала по последнему адресу. Когда Ин. Ин. спрашивал, почему не доставляют нам писем, то ему сказали, что они лежат в «бесовском учреждении» нераспечатанными, а когда их вскроют, то, пожалуй, найдут в каком-нибудь из них твой адрес, а ведь это самое печальное: тебя найдут. Если ты можешь, то сама, конечно, поразмысли, что тебе предпринять: оставаться в этом городе или уехать куда-нибудь. Я уж, право, не знаю. Когда будут распечатывать письма, наверное, позовут и меня. Но когда это

будет — для меня неизвестно. Ты, Кона, пиши мне пока одной по адресу: Винный склад, такому-то, как и писала. На Ин. Ин. не посылай никаких известий... Деньги пересылаем тебе на имя Нины Вас. Зощенко, от нее ты и получишь. Последний мой адрес не опасен, можешь пока писать. Остаемся все здоровы, чего и тебе желаем. Пиши».

Конкордия задумалась. Закоптила лампа, запахло керосином. Фиолетовые язычки лизали стекло, оставляя широкие бархатистые полосы. Вздохнув, она распечатала книгу, пересланную из Твери. Нашла тринадцатую страницу, принесла чугун с кипящей водой, сняла крышку. В лицо ударила горячая волна. Осторожно подержала страницу над паром. Между строк выступила тайнопись. По размашистому почерку узнала руку Куделли.

Паша писала, что против Конкордии в Твери возбуждено дело по обвинению в политическом убийстве. Оказывается, в ночь ее отъезда убили Волнухина — кружковца, которого уличили в провокаторстве. И в этом убийстве подозревается она.

Уранов разослал особые циркуляры с описанием примет Конкордии. Объявлен всероссийский розыск. Даны телеграммы на пограничные пункты о ее незамедлительном аресте и препровождении по месту совершения преступления. Послан запрос в Иркутск и настоятельное требование о задержании... Выехал филер в Москву... Калерию допрашивали долго, с пристрастием. Полковник Уранов делает карьеру: политическое убийство! Интриган! Ему нужен громкий процесс...

Ходики, заскрипев, пробили восемь. Прокричала деревянная кукушка, выпрыгнув из игрушечного домика. Конкордия натянула поношенное пальто. Неподалеку в Чечеловке собирался кружок, она торопилась.

ЭТАПОМ В ТВЕРЬ

Буферные тарелки ударили переливчато. Вагон подпрыгнул, быстро застучали колеса. Слабо мерцала свеча в железном фонаре. Скрипели полки под грузными телами жандармов.

Жандармов было четверо. Двое сидели напротив Конкордии, опираясь на шашки. Ночное время поделили между собою: двое храпели, эти бодрствовали, не спуская с арестованной глаз. Унтер, крупный рябоватый мужчина, курил, стоя у окна. На остановках ревниво следил за всеми, кто подходил к купе.

Конкордию усадили в углу. Арестовали ее на Чечеловке в тот день, когда она получила письмо от Калерии. Арестовали по доносу провокатора. В домике железнодорожника Ястребова, где собирались кружковцы, снимал комнату Салата, рабочий. Был он молод, не обременен семьей, не задерган заботами, но всегда угрюм, озлоблен. Она не вступала с ним в разговоры, не разрешала себя провожать. Удерживало какое- то подсознательное чувство. Хозяин, косая сажень в плечах, встретил ее в тот вечер с обычной приветливостью. На столе шумел самовар, Салата бренчал на балалайке на случай появления нежданных гостей.

Конкордия, скромно одетая, походила на кухарку. Знала, что ее разыскивают, каждый раз прибегала к маскараду, когда отправлялась на занятие кружка. Из дома выходила в парадном жакете, отделанном белкой, и меховой шапочке. В руках саквояж, а в нем — потертый жакет с тесьмой, черный платок. Неторопливо шла по Пушкинской, заходила на конспиративную квартиру к зубному врачу. Там снимала модный костюм. Низко повязывала голову платком, напяливала потертый жакет и исчезала черным ходом. Кухарка, ищущая место... Однажды она столкнулась с филером, тот равнодушно отвернулся, не спуская глаз с заветной двери. Ждал! Товарищи советовали ей оставить кружки, но она не соглашалась. В тот вечер говорили о русско-японской войне. И вдруг в комнату ворвалась полиция.

Ротмистр усадил напротив Конкордии жандарма с револьвером и запретил двигаться. Обыск производили тщательно. Главное, что заботило ротмистра, — оружие. Девушку заставили положить руки на стол, заявив, что при первом резком движении будут стрелять. Ее принимали за террористку.

С грустью смотрела Конкордия, как бесчинствовали в уютном домике, срывали со стен вышитые коврики, разворошили кровать, швыряли на пол подушки. По комнате летал пух. На крашеные половицы длинной кочергой выгребали золу, осторожно перекидывали тлевшие угли. Железными крюками поднимали половицы. Черноглазая хозяйка только всплескивала руками, но муж останавливал ее. Ротмистр снял икону со стены. Икону перевернули, выломали заднюю крышку, а потом, разоренную и растерзанную, оставили на полу. Хозяин покрутил головой от такого святотатства. Да и на всех этот поступок произвел

отвратительное впечатление: вот она, власть, которая твердит о божественном начале всех начал! Ротмистр спохватился, приказал повесить икону, но повесили ее криво, словно бросили на стену и она прилипла.

Обыск результатов не дал. Конкордия радовалась. Накануне она долго спорила с Ястребовым: листовки за иконами, литература под половицами — все эти уловки известны полиции. А тайничок в сарае, засыпанный опилками и заложенный дровами, — дело надежное. С какой благодарностью глядела на нее хозяйка, понимая, что при отсутствии улик муж отделается легко.

Ротмистр интересовался только Конкордией. Рабочим он заявил, что верит в их добропорядочность, вот только следствию они должны помочь. Начал расспрашивать, тщательно занося ответы в протокол. Только никто не признался, что видел девушку раньше, что здесь происходило занятие кружка. Конкордия отказалась назвать свое имя, сказав, что забрела в домик случайно в поисках работы. Ротмистр, иронически осмотревшись по сторонам, бросил: «Конечно, в таком хозяйстве требуется экономка-мажордомша!» Конкордия спокойно продолжала объяснять: «Нет, зачем же? Хозяйка работает кухаркой у присяжного поверенного Александрова. Думала поговорить, может, поспособствует...» Женщина одобрительно кивала головой. Все присутствующие заявили, что собрались на именины хозяина. Кстати, это совпало с николиным днем. Все, кроме Салаты... Дело не в том, что он ее выдал. Конкордию арестовали бы и без показаний Салаты: жандармы знали, кто она. Но человеческая подлость всегда причиняла боль. Предал товарищей, друзей... Салата стоял особняком, будто прокаженный. Он рассказал все: о тайной сходке, которой руководила эта интеллигентка, о том, как оскорбительно и неуважительно отзывалась здесь о царе-батюшке. Ротмистр словно помолодел: рука его быстро бегала по бумаге. Он старался найти подтверждение у других, но те угрюмо молчали. Лишь хозяйка ругалась да стыдила доносчика. Ротмистр приказал выпроводить ее на улицу.

Конкордию отправили в жандармское управление, где без промедления ее принял полковник. Предъявили фото петербургского ареста, выписку из дела... По торжественности, с которой допрашивали, чувствовалось, что всему придают большое значение. Ее даже сносно кормили, на окне стоял глиняный кувшин с молоком: отпаивать на случай отравления.

Спать не пришлось. У волчка торчал надзиратель, в камеру каждый час заходил офицер. А потом вели через весь город к

вокзалу. Девушка с трудом вытаскивала ноги из грязи. Сыпал липкий снег с дождем. Конец февраля для Екатеринослава — начало весны. С крыш валил густой пар, звенела весенняя капель. На улицах толпа. А она тащилась по мостовой, прижимая к груди узелок. Впереди жандарм на рыжей лошади, которая забрасывала Конкордию грязью. По бокам жандармы с шашками наголо. Трудно поспевать за их шагом, ноги проваливались в рыхлый снег.

Раз-два... Раз-два... Раз-два... Так шли жандармы, привыкшие к муштре. Раз-два... Раз-два... Так шла она.

На повороте Конкордия заметила адвоката Александрова. При виде процессии он быстро надел пенсне, лицо сделалось озабоченным. На мгновение глаза их встретились. Конкордия улыбнулась, благодарная ему за ту, первую встречу. Александров держал под руку девушку. «Дочь», — поняла Конкордия. В глазах девушки светилось восхищение. Она демонстративно поклонилась арестованной.

На вокзале ее устроили в комнату дежурного жандарма. К вагону проводили с осторожностью. Прошла сквозь строй черных мундиров, вызывая любопытные взгляды. Проследить за отправкой приехал сам полковник. В его поспешности уловила тревогу. Боялись каких-либо инцидентов, и все же инцидент произошел. Ястребов солидно стоял неподалеку от вагона. Конкордия с трудом заставила себя сохранить серьезность. Шляпа-котелок, щегольское полупальто — все это так мало подходило добродушному гиганту. Она старалась не глядеть на него. Как можно быть таким легкомысленным! Но все же внимание друзей ее тронуло. Забылся позорный путь по городу, наглый блеск шашек и это страшное: раз-два... раз-два... раз-два...

Ястребову удалось бросить ей букет первых фиалок. Кажется, жандармы даже успокоились: они ожидали бомбы, а тут фиалки! Ястребова увели, а измятый букет вернули ей. И вот теперь она прикладывает к разгоряченному лицу цветы. Друзья мои, товарищи!..

Поезд разрезал темноту. В желтом свете фонарей мелькали полустанки. На каждой станции их встречали жандармы. Тверь, окутанная молочным туманом, приняла неприветливо. Грязные сугробы на разъезженной мостовой, голые липы на Дворянской улице.

И опять Конкордию вели под конвоем жандармы. На Дворцовой площади били старинные часы. Двенадцать! Обычно в это время возвращалась из городской библиотеки Калерия. Только бы не встретить девочку, не испугать ее. Каково ей будет

увидеть сестру, окруженную жандармами с шашками наголо!

Так и есть! На перекрестке у театральной тумбы стояла Калерия. Конкордия сразу узнала ее. Вот она отпрянула от тумбы и расширенными глазами глядит на приближающуюся процессию. Ветерок дергает пелерину, концы полосатого шарфа. Конкордия с тревогой всматривается в лицо сестры. Калерия сделала несколько нетвердых шагов, побледнела. Большие, как у матери, глаза потемнели от волнения. Она поднесла руку к губам, стараясь не закричать. Конкордия сжалась, словно хотела стать меньше, незаметнее, боялась окликнуть сестру, боялась не выдержать. «Бедная моя девочка, как много горя выпало на твою долю! Крепись, крепись!»

— Про-хо-ди! — пригрозил жандарм.

Калерия не вытирала слез. В грязи лежала папка с тетрадями — она даже не заметила, как обронила ее. Она тоже страшилась окликнуть сестру. Конкордия поравнялась с тумбой,

у которой замерла Калерия. Глаза ее потеплели в улыбке, да слегка вздрагивали губы. Жандармы маршировали по бокам. Раз-два, раз-два, раз-два... Ноги скользили по грязи. Раз-два, раз-два, раз-два...

Тверская губернская тюрьма была старой, прошлого столетия. Камера, куда поместили Конкордию, мало чем отличалась от екатеринославской одиночки. Сырая, мрачная. Окно, как иллюминатор, под сводчатым потолком за двойной решеткой. Койка привинчена к полу. Соломенный матрац и засаленное одеяло. Конкордию пытались переодеть в арестантское платье, но девушка заявила прокурору протест. Теперь знала порядки!

Тоскливо разглядывала она весеннюю синь за окном. Кажется, надолго — обвинение в политическом убийстве. В городе аресты. Уранов устраивал очные ставки, приводил рабочих-кружковцев. По их расстроенным лицам, по сочувственным взглядам понимала: признали. Один такой взгляд перехватил ротмистр. Подскочил к старому рабочему.

— Узнал? Она Вера, она же Конкордия Громова...

— Нет, такой не видел. У нас была другая барышня. — Старик низко ей поклонился.

Ротмистра взорвало.

— Ты чего, мерзавец, поклоны отвешиваешь?! Говоришь, не та, а сам кланяешься? Хочешь в каталажку за ложные сведения, старый черт?!

— Не кричи, ваше благородие, — спокойно ответил старик. — Сказал, не знаю. А поступаю я по обычаю. — И он опять низко поклонился девушке.

Ротмистра сменил следователь Матушкин, ее давний знакомый по Петербургу. В чем-то провинился, его перевели в Тверь. Матушкин сидел респектабельный, насупленный. Очные ставки отменил, увидев их бесполезность. От показаний Конкордия отказывалась. Матушкин пригрозил лишением прогулок, но почему-то медлил. Видно, понимал ложность обвинения.

— Вы анархистка?

— Почему анархистка? Я сторонница разумного порядка.

— И поэтому наводняете русское государство листовками, надеясь подорвать существующий строй? Ей-богу, вы заблуждаетесь! Зажигательными прокламациями можно лишь папиросы зажигать.

— В таком тоне говорить отказываюсь!

При допросе присутствовал Уранов. Он возразил громко, зло. Конкордия, отвыкшая в одиночке от шума, с трудом слушала его.

— Заставим, непременно заставим! Потом на коленях будете просить, чтобы приняли показания! Только я не приму, да-с, не приму!

— Пустое! Распорядитесь отправить меня в камеру. И предупреждаю, что при первом же посещении тюрьмы прокурором заявлю протест на недопустимое ведение следствия! И на допросы являться не желаю.

— Силой приведем! Вы приложили ручку к такому делу, за которое веревочка полагается. — Уранов гаденько рассмеялся. — Веревочка!

Матушкин прикрыл глаза ладонью. Он старался вызвать подследственную на разговор, а этот солдафон... Матушкин морщился, как от зубной боли.

— Прикажите отвести меня в камеру! — требовательно повторила Конкордия. — Вы унижаете не меня, а себя.

С того дня Конкордию на допросы больше не вызывали. Она сидела в камере и целыми днями читала немецкие книги из тюремной библиотеки. Прогулок и права переписки ее лишили.

Конкордия страдала от неизвестности. Правда, надзирательница намекала, что за пятерку передаст записку, но Конкордия, боясь подвоха, отказалась. И вдруг заговорила стена. Послышались удары — неуверенные, слабые, словно через вату. Бросилась на койку, прижалась к холодному камню. Неужели в соседней камере, так долго пустовавшей, появилась узница? И эта узница... Паша Куделли! Конкордия оживленно принялась выстукивать и вдруг опустила руку. А если? Нет, нужно убедиться, непременно убедиться...

Конкордия переступила порог своей камеры. Она попросила

свидания с Матушкиным и, разумеется, сразу же его получила. Другого пути выбраться из камеры не предвиделось. За долгие бессонные ночи все обдумала, рассчитала. Дежурный надзиратель впереди. Конкордия сделала несколько шагов, наклонилась поправить шнурок на ботинке. Надзиратель повернулся, недовольно поморщился. Конкордия бросилась к дверям соседней камеры. Под рукой скользнула круглая, как пятак, железка. Конкордия прилипла к волчку. За столиком сидела Куделли! Голова склонилась над книгой, крупные белые руки лежали на коленях.

— Паша! — звонко позвала Конкордия.

Прасковья Куделли сорвалась с табурета.

— Кона!..

Коридор наполнился криками. Заключенные барабанили и железные двери, раздавались громкие голоса. Громову схватил надзиратель, невзирая на отчаянное сопротивление. Громыхали сапоги. Свистки. Вой сирены.

— В карцер! Немедленно в карцер! — орал дежурный с перекошенным от ярости лицом.

— Кона, милая! — кричала Куделли. — Что они с тобой делали?.. Кона!.. Кона!

КОРОБКА ОТ ЕЛИСЕЕВА

Над Москвой занимался поздний декабрьский рассвет. Бледным шаром проступало солнце. Клубилась поземка. Тускло мерцали газовые фонари, озаряя улицы дрожащим светом.

На Лесную улицу, застроенную невысокими двухэтажными домами, вышла дама в меховой ротонде. У резных ворот конно-трамвайного парка топтался городовой, потирая озябшие руки.

Городовой удивленно оглядел даму, поднявшуюся в столь ранний час. «Видно, из благородных. Меховая ротонда, поди, немало стоит: мех золотом отливает. А шапка-то и муфта куньи!» — размышлял городовой, устав от безделья на посту.

— Милейший, надо бы извозчика, — потребовала дама.

— Да нет его, сударыня. — Городовой подошел поближе. — Время-то какое смутное. Бастуют-с...

— Благоглупости оставь при себе.

— Слушаюсь!

— Как же я доберусь на Ордынку? У княгини Дондуковой именины. Мне непременно нужно успеть к заутрене. — Дама переменила руку, в которой держала коробку с тортом.

Коробка обычная. На блестящем картоне розы, перевязана красной широкой лентой.

Городовой виновато пожал плечами. Дама, окинув его гневным взглядом, пошла направо.

Город просыпался. На улицу выползали дворники в белых фартуках, расталкивали ночных сторожей бакалейных лавок. Сменился караул у Бутырской пересыльной тюрьмы. За зубчатой красноватой стеной виднелась Пугачевская башня с закругленными оконцами. Дама замедлила шаг, тоскливо рассматривая массивные ворота, полосатую караульную будку, солдата с винтовкой.

Ветер ударил в лицо. Она прикрылась муфтой и, повернув на Долгоруковскую, прибавила шагу. У магазина Курникова заспанный приказчик снимал тяжелые болты на ставнях. Зевал рыжий худой пес. Топтался в подшитых валенках сторож, похлопывая варежками. Вьюга закружила быстрее. Стало плохо видно дорогу. Дама обрадовалась, заслышав звон колокольчика. Из снежной пелены показалась лошадиная морда. Дама, путаясь в неудобной ротонде, перелезла через сугроб. Извозчик отвернул овчинный воротник, остановил лошадь, лениво отстегнул медвежью полость.

— Побыстрее, тороплюсь!

Старик привстал, крикнул, и сани понеслись, разрезая белую метель. Конкордия с облегчением откинулась на сиденье. На коленях коробка от Елисеева.

Вот уж пятый день, как она приехала в Москву из Одессы. Четырнадцать месяцев отсидела в тверской тюрьме, доказывая свою непричастность к убийству Волнухина. Сколько пережито допросов, очных ставок! И наконец, Уранов признал себя побежденным. При последнем свидании глухо сказал, что следствие прекращено, хотя он лично уверен в ее виновности.

— В виновность мою вы никогда не верили, да и оснований нет! — возмутилась Конкордия.

— А вся ваша жизнь? — желчно заметил Уранов.

— Жизнь, — в раздумье повторила Конкордия. — Жизнь мы понимаем по-разному.

— Жизнь! — отпарировал полковник.— Вечно по тюрьмам, нелегальным квартирам... Под страхом ареста...

Освободили девушку условно. Ходатайствовала мать, а Иннокентий Иннокентьевич внес тысячный залог. Калерия, встретив сестру в тюремной канцелярии, громко сказала: «Они оценили тебя в одну тысячу, мы — значительно дороже!» На залог пошло приданое сестры. Конкордия ушла в подполье, оказалась на нелегальном положении. И опять поздней ночью уезжала из Твери. На вокзале торчал шпик — Уранов не оставлял ее в покое. После Твери поехала в Николаев, затем в Одессу.

Одесса бурлила. Началась октябрьская стачка 1905 года, бастовал порт, умолкли фабрики. На рейде взвился красный флаг. На улицах толпы народа. В комитете засели меньшевики.

Революция приближалась неотвратимо, словно девятый вал. При первом же известии о восстании Конкордия уехала в Москву. На одной из конспиративных квартир встретила Землячку, знакомую по Екатеринославу. Землячка, маленькая, хрупкая, в строгом черном платье, приняла радостно. Привычным жестом сняла пенсне и, щуря близорукие серые глаза, расспрашивала об Одессе. Больше всего интересовалась судьбой арестованного лейтенанта Шмидта. Землячка показала газету «Известия», напечатанную на шершавой желтоватой бумаге, с призывами к баррикадным боям. Землячка входила в пятерку по руководству восстанием, и задерживать ее Конкордия не посмела. При прощании Землячка сказала: «Конкордия — хорошее у вас имя! Конкорд — значит согласие!»

Громова получила явку на Малую Лесную.

Домик на Малой Лесной походил на провинциальную развалюшку. Придавленный снежной шапкой, с тусклыми стеклами. В нем всегда горел свет. Сугробы закрывали окна;

обитая клеенкой дверь поддавалась с трудом. Но зато здесь имелось два выхода: один на Малую Лесную, где тропу зажимали разросшиеся кусты бузины, другой сливался с анфиладой проходных дворов, кончавшейся у оптовой лавки, неподалеку от Бутырки.

Хозяйка дома Мария Дмитриевна, миловидная, молодая женщина, из интеллигенток. Спокойная, неторопливая. У образа в красном углу светилась лампада. Темные блики расползались по стенам. Образок плохо уживался с внутренним убранством комнаты, заставленной ящиками и мешками.

Мария Дмитриевна, выслушав пароль, сразу же собрала на стол. Конкордия, продрогнув от долгого блуждания по незнакомой Москве, отогревалась у печи. В комнату частенько заглядывали молодые парни. Они тихо шептались о чем-то с хозяйкой и исчезали с тяжелой ношей.

В углу храпел какой-то верзила, сладко причмокивая губами. Мария Дмитриевна бесшумно двигалась по комнате, достала чугунок из печи. Запахло щами. Только теперь Конкордия почувствовала, как проголодалась за день. Хозяйка усадила ее за стол, придвинула дымящуюся миску.

Конкордию уложили на единственную кровать под ситцевым пологом. Утром она увидела: на полу вповалку спали рабочие. Положив красивую голову на руки, хозяйка прикорнула за столом. Очевидно, она не прилегла в эту ночь. Лицо ее припухло и казалось детским, напоминая чем-то Калерию.

Самовар фырчал, попахивал угольком.

Мария Дмитриевна налила Конкордии чаю, положила холодное мясо. Потом, осторожно переступая через спящих, повела в маленькую боковушку. На стене, оклеенной журнальными картинками, висела роскошная шуба, муфта, шапочка.

— Вам придется переодеться, маскарад выручает. В коробке из-под торта десять браунингов, отвезете их на Пресню. — Она поглядела на Конкордию и прибавила: — Боитесь — скажите. Здесь ничего зазорного нет. Найдут оружие — расстреляют на месте. Если спросят, откуда идете, назовите купца Мыльникова. Дом его на Бутырской, а родственников полным-полно! — наставляла Мария Дмитриевна.

Припоминая этот разговор, Конкордия и сейчас, сидя в саночках, улыбалась.

Сквозь метель разглядела всадников. Девушка вздрогнула, руки крепко прижали коробку. За время работы в подполье у Конкордии выработалось безошибочное умение предугадывать

опасность. Напряглась, подалась вперед. Саночки окружили драгуны. Тяжелые лица будто высечены из камня. Взмыленные лошади.

— Стой! — Офицер щелкнул фонариком, направив луч на Конкордию.

Свет резанул, точно плеть. Конкордия быстро овладела собой. Чуть прищурив глаза, изящно наклонила голову и на отличном французском языке обрадованно воскликнула:

— Серж! Боже мой, какое счастье!

— Сударыня, не имею чести знать! — Офицер удивленно всматривался девушке в лицо.

Конкордия высоко подняла голову. Из-под куньей шапочки выбивалась каштановая прядь, лукаво искрились глаза, кокетливо изогнулась бровь, щеки раскраснелись на морозе.

— Полноте... Припомните бал у Корсаковых на Мойке. Мазурка была ваша... — щебетала она.

Офицер придержал лошадь. Ему осточертело гонять по морозу, подозревая в каждом смутьяна и бунтовщика. Даже на барышень стал подозрительно поглядывать. Балов у Корсакова кто не знал, на них съезжался весь Петербург. И он не раз танцевал в голубом зале. Не беда, что девушка перепутала имя, поклонников наверняка предостаточно. Но как хороша! Какая осанка, сразу видна порода...

— Вам нужны документы? — насмешливо переспросила Конкордия, подчеркивая нелепость инцидента. — Мама отговаривала меня от поездки в Москву, считала ее безумием. Но мне не верится: бунтовщики сильнее правительственных войск! К тому же княгиня Дондукова сегодня именинница, а я ее крестница! — Конкордия поклонилась ошеломленному офицеру, дотронулась до плеча извозчика. — Надеюсь вас там встретить.

РОСТОВ

— Прикажете записать-с? — Сухопарый приказчик с аккуратным пробором подобострастно вручил сверток.

Рука его, худая, пергаментная, раскрыла пронумерованную книгу.

— Нет, благодарствую. — Конкордия бросила кредитку на прилавок.

— Не желаете ли чашечку кофе? — осклабился приказчик. — Свежее мокко, только что получили... Лучшее в Ростове...

— Пожалуй. И бутерброды — боюсь, не скоро попаду домой.

— Конкордия скосила глаза на окно, выходящее на Большую Садовую.

Там топтался шпик, помятый субъект, от которого ей не удавалось отделаться. Конкордия села за круглый столик и не спеша начала помешивать ароматный кофе. Да, братья Триоли — мастера своего дела...

Вот уже несколько месяцев, как она приходит в лавку Триоли делать несложные покупки. У нее даже кредит открыт. Пользуется им крайне осторожно, боясь потерять доверие хозяина. Живется трудно — денег нет.

Обыски, аресты, политические процессы... Весь этот 1906 год Громова в разъездах. Лишь последние три месяца обосновалась в Ростове. В комитете обещали достать «железку» — настоящий паспорт. Да случая подходящего не представляется.

Из Одессы уехала самочинно. Работать с меньшевиками, захватившими городской комитет, не могла. С горечью сравнивала себя с Кассандрой, пророчеству которой никто не верит. Партия готовилась к новому съезду. Фракционные перипетии и междоусобица чувствовались все больше. Нужен объединительный съезд. Но как должно произойти это объединение? Конкордия написала открытое письмо в Одесский комитет. Решила денек-другой выждать, спокойно все взвесить и отослать.

А тут новое огорчение: за ней идет слежка, усиленная, постоянная. Заметила ее неделю назад. Выходила из книжного магазина на Большой Садовой. Остановилась у витрины с новинками — проверялась. И вдруг шпик. В зеркале витрины хорошо разглядела его. Высокий блондин. В светло-серой тужурке, что вошли в моду в этом сезоне. На голове соломенная шляпа с пестрой лентой. С того дня незнакомец стал ее тенью — на проспектах, улочках, в переулках, проходных дворах. Изредка блондина подменял здоровенный детина с выпуклыми черными глазами. Кажется, заинтересовались всерьез.

А работы невпроворот! Баррикады на Темернике разгромили в пятом году. Разгромили и подпольную типографию. Недавно Конкордии вновь удалось ее поставить. Опять по горсточкам носила шрифт, собирала наборщиков, доставала бумагу. Практика богатая — в Екатеринославе, в Одессе, а теперь вот в Ростове. Хозяином типографии стал Петр Кириллов, тот самый студент Петербургского университета, из числа отданных правительством в солдаты. То были тревожные дни молодости... Метель. Вздыбленные лошади, уносящие тюремные кареты со студентами, и она, пытавшаяся передать им деньги на дорогу. Пять лет прошло. И вот встретились в ростовском подполье.

Вспомнили гражданскую панихиду у Казанского собора... Нарвский полицейский участок... Кареты с тюремными решетками...

Домик для типографии приметили в глухом переулке за высоким забором. Петр поселился с семьей — жена, грудной ребенок. Конкордия привезла в подарок коляску. Петр руками всплеснул от удивления, разглядывая шелковые бубенчики на белом верхе. Конкордия зачастила с ребенком на прогулки по городу. Крестная мать, как считали соседи. Забьет коляску листовками, сверху положит розовый матрац с кружевной простынкой, а на матрац ребенка. Мальчик славный, чернявый, с пухлыми ручонками. Какие восторженные взгляды вызывал у простосердечных обывателей!

А теперь эти прогулки с коляской прекратились. Да разве они одни! Прекратились встречи с Улитой, хозяйкой конспиративной квартиры на Байковской улице, где собирался боевой комитет. Прекратились встречи в военно-техническом бюро. А дело широко развернулось: родилась оружейная мастерская — бомбы, гранаты, взрывчатка. Мастерскую пристроили в квартире техника Усенко в одноэтажном доме в Никольском переулке. Бомбы Конкордия выносила в корзинах с грязным бельем. Из крестной матери превратилась в прачку. Два раза в неделю приходила в Никольский переулок за грязным бельем. Первое время, когда разносила бомбы, очень тревожно себя чувствовала. Но ведь нужно. Однажды Конкордия пришла за бомбами. Лил дождь, и она решила переждать в мастерской. Осмотревшись, увидела на подоконниках пироксилиновые шашки, к ним и прикоснуться-то страшно; рядом фитили для бомб. Поежившись, подошла к столу, и там — разрывные бомбы. Между окнами доска с чертежом ручной гранаты. На стуле коробка с динамитом. В углу свернулся, словно змей, бикфордов шнур. Конкордия опустилась на кровать и тут же вскочила, прочитав надпись на картонке: «Просят не садиться!» Боком подошла к столу, стала разглядывать стеклянные палочки для набирания кислот. Как можно жить и работать в таких условиях, рискуя ежеминутно взлететь на воздух со всей мастерской?! Но опасность рождала силы — это она поняла давно.

Да, здесь работали, не думая о полиции, — живыми не сдадутся. Мужеству этих людей можно позавидовать. В памяти остался красный дом и мостовая из белых плит, звонко передававшая шаги.

...Конкордия покосилась на окно. Опять торчит шпик. Видно, столичный, местные работают грубее. Значит, придется возвращаться домой, не повидав никого. Шпик поднес к глазам

карманные часы, завел их и захлопнул круглую крышку. Двенадцать. Скоро его сменят. Из-за угла вразвалку выплыл ее всегдашний в модной, светло-серой тужурке и соломенной шляпе с пестрой лентой. Перекинулись несколькими словами, и первый ушел. Всегдашний снял соломенную шляпу, вытер платком лоб. Жарко. Стоит на солнцепеке, иначе из лавки легко ускользнуть. Конкордия маленькими глотками допивала кофе. Приказчик разложил модные журналы, и она, сославшись на встречу, назначенную у магазина, сидела в томительном ожидании. В движениях шпика уловила беспокойство. Конечно, решил зайти в бузную, выпить стаканчик вина... Ушел, воровато оглядываясь. В ее распоряжении десять минут.

Конкордия поднялась, небрежно кивнула приказчику. Прозвенел висячий колокольчик над дверью. Она заспешила по Большой Садовой к книжному магазину Морозовых — там есть второй выход в переулок, в лабиринт проходных дворов и тупичков. В зеркальной витрине, заставленной книгами, увидела возвращавшегося шпика с раскрасневшимся лицом. Засуетился, не застав ее у столика...

Конкордия торопливо распахнула дверь в магазин. Не глядя на приказчика, склонившегося над кипою газет, прошла в дальнюю комнату за прилавком, скрытую от посторонних широкими полками. Села на пачку книг, уронив руки. Кажется, положение серьезнее, чем она предполагала. Слежка стала неотступной с тех пор, как ее ввели в Донской комитет РСДРП. Вынула письмо, перечитала.

«Заявляю членам бывшего Одесского комитета (большинства), что я не считаю возможным оставаться больше в здешней объединенной организации по следующим основаниям: прежде всего я нахожу, что разногласия между большинством и меньшинством по тактическим вопросам еще настолько существенны, что слияние в настоящий момент является вступлением на путь компромиссов и равносильно отказу от той единственно верной, революционной тактики, которой держалось до сих пор большинство и которая делала его левым, истинно революционным крылом РСДРП.

Слияние при наличности существенных разногласий может быть только механическим и должно привести на практике к майоризированию (то есть к простому количественному подавлению при местных условиях организации большинства меньшинством), а идейная борьба за влияние неизбежно при данных условиях окажется бесплодной и может вызвать лишь новые трения, конфликты и новый раскол. Таким образом,

слияние, создав почву для новой дезорганизации, нанесет только большой вред положительной работе. Я считаю также, что происходящее здесь слияние является актом, нарушающим в корне всякие представления о партийной дисциплине, которую так энергично отстаивало всегда большинство в своей борьбе с антипартийными и дезорганизаторскими тенденциями меньшинства...

Факты такой принципиальной неустойчивости подорвали у меня всякое доверие к местной руководящей коллегии, и это в связи с указанными раньше причинами побуждает меня выйти из Одесской организации.

Май 1906 г. Пропагандистка **Наташа**».

Конкордия запечатала конверт. Отошлет сегодня же. Она прильнула к окну, приподняв зеленую занавеску. По улице проносились пролетки. Дамы в нарядных шляпах, похожих на птичьи гнезда, высоко держали кружевные зонтики. Прогуливался чиновник. Семенила монахиня в черном глухом платье. Пробежала девочка с обручем. Няня в пышном чепце держала ручку коляски, напоминающую ту, в которой Конкордия развозила по городу прокламации. Зорко проглядывала улицу. Нет, никого — улица свободна. На углу Большой Садовой и Пушкинской синел почтовый ящик. План созрел — опустить письмо, а там трамваем в Темерник... Давно пора подыскать надежную квартиру, обзавестись паспортом. Возьмет «мытый».

В подполье — целая наука об изготовлении паспортов. Когда-то она этим интересовалась. Наблюдала, как осторожно смывали танином и щавелевой кислотой чернила, как наносили новую фамилию и приметы, как с помощью тоненькой кисточки покрывали бумагу белком для придания глянца. Конечно, при проверке такой паспорт легко разоблачали, но все же он лучше, чем ее, столь скомпрометированный.

Конкордия надела на пышную прическу шляпу с широкими полями, скрывавшую лицо, и вышла на улицу. Кажется, все благополучно. Проверилась. На Пушкинской новых лиц не появилось. Конкордия, опустив вуаль, неторопливо двинулась вперед. На перекрестке у синего почтового ящика задержалась. Двуглавый оловянный орел смотрел мертвыми глазами. Открыла ридикюль, достала письмо. И тут же на камнях улицы заколебались тени. Ее схватили, стараясь вырвать письмо.

— Барышня, не поднимайте шума! — хрипел субъект, нахлобучив соломенную шляпу.

Около шпика выросли городовые. Испуганно засуетилась няня, прижимая к груди ребенка. Заплакала девочка с зелеными

ленточками, обруч ее покатился, звеня и подпрыгивая. Конкордия попыталась освободиться, расправила плечи, тряхнула руками. Конечно, письмо не спасти. Но в ридикюле адреса трех конспиративных квартир... Только б не провалить людей! Письмо держала крепко. Шпик вырывал его. Конкордия громко вскрикнула, стараясь привлечь внимание прохожих. Арест на улице столь прилично одетой дамы, несомненно, должен вызвать интерес. Нужно выиграть минуты.

— Господа, что тут происходит? — Чиновник торопливо перебежал улицу.

Конкордия закричала сильнее. Шпик опешил. Лицо его покрылось красными пятнами. Письмо с оторванным уголком запихивал в карман. Он зло попросил чиновника не вмешиваться, но руку Конкордии отпустил. Расстегнув ридикюль и схватив бумагу, девушка запихнула ее в рот. Бумага, сухая, колючая, обдирала горло. Проглотить записку не удавалось. Шпик сильным движением оттолкнул чиновника и вновь уцепился за Конкордию. Горячая волна захлестнула ее, стало трудно дышать. Бумага раздирала горло. И все же она упрямо разжевывала ком, в котором была свобода доброго десятка товарищей.

— Выплюньте! Приказываю!.. — Пальцы железным обручем сдавили горло.

Конкордия задыхалась. Слезы градом катились по лицу. Чиновник испуганно ретировался. Но рядом появились студенты в зеленых тужурках... Или зеленым стало все вокруг? Сдвигались дома, кружились небеса. В глазах расплывались оранжевые разводы. Студенты все поняли, схватили шпика за руки, освободили Конкордию. Она жадно вдохнула воздух, с трудом сохраняя равновесие, и проглотила ком бумаги. Слезы полились сильнее. Послышались свистки. Городовые набросились на студентов. Началась свалка, топот, крики.

— Доложу... Доложу!.. — прошипел шпик, крепко держа ее за руки.

Конкордия откровенно улыбалась: вид у шпика комичный. Кричит, топает ногами. Внезапно ею овладело какое- то странное спокойствие, которое она не однажды испытывала в минуты серьезной опасности: ареста не избежать, а шпик, обескураженный неудачей, жалок и смешон.

ОЛЬГА ПЕТРОВНА

В тот день Конкордия поджидала Аркадия Александровича у

Красных ворот. На круглой башенке часы пробили семь. Теперь уже скоро. Над центральным проездом — портрет Елизаветы Петровны, по случаю коронации которой были сооружены Красные ворота. Массивные мраморные архангелы с мечом венчали арку. Мраморные колонны с дорогой росписью.

После побега из вологодской ссылки Конкордия оказалась в Москве. Ее кооптировали в комитет, только жилось на нелегальном положении плохо. Шпики заполонили город. Она скитается, прячется, и это в самую счастливую пору своей любви.

Мысли Конкордии невеселые — встречи урывками извели их обоих. Она-то еще держится, а на Аркадия страшно смотреть: похудел, под глазами мешки, все чаще дает себя знать сердце... Работы много — в окружкоме люди наперечет, да и Аркадию трудно: на нем газета. Но главное — Аркадия страшил ее арест, в неизбежности его он почти не сомневался. Конкордия старалась быть осторожной, тщательно конспирировалась, но разве этим убережешься! Кошмаром давили воспоминания о вологодской ссылке. Вынужденное бездействие, «циркуляр о лицах, состоящих под гласным надзором», которым запрещалось все: служба в государственных и земских учреждениях, педагогическая деятельность, частные уроки...

— Наташа! — Аркадий Александрович, боясь оплошности, даже наедине не называл ее настоящим именем. — Прости, задержался.

Он крепко пожал руку, заглянул в глаза.

— Говорила? — не выдержал Аркадий Александрович.

Разговор шел об отъезде. Нужно было договориться в окружкоме об отъезде из Москвы, на чем настаивал Аркадий Александрович. Она и сама томилась этой жизнью, но говорить об отъезде теперь, когда организация оголена после новых арестов, считала невозможным.

— Нет еще, случая не выдалось. — И, заметив, как вытянулось лицо мужа, добавила: — Сегодня, непременно сегодня!

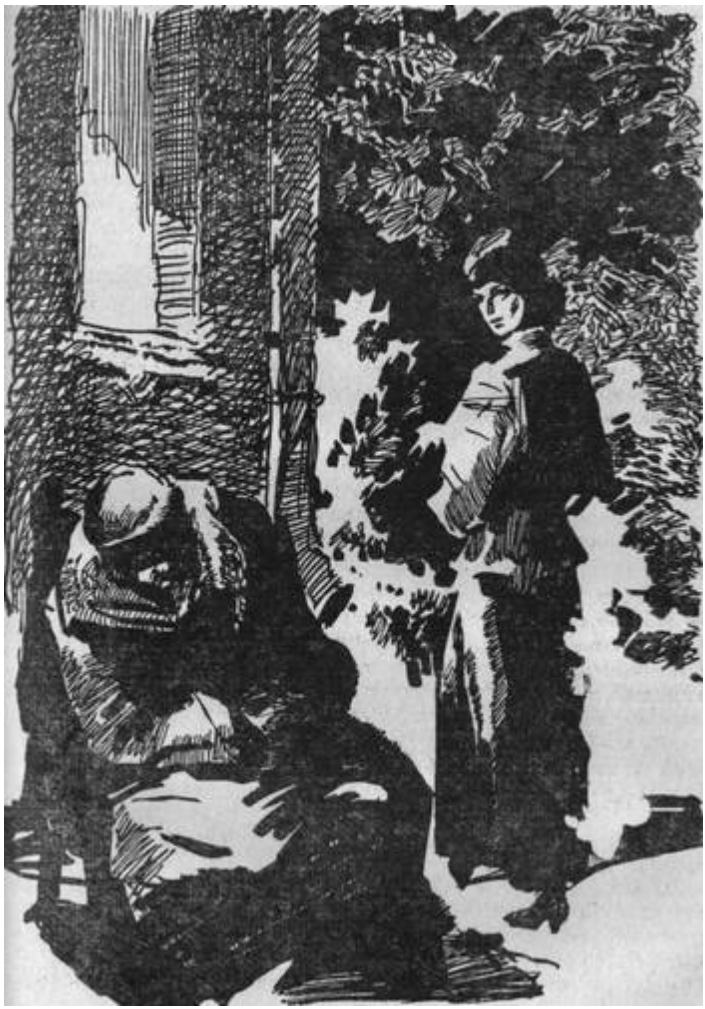
Аркадий Александрович повеселел, медленно повел ее по Мясницкой улице. Осень шуршала желтым листом, стучала оголенными ветвями деревьев в окна одноэтажных особнячков. Аркадий Александрович поднял разлапистый кленовый лист, протянул Конкордии. Лист пламенел кровавыми прожилками и колол острыми язычками.

— Обедала? — Самойлов достал промасленный пакет. — Знаю, забегалась. Бери, филипповские...

Конкордия, засмеявшись, откусила пирожок: пообедать действительно не удалось.

— Хозяйствовать будешь сам, когда вместе поселимся. Смотри, как славно у тебя получается!

— Я всегда считал, что эмансипация погубит женщину... Как это у классиков: «Меркою достоинства женщины может быть мужчина, которого она любит». Так что теперь я значу весьма много.



Конкордия улыбалась. Как хорошо вместе! Забылись тревоги. Вот так бы шла и слушала неторопливый бархатистый голос.

— Где побывала сегодня?

Конкордия сразу поняла, о чем он спрашивает. Конечно, типография. Флигелек, ею подобранный, находился неподалеку от Красных ворот. Утром отвела туда наборщика, паренька из типографии «Труд». Вот об этом-то и заговорил Аркадий Александрович.

— Знаешь, все славно получилось. Человек хороший. Правда, спросил меня об условиях. «Да какие условия — будешь ходить раз в неделю в баню, тогда и воздухом подышишь». Парень почесал за ухом, ответил философски: «Что ж, условия как везде».

Аркадий Александрович захохотал.

— Парень осведомленный!

— Знаешь, он меня умилил, вернее, удивил мудростью. «Ночами буду стоять под форточкой — дышать свежим воздухом. А то силы быстро уйдут, а заменить наборщика — дело нелегкое». Обо всем этом рассуждал так неторопливо, спокойно. А ведь недавно вернулся из деревни. Уехал после работы в тверском подполье. Там условия ужасные были — больше месяца не выходил на улицу, работал без глотка свежего воздуха. Глаза и теперь воспаленные, лицо желтое... Пока бродили по улицам, парень жадно осматривался по сторонам, стараясь все запомнить: жить ему придется словно кроту. В флигелечке поселилось четверо: двое под видом мужа и жены, третья — прислуга, девица простоватой внешности, на ней лежит доставка бумаги, и он тень, которую никто не должен видеть. Набирать будут ночами, а печатать днем, когда уличный шум заглушает машину.

— По-моему, все удачно складывается, — одобрил Аркадий Александрович. — Куда тебя отвести?.. Взгляни, в окнах гаснет свет. Может быть, ко мне?

— Невозможно, ты сам на птичьих правах, — отрезала Конкордия, опасаясь, что может стать причиной его ареста. — Не фантазируй — это совершенно исключается. К тому же у меня в ридикюле одних паспортов семь, а адресов — добрая дюжина.

Конкордия говорила с непривычной для нее поспешностью. Боялась, что муж заподозрит неправду. Ночевать-то ей было негде: время тревожное, найти квартиру сложно.

— Ну прощай, а то неудобно в чужой дом поздно вваливаться. — И, видя его нерешительность, добавила: — Иди, милый. Право же, все благополучно. Завтра после семи у Василия Блаженного.

Аркадий Александрович, подняв воротник пальто, зашагал к Сретенке. Она остановилась у серого здания почтамта и долго провожала его взглядом. Куда же идти ночевать? До одиннадцати часов пробудет на почтамте, просмотрит журналы, полистает газеты. Потом начнется уборка, будет коситься служитель, появится сонный жандарм с красной физиономией... Все это знакомо. Правда, на почтамте она старается бывать не более двух вечеров в неделю. А дальше? На вокзал, пожалуй, на Курский. Все на примете — залы ожидания вокзалов, почтамт, телеграф.

На почтамте безлюдно. Зевали за решетчатыми сетками

дежурные телеграфисты, на широкой скамье прикорнул дворник с медной бляхой. Конкордия для отвода глаз написала длинное письмо на Херсонщину, полистала «Ниву». Служитель, тяжело переставляя ноги, притащил ящик с мокрыми опилками. Начиналась уборка. Конкордия опустила письмо и, столкнувшись с жандармом, вышла на Мясницкую.

Блуждать по сонной Москве не хотелось, да и устала отчаянно. На извозчике доехала до Арбатских ворот. По привычке оглянулась — переулок безлюден. От чугунного фонаря падал свет на дом с венецианскими окнами. Конкордия завернула во двор. Зеленели ажурные акации, кусты золотых шаров. Дворник, несмотря на теплый августовский вечер, спал в тулупе, закрыв лицо круглым воротником, и отчаянно храпел. Конкордия, боясь разбудить его, заторопилась в цветник. Остановилась у черного хода. В подвале, в пятом окне от угла, горел свет. Облегченно вздохнув, придерживаясь за стены, начала спускаться по крутой лестнице. Ступени шаткие, прогнившие. Сердито прошипев, отскочила кошка. В темноте светились зеленые глаза. Загромыхали ведра, на которые наткнулась Конкордия. Выругала себя за неосторожность. Заскрипела дверь, и появилась хрупкая женская фигурка. Конкордия сразу шагнула из темноты, зная, как томительны эти минуты неизвестности.

— Ольга Петровна, простите за поздний час, я с вокзала. В Москве проездом... Ваша матушка просила непременно повстречаться, — Конкордия говорила отрывисто, на случай неожиданных свидетелей.

Ольга Петровна, узнав ее по голосу, обрадовалась. Пригласила зайти.

Комната была низкая. С кровати поднялась испуганная хозяйка. За ней маленькая девочка. Русская печь, раскрашенная голубыми цветочками, перегораживала комнату.

— Спите. Это ко мне с родины, — успокоила хозяйку Ольга Петровна, поправляя лоскутное одеяло.

Она обошла печь, не выпуская руки Конкордии. Узкая доска на чурбаках заменяла кровать. Рядом самодельная тумбочка с книгами, на стене под марлей парадное платье.

— Вот мои апартаменты!

Конкордия покачала головой: не думала, что Ольга Петровна так плохо устроена. Да, этот угол жилищем не назовешь. Очевидно, Ольга Петровна догадалась о ее мыслях, обняла за талию, прижалась щекой. Конкордия улыбнулась. Как часто приходилось за последнее время бывать в богатых московских квартирах, но оттуда ее выпроваживали под любым предлогом. А здесь, за печкой, такой душевный прием.

— Извините меня, но некуда деться. Никто не пускает, а Антона боюсь подвести.

— Какие извинения! — удивилась Ольга Петровна. — Я очень счастлива, а то в суматохе и поговорить толком не успеваем.

Конкордия благодарно пожала ей руку. Огляделась, не зная, куда сесть.

— На кровать... Какие церемонии. Сейчас щи достану из печки. Хозяйка всегда для меня оставляет. Она славная, знает, что я нелегальная, живу без паспорта, и жалеет. Девочка у нее прелесть! Вот свершится революция, обязательно пойдет учиться. Видали, как печь расписана? Все она. Способная...

Конкордия засмеялась ее горячности. Ольга Петровна, не слушая возражения, полезла в печь за чугунком.

— Дала клятву, Наташа, в доме всегда для друзей иметь щи. Именно простые русские щи! Наваливайтесь, не стесняйтесь... Со мной однажды произошел случай. До этой квартиры долго скиталась без постоянного пристанища, носилась целые дни по буржуазным домам в поисках денег для партийной кассы. И что же? Угощают тебя кофе в китайских чашечках, воздушными меренгами на серебре, а я жрать хочу. Денег нет, угла нет — кошмар! Как-то судьба мне улыбнулась и послала комнату на несколько дней. Хозяйка — немка, чопорная, негостеприимная. Каждое утро приносила самовар и подглядывала, с чем чай пью. А пить было не с чем. Воду-то спустишь, чтобы не вызывать подозрения, чашку перевернешь, но есть хочется. С утра я плохо себя чувствовала. Вернулась от галошной фабрикантши, она обычно давала деньги на социал-демократические издания. Да, галошная фабрикантша... Приходилось переживать пренеприятные минуты. Широкая мраморная лестница, наверху встречает горничная в белых крахмальных оборках, презрительно принимает пальто, подбитое ветром. Чувствуешь себя прескверно... Одета плохо, впускают тебя из оригинальничанья. В то утро фабрикантша отказала: она разочаровалась в социал-демократии и занялась франкмасонством.

Конкордия прыснула. Залилась смехом и Ольга Петровна.

— Да, франкмасонством! Правда, назавтра повезло. Моего мужа, ветеринарного врача, пригласили на бойню. Случилась эпидемия — никто на документы не смотрел. Деньги, им заработанные, забрала сразу, а то бумагу для типографии не могли купить... Так вот про щи, — веселой скороговоркой продолжала Ольга Петровна. — Притопала я от галошной фабрикантши домой. Озноб, голова горячая, есть хочу, как сорок братьев-разбойников. В квартире пахнет щами и мясом. Повертелась на кухне: думаю, угостит. Нет, куда там, жадюга!

Хозяйка вела пустой разговор, нарезая крупные ломти хлеба. Дождалась я, пока она уйдет, схватила ломоть и обмакнула в кипящие щи. Так вкусно показалось, что и передать трудно. Сжевала ломоть, взяла еще один и убежала к себе. Ем украдкой, а сама плачу. Что за чертовщина! Вот и поклялась всегда для друзей иметь щи...

Конкордия ела с удовольствием. Щи действительно сказочные: жирные, горячие, с большим куском мяса. В словах Ольги Петровны горькая правда. Зеликсон-Бобровская, известная в партийной среде как Ольга Петровна, была замужем за богатым человеком. Только муж, как и жена, ушел в революцию. Родные его занимали прекрасную квартиру на углу Смоленского бульвара. Там теперь явка, тщательно законспирированная. А сама Ольга Петровна снимала угол за печкой. Счастлива. Как бы удивилась, если бы ей сказали, что можно избрать другую дорогу! Другая жизнь — тление, а не горение...

— Как-то меня арестовал молоденький жандармский офицерик, довольно интеллигентной внешности. Разыскал на полке «Капитал» Маркса и поднес с укором: «Вот, мадемуазель, все капитал изучаете, а в портмоне шестьдесят копеек!» — Ольга Петровна весело захохотала.

Конкордия отставила чугунок, стукнув деревянной ложкой по дну. Приятная истома разлилась по телу.

— Ольга Петровна, вправе ли мы обзаводиться семьей? — озадачила она хозяйку вопросом. — Мужа вы почти не видите: то вы в тюрьме, то он... Очевидно, семья для революционера непростительная роскошь.

— Откровенный разговор? — Ольга Петровна сидела на кровати, обняв Конкордию. — Конечно, нужна семья. Встречаемся редко, что ж! Зато знаешь, что есть человек, для которого ты самая прекрасная. Чувство самоутверждения очень важно. Муж ждет меня, мечтает о своей желанной.

Конкордия не выдержала и крепко расцеловала ее.

— Любите?

— Да, очень!..

— Думаю, что вам, Наташа, лучше уехать с Антоном. — Ольга Петровна назвала Аркадия Александровича партийной кличкой. — Жить в первопрестольной без паспорта после побега рискованно. Жаль, трудно будет заменить вас в окружкоме, да и кружки такие удачные. Но уехать необходимо...

Конкордия счастливо улыбалась. Хорошо, что Ольга Петровна так верно поняла ее. Как она обрадует Аркадия завтра!

— В Луганске нужны люди. В окружком передали письмо: людей нет. Город промышленный... Рабочий класс... Трудиться

начнете, и Антон вздохнет. — Ольга Петровна проговорила с завистью: — Счастливцы там, в Луганске, каких пропагандистов получат.

С грохотом покатились ведра. Послышался удар, что-то тяжелое упало в коридоре. Конкордия встревоженно посмотрела на Ольгу Петровну. Та оставалась невозмутима, погасила лампу.

— Ну, пора спать! Хозяин явился. Раздевайтесь в темноте, если не хотите с хозяином до утра пререкаться.

— Zum Teufel!! Дрыхнете здесь, собаки! — послышался грубый бас. — Ich bin müde! Donner wetter!

Пьяный грузно ходил по комнате, натыкался на вещи и ругался, путая русские слова с немецкими. Произносил он их варварски.

— Хозяин — лакей в немецком клубе. Отсюда весь шик! — шепотом говорила Ольга Петровна. — Пьяница безбожный, полное ничтожество. Давно бы сбежала, да жену жалко — такая милая, такая страдалица! Они и живут-то на те деньги, что от меня получают, — девять рублей за угол...

Они лежали на доске, тесно прижавшись друг к другу, боясь свалиться. Уснуть в такой тесноте оказалось невозможным. И всю ночь ревел пьяный голос:

— O mein gott! Ich bin tot!

ТИМОНОВЫ ПИСЬМЕНА

— Товарищи! Центральный Комитет партии поручил мне открыть нынешний съезд. С удовольствием исполняя это лестное для меня поручение, я прежде всего поблагодарю за те проявления симпатии, с которыми меня встретили. Эти проявления тронули меня потому, что, как мне показалось, они отчасти шли от тех лиц, с которыми мне пришлось в течение последнего года сломать не одно копье по тактическим вопросам! — Плеханов стоял на трибуне в отутюженном рединготе.

30 апреля 1907 года на окраине Лондона в реформистской церкви «Братство» открылся Пятый съезд партии. У остроконечного органа — трибуна. Большевистская фракция, куда входила Конкордия, заняла правое крыло. Меньшевики, поначалу распоряжавшиеся на съезде, — левое, желая подчеркнуть свою революционность. Неподалеку от Конкордии сидит Ленин, ладный, подобранный. Она видит, как старается он удержать улыбку, и начинает вслушиваться в слова Плеханова, круглые и ровные.

— Мы все-таки должны сделать попытку столковаться, а для того, чтобы столковаться, необходимо рассмотреть спорные вопросы без гнева и пристрастия — sine ira et Studio. И это облегчается тем обстоятельством, что в нашей партии нет ревизионистов...

Плеханов торжествен. Он оглядывает делегатов. У Конкордии от удивления вытянулось лицо, руки нервно теребят носовой платок. Как это — нет ревизионистов? А меньшевики?! Не они ли срывают все решения партии? О каком мире говорит Георгий Валентинович?.. Взять хотя бы собрание в Луганске. Разбирался вопрос о посылке делегатов на съезд. Как дрались меньшевики за мандаты, какие напраслины возводили на большевиков! За мандатом прикатил гастролер из столицы. Хорошо, что организация оказалась крепкой и на съезд прошли большевики — Клим Ворошилов и она, Конкордия Самойлова.

Взгляд ее задержался на Максиме Горьком. Он сидел на скамье большевистской фракции, слушал, приподняв мохнатые брови. Широкий в кости, худой, с задумчивым взглядом проницательных глаз. Недавно вернулся из Америки, куда ездил собирать деньги для революции. Поездка, как он считал, оказалась неудачной, но зато написана повесть «Мать».

И опять под высокими сводами звучали гладкие, как обкатанная галька, слова Плеханова. Он надеется на мир в партии, он призывает к единству с меньшевиками. Странно. Наивно. Споры с меньшевиками начались сразу, злые, ожесточенные. Видно, о мире трудно будет договориться, да Конкордия и не сторонница такого мира.

В перерыве большевистская фракция собралась в узенькой комнате. Глаза Конкордии прикованы к Владимиру Ильичу. Вся его коренастая фигура дышала молодостью, силой. Он сидел у стены, заложив ногу на ногу. Перелистывая записную книжку, делал какие-то пометки. Сутулясь и застенчиво улыбаясь, вошел Горький. Огромный, неторопливый. Остановился, и Конкордии показалось, что комната сразу заполнилась. Горький внес корзину, где аккуратными стопками лежали бутерброды. Тут же и Андреева, спокойная красавица с роскошными волосами. Кто-то из делегатов волоком втащил ящик с пивными бутылками. Пиво и бутерброды поставлял Горький.

Кажется, ни один партийный съезд не проходил с такими материальными затруднениями: денег в партийной кассе нет, делегаты голодали. И Горький решил помочь.

— Владимир Ильич, прошу к столу, — пошутил Горький.

Ленин встряхнул бутылку черного пражского пива, налил в стакан, отхлебнул.

— Ну как находите съезд, Алексей Максимович? — быстро спросил он, закусывая бутербродом с колбасой.

— Не во всем еще разобрался, но счастлив, что пригласили меня. А то сидел бы на Капри... Если зуб, выбитый из челюсти, способен чувствовать, то он, вероятно, чувствовал бы себя так же одиноко, как я.

— «Зуб, выбитый из челюсти»! — смеясь, повторил Ленин.

Конкордия подсела поближе. Прислушалась.

— Ко мне на Капри приезжали какие-то случайные революционеры, озлобленные, желчные, словно из России несется гнилая пыль. Упрекали, что я, как Лука, наговорил людям утешительных слов, а сам в кусты, то бишь на Капри. — Горький потрогал усы. — А молодежь поверила и набила себе шишки на лбу.

Ленин захохотал таким заразительным смехом, что все заулыбались. Рука его коснулась крутого лба. Конкордии редко доводилось слышать такой смех.

— «Ревизионистов нет на съезде»! — сердито повторил Ленин фразу Плеханова. — А кто сидит на левой стороне? Меньшевики упрекают нас в догматизме и отказываются вести политические споры. Иными словами, хотят вымотать, хотят сорвать съезд. Сорвут съезд — лишат партию политической линии. С меньшевиками большевиков разделяют крупные тактические разногласия. А нам предлагают, защищаясь софистикой, снять с повестки дня принципиальные вопросы. И все это якобы во имя практицизма и деловитости!

— О деловитости не следует забывать при работе на местах. Сейчас это фразерство и поза, — заметила Конкордия. — Помню, в пятом году, когда баррикады Пресни обагрились кровью, на заводах выступал такой деятель: «Организуйте профессиональные союзы!» Смеху подобно. Рабочие попросту отмахивались от болтуна. А нынче Плеханов уподобляет нас английскому средневековому парламенту, . который большинством голосов принимает prager book.

— Молитвенник! — воскликнул Ленин, обращаясь к рабочим-делегатам.

— И как это все кругло получается у Плеханова. Говорит изящно, что-то из латыни, броская английская пословица. Блеску много... — Конкордия развела руками.

— От теории на съезде мы не откажемся! Не беда, что кричат, будто большевики плохие теоретики. — На лбу Владимира Ильича упрямая складка. — Нет, замазывать теоретические разногласия и тем самым лишать партию политических задач не позволим!

— Меньшевики заделались практиками! Послушать Плеханова, так получается, что вся Европа с удивлением взирает на россиян: мол, дел непогожий угол, а они, словно схоласты, тратят время на бесплодные споры о том, сколько ангелов может поместиться на булавочном острие! — Конкордия не отводила глаз от Ильича. — Для Плеханова большевики стали врагами. Он, видите ли, приехал на съезд при плохом здоровье только для того, чтобы встретиться лицом к лицу со своими политическими противниками. Когда-то он был на левом фланге партии, а теперь сидит на левом крыле рядом с Мартовым, покрикивая, что большевики ушли в бланкизм. Сегодняшний Плеханов вступил в полемику с с Плехановым прежних лет...

— Трудная, паки трудная обстановка на съезде, хотя он и проходит в церкви «Братство»! — В карих глазах Ленина вспыхнул лукавый блеск. — Кстати, на съезде нет стенографа. А как бы важно донести до партии суть и смысл наших разногласий.

— Можно предложить товарищу Богдану... — нерешительно заметила Конкордия.

Владимир Ильич подошел к невысокому человеку в черной косоворотке. У Богдана от смущения вспыхнуло лицо. Конкордия знала Богдана по работе в Москве в окружкоме — скромный и славный человек.

— Да я, Владимир Ильич, застенографировал речь Плеханова, — глуховатым голосом ответил он на вопросительный взгляд Ленина. — Только стенограф я невысокого класса — практики нет. Думский стенограф записывает в минуту сто двадцать слов, а я сто.

— Что ж, совсем неплохо! — живо откликнулся Ленин, заложив руки за вырез жилета. — А где изучали стенографию?

— В ярославской тюрьме. Режим там тяжелый. Книг меня лишили сразу, но почему-то вручили самоучитель по стенографии. Вот и штудировал. Только плоховато с практикой, — вновь повторил Богдан, скосив глаза на Горького.

Горький усмехался в усы, внимательно прислушиваясь к разговору. Ленин энергично взмахнул рукой.

— Не беда — практика предстоит богатейшая! Возьмитесь, товарищ Богдан. Записи секретарей из рук вон... Решения и речи опубликуем в России, а если не удастся, так за границей.

— Возьмусь. В лепешку расшибусь, а сделаю! — Богдан бросил на каменные плиты пола шляпу.

Ленин сощурил правый глаз. Горький вынул из кармана кожаный кисет с табаком.

— Ах, какой все же русский славный народец! Я за эти дни словно свежего воздуха наглотался! — с чувством произнес он. —

А все же, в чем суть разногласий на съезде?

— В кулуарах ко мне подошел рабочий. Он сидит среди меньшевиков, подошел с тем же вопросом. — В лучистых глазах Ильича запрыгала хитринка. — Видите ли, Алексей Максимович, меньшевики желают заседать в парламенте, а большевики готовят рабочий класс к революции.

— «К революции»... — вслух повторила Конкордия. — В единство с меньшевиками я никогда не верила.

— Что ж, товарищи, за дело! — Ленин первым шагнул в зал.

Конкордия с трудом отыскала дом, в котором остановился Владимир Ильич в Лондоне. Двухэтажный, выкрашенный серой краской, с палисадником, обнесенным низкой металлической оградой.

Шла она неторопливо. После вчерашнего заседания болела голова.

Ночью закончил работу съезд. Председательствовал Ленин. Меньшевики делали все, чтобы сорвать съезд. Одних протестов и заявлений сыпалось великое множество. Только выдержка и самообладание Ленина спасли положение.

В этом водовороте страстей Владимир Ильич один сохранял хладнокровие. Как резко отличался он от Плеханова! Ленин был спокоен, как человек, чувствующий силу. Движения его были точными, слова — уверенными. Ночью после заседания товарищи окружили Ильича. Он отвечал на рукопожатия, смеялся с удивительной непосредственностью: «Да, самый трудный день в моей жизни!»

Конкордия и сейчас удивлялась — двенадцать часов председательствовал Владимир Ильич!

На остроконечной башенке костела пробило девять. Она сверила часы и повернула к серому дому, чтобы проститься с Лениным перед отъездом. Дернула ручку звонка, и на пороге появился Владимир Ильич.

— Здравствуйте, здравствуйте! Прошу в столовую... — Он обернулся к хозяйке, вышедшей на звонок. — Это ко мне, благодарю вас.

— День майский, а туман и дождь, словно в сентябре. — Конкордия сняла дождевик и поставила зонт в угол.

— Да, англичане погодой явно похвастаться не могут! — согласился Владимир Ильич. — Я сегодня трудился с раннего утра. Закончили с товарищем Богданом работу над стенограммой... Кстати, кофе готов.

Кухня, холодная, просторная, сияла белым кафелем. Конкордия осталась наедине с Владимиром Ильичем.

— Значит, опять в Россию? Новизна радует первые, очень недолгие дни, а потом приходит тоска по родине, которую даже работой трудно заглушить. — У глаз Владимира Ильича собрались морщинки. Он погрустнел, задумчиво размешивая ложечкой сахар.

— Хорошо, что закончился съезд. Меньшевики готовы были вцепиться в горло каждому... А все же удалась провести резолюцию!

— Да, хорошо... Сегодня товарищ Богдан меня уморил. — Владимир Ильич рассмеялся. — Тимоновы письмена!

Конкордия, зная способность Владимира Ильича заразительно смеяться, улыбнулась, хотя в глазах ее недоумение.

— Тимоновыми письменами в древности называли стенографию, — заметил Владимир Ильич. — Товарищ Богдан объяснил все, что касается стенографии как древнейшего искусства. Сегодня Богдан показывает мне стенограмму. Читаю: «Разве это не бессильная утка от признания в сторону без признания?» — Ленин с трудом выговорил фразу, сдерживая смех. — «Нет, вы что-то не так записали», — заметил ему. Богдан разволновался и стал утверждать, показывая на свои крючки, что записал точно.

— Утка? — удивленно приподняла брови Конкордия.

— Вот именно утка! Да не простая утка, а «утка признания». Просмотрел свой конспект — ничего подобного. А Богдан горячится, доказывая разницу в знаках. Что могло произойти в тимоновых письменах?

— И что же оказалось?

— «Разве это не бессильная увертка от принципиальности в сторону беспринципности?» — раздельно проговорил Ленин. — Мои стрелы в меньшевиков у товарища Богдана превратились в мирных уток!

Владимир Ильич раскатисто хохотал. У Конкордии от смеха вздрагивала рука. Звенела ложка, ударяясь о чашку.

— Ну и тимоновы письмена!

— Вот именно так я ему и сказал: «Подвели вас, товарищ Богдан, тимоновы письмена!» — Владимир Ильич резко взмахнул рукой, словно обрезал фразу, мечтательно повторил: — В Россию уезжаете...

И вновь в его голосе Конкордия уловила тоску.

— В Россию, туда, где от финских хладных скал до пламенной Колхиды... — шутливо ответила Конкордия. — В общем в Россию, навстречу революции...

— Да, трудным путем идет русская революция. За каждым подъемом — поражение, надругательство самодержавия над

народом. За каждым натиском революции — бешеный натиск контрреволюции. И все же силы реакции падают. Разрушаются те иллюзии, которые делали русский народ доверчивым и простодушным! — Ленин говорил медленно, словно раздумывал вслух. — Самодержавие покрыто повязками и бинтами, но оно держится, скрипит, свирепеет. А у меньшевиков либеральная буржуазия...

— Поистине, как говорят мудрецы, кого Юпитер хочет погубить, того лишит разума, — сказала Конкордия. — Разум потеряли меньшевики, все надежды свои связывают с либеральной буржуазией, уверовав в нее, как в союзника.

— Конституция, пожалованная царем, ломаного гроша не стоит, а какие литавры, какие громы победные!.. — Ленин возбужденно забарабанил пальцами по столу. — Либералы рычат на революцию, словно коты, увидавшие жирный кус. А Мартов на съезде требует распустить боевые дружины, забыть о революции!

— Пухленький Дан изрекает истины, для него съезд превратился в «дискуссионный клуб». А Плеханов весь на исторических параллелях, — с раздражением заметили Конкордия. — Плеханов обрадовался аплодисментам меньшевиков, сидевших на «крайне левых скамьях» церкви «Братства».

— Пусть меньшевики будут последовательными. Если они убеждены, что революция закончилась, тогда нечего болтать о ней... Революция переживает трудные времена. Вот почему я придаю такое большое значение работе каждого из нас. — Владимир Ильич мягко посмотрел Конкордии в глаза. — Будьте осторожны на границе. Очевидно, не следует сразу ехать в Луганск, а лучше покружить.

— Хорошо, Владимир Ильич! Итак, в губернию, поближе к рабочим кварталам, поближе к дымящимся трубам! — Конкордия протянула Владимиру Ильичу руку. — Обязательно напишу обо всем сразу же по возвращении.

ЛИТОВСКИЙ ЗАМОК

День выдался пасмурный, хмурый.

В тюремное окно Петербургского дома предварительного заключения пробивался мутноватый рассвет. Конкордия Николаевна накинула выношенный халат. Подошла к окну. Стекло затянула ледяная корочка, и даже всегдашние друзья, голуби, не прилетели сегодня.

Шел десятый месяц заключения Конкордии Николаевны в Литовском замке. Четвертый арест за тридцать три года ее жизни. Тогда, после разговора с Люси, вызвавшего у нее такое сложное и противоречивое чувство, Конкордия Николаевна направилась на Выборгскую сторону. Провела занятия в кружке, написала длинное письмо Аркадию Александровичу, оставшемуся по делам в Харькове, и поздним вечером, усталая, добралась на квартиру. После съезда вернуться ей в Луганск не пришлось. Там ждал приказ об аресте. Она осталась работать в Петербурге, вошла в комитет. Дома ждала радость — телеграмма от мужа о приезде. Конкордия Николаевна побежала к хозяйке, начала приводить в порядок свое немудреное хозяйство. Завтра приедет Аркадий. Поезд приходил в два, и она рассчитывала к этому времени освободиться. В десятом часу заторопилась на Невский. Почему-то запомнились витрины модных магазинов. Решила, что вечерком обязательно завернет в пассаж и купит самое необходимое: коричневый жакет, новую шапочку — все это не так уж дорого, а выглядит вполне прилично.

День показался радостным. Ярко сверкал купол Казанского собора. Легкий снежок посеребрил улицы. В витринах цветочных магазинов красовались корзины белых канн. На темном фоне зеленого мха синели нежные гроздья распустившейся сирени.

Радостное чувство не покидало ее и в институте, где должно было состояться заседание Петербургского комитета. Приветливо поздоровалась с тучным швейцаром, сказав, что идет в библиотеку. В институте обстановка благоприятствовала конспирации: библиотека, студенческая столовая работали и в воскресные дни. Кроме того, по воскресным дням проходили занятия вольнослушателей, консультации профессоров. Шумно. Людно.

Конкордия Николаевна, по обыкновению, заглянула в столовую. Подсела к столу, заваленному баранками и сухарями. Налила из ведерного самовара чаю. Столовая гудела, словно пчелиный рой. Женщина, улыбаясь, слушала молодежь, с горячностью споривших о стихах Блока. Увидев связного, поднялась по лестнице на четвертый этаж. В лаборатории, заставленной узкими шкафами с пробирками, колбами и реактивами, собрались комитетчики.

Заседание затянулось, и Конкордия Николаевна стала беспокоиться, что не успеет на вокзале встретить Аркадия Александровича... И вдруг в лабораторию влетел связной, лицо тревожное, озабоченное. Конкордия Николаевна почувствовала недоброе.

— Полиция оцепила институт!

Женщина кинулась к окну — на улице стояли громоздкие тюремные кареты. Решили забаррикадировать дверь. Связной вместе с Буйко, членом комитета, задвинули ее шкафами. Звенели колбы, хрустели под ногами осколки, Комитетчики надумали уйти черным ходом. Но едва открыли дверь, ворвались полицейские. Такого натиска не ожидали. На комитетчиков навели револьверы. Жандармский офицер, весь в серебряных шнурах, бесцеремонно копался в потертом портмоне Конкордии Николаевны. Раскрыв паспорт, иронически протянул:

— Екатерина Васильевна Никологорская! А паспорт то настоящий и прописок сколько! Проживаете, значит, на Петербургской стороне? А мы располагаем другими сведениями...

Конкордия Николаевна твердо смотрела ему в глаза. «Предали, предали... Люси?! — обожгла ее мысль. — Если докажут принадлежность к комитету — каторга! А Аркадий- то теперь сидит на вокзале и ждет».

— Пустые хлопоты, Конкордия Николаевна! — зевнул офицер, громыхая шашкой. — Паспорт-то чужой...

— Не понимаю вас. — Лицо Конкордии Николаевны невозмутимо.

Офицер наблюдал, как бесцеремонно обыскивали Михаила Буйко. Покрикивал:

— Руки! Руки!

Конкордия Николаевна бросила:

— Потрудитесь вести себя вежливо. Вы же при исполнении служебных обязанностей!

В голосе ее слышалось столько иронии, что офицер смутился. Буйко выворачивал карманы пиджака.

— Хороша работенка — арестовывать женщин да лазить по чужим карманам!

Офицер возмущенно шевельнул нафабренными усами и, сдвинув бумаги, начал составлять протокол.

— При аресте Петербургского комитета РСДРП обнаружено... — торжествующе скривил он тонкие губы.

— Комитета? — удивленно повторила Конкордия Николаевна. — Комитета?! Конечно, охранному отделению всегда хочется придать арестам значительность, даже если для этого придется отправить невинных на каторгу. Известно, по законам Российской империи за принадлежность к комитету полагается каторга, а чинам охранного отделения за выявление — наградные и победные реляции. Должна вас огорчить: комитет здесь не заседал.

— Значит, общество любителей природы? — зло парировал офицер.

— Угадали. Видите, по неосторожности во время опытов разбиты колбы и реактивы.

— Протокол подпишете?

— Вы фальсифицируете, а мы должны помогать?! — искренне удивилась женщина. — Нет уж, увольте!

Конкордию Николаевну вывели первой, поставив между усатыми истуканами — жандармами. Кивнула головой, прощаясь с товарищами.

И вот уже десять месяцев никого из друзей Конкордия Николаевна не видела. Привлекали ее к дознанию по делу Петербургского комитета РСДРП. Кажется, каторги не избежать. Бедный Аркадий! Повидаться им не пришлось. Бюрократическая машина вступила в действие: брак гражданский, не церковный. Охранное отделение, придравшись к формальности, запретило свидание. Тогда Аркадий, помощник присяжного поверенного, выразил желание защищать подсудимую Громову. Брак в этом случае признали и отклонили защиту.

Тоска... Думы, думы... Конкордия Николаевна зябко передернула плечами. После свидания со следователем сомнений не оставалось — в комитете орудовал провокатор. Осведомленность следователя удивляла. Разоблачили Конкордию Николаевну сразу: разыскали подлинную Никологорскую, в тюрьме устроили очную ставку. Женщина держалась хорошо, но Конкордия Николаевна, боясь подвергнуть ее серьезным испытаниям, признала, что паспорт нашла в вагоне и воспользовалась им, желая поступить в медицинский институт. Потом от Аркадия через надзирательницу получила записочку. Настаивал, чтобы взяла защитника. Отказать не смогла. Аркадий принял дело Буйко. Интересно, сумеет ли защита доказать, что они случайно оказались в лаборатории. Допросы ненавидела; необходимость изворачиваться, лгать угнетала. То ли дело в ростовской тюрьме, когда она попросту отказывалась от

показаний. А теперь связана с товарищами: выработана линия поведения, и эту линию нужно строго выдерживать.

Сегодня день суда. Вечером принесли платье, в котором ее арестовали. Взяли грубые коты и вернули черные ботинки. Конкордия Николаевна рассматривала свой туалет с ужасом: за десять месяцев хранения в крепостном цейхгаузе платье покрылось плесенью, ботинки покоробились, носы их заострились. Как в таком виде появиться на суде?..

Она умылась с особой тщательностью, уложила волосы в тугой узел. Посмотрелась в смоченную водой грифельную доску, заменявшую зеркало. Сокрушенно покачала головой: лицо худое, морщины на лбу, гусиные лапки у глаз, в темных волосах седина. Как огорчится Аркадий! Осторожно вытянула из-под тюфяка платье, которое положила на ночь в надежде, что оно разгладится. Чуда не произошло — платье осталось жеваным и измятым. Конкордия Николаевна вздохнула. Села на койку, ожидая часа, когда поведут на суд.

Время тянулось долго. Наконец загромыхали ключи, ввалился старший надзиратель с серебряной медалью, тщательно оглядел ее и пригласил следовать за собой.

В канцелярии Конкордия Николаевна увидела своих товарищей, окруженных жандармами с обнаженными шашками. Пожала руки друзьям, не обращая внимания на ворчание ротмистра, и встала между жандармами.

— Конвой, шагом а-рш! — зычно прокричал ротмистр, звякнув шпорами.

Взвизгнули шашки, и процессия медленно двинулась. Потянулись длинные извилистые коридоры, лестницы с крутыми ступенями, заскрипели обитые толстым железом ворота. Арестованные глубоко вдыхали свежий воздух, радуясь небу и голубям.

Судебный зал окружного суда, где слушалось дело, напоминал концертный. Люстра, похожая на гроздь винограда, переливалась радужными огнями. На возвышении девять полукруглых кресел, золоченые спинки которых виднелись из-за продолговатого стола, покрытого малиновым сукном. Сверкал натертый паркет, позолота на раме царского портрета. Направо от стола, за деревянной перегородкой, скамьи подсудимых. Напротив трибуна прокурора и места для защиты.

Заседание оказалось закрытым, как на большей части процессов над социал-демократами. Кресла для публики занимали родственники, допущенные по особым билетам.

Жандармы в медных касках застыли у скамьи подсудимых. Конкордия Николаевна села в первом ряду вместе с Буйко.

Страшилась свидания с мужем. Почти год разлуки, и вдруг такая встреча: она на скамье подсудимых, он на местах защиты. Конкордия Николаевна плохо слушала, что говорил Буйко, хотя и понимала его оживление после одиночного заключения. Взгляд ее прикован к тяжелой резной двери, откуда должны были выйти судьи, защитники.

Как ни ждала она этого момента, но все же с трудом подавила волнение, увидев высокую, чуть сгорбленную фигуру Аркадия Александровича. Шел он тяжело, с напряжением переставлял ноги. Лицо побледнело до синевы. Увидев ее, окруженную жандармами, судорожно глотнул воздух. Конкордия Николаевна подалась вперед, до боли вцепившись в деревянное перильце. Боже, как он изменился: почернел, состарился, отпустил усы... Аркадий Александрович расстегнул пуговицу накрахмаленной рубашки, ослабил галстук.

Самойлов опустился в кресло, закрыв глаза руками. Конкордия Николаевна вытерла слезы. На лице застыло спокойное выражение, как всегда, когда хотела скрыть волнение. К сожалению, Аркадия этим не проведешь.

— Суд идет! Прошу встать! — прокричал судебный пристав, размахивая тяжелым медным колокольчиком.

Аркадий Александрович с трудом поднялся, покосился на нее и виновато улыбнулся.

За судебным заседанием она не следила. С болью разглядывала мужа, замечая в нем все новые, нерадостные перемены. «Похудел-то как: сюртук болтается, словно с чужого плеча. Начал сутулиться».

Заседание тянулось долго. Дребезжащим голосом прокурор доказывал виновность подсудимых, требуя применить статью о каторжных работах. Затем резкие вопросы защитников, опрос свидетелей. Конкордия Николаевна не отрывала глаз от Аркадия Александровича. Посоветовавшись с коллегами, он попросил слова:

— Господин прокурор признал, что самое главное для суда — доказательство истины. От себя могу прибавить, что нужно сохранить хотя бы видимость законности.

Конкордии Николаевне нравилось, как умно и тонко говорил Аркадий Александрович, как блестяще высмеивал прокурора — индюка с университетским значком.

— С каких это пор каждый, кто пришел в институт, в общественное место, может быть заподозрен в противоправительственной деятельности?! С каких пор свобода и личная неприкосновенность могут быть попраны по любой случайности?! Чем, кроме судебного произвола, можно объяснить

десятимесячное пребывание арестованных в крепости, хотя обвинение основано на домысле?! Сегодняшнее судебное разбирательство...

— Господин Самойлов, попрошу ближе к делу. Вы достаточно сказали о самодержавии, достаточно и о личной неприкосновенности. — Председатель суда в зеленом мундире с большой звездой поднял глаза на Аркадия Александровича. — Столь же достаточно и о практике суда.

Аркадий Александрович наклонился, словно приготовился к прыжку, подался вперед и, не обращая внимания на замечание председателя, закончил:

— Нельзя предположения превращать в бесспорные факты, подозрения превращать в улики, личную дружбу уподоблять сообщничеству, а совместное пребывание в одном помещении сводить к заговору... Практика российского суда вопиет против нарушения процессуальных норм...

Колокольчик в руках председателя яростно заливался. Возмущенно всплеснул круглыми ладошками судья с седыми волосами. Подсудимые с напряженным вниманием слушали Аркадия Александровича. «Цитирует Сергея Кравчинского!» — подивилась его смелости Конкордия Николаевна.

— От имени защиты прошу представить единственного свидетеля, на чьих показаниях основано обвинение! — устало заметил Самойлов.

Председатель неприязненно посмотрел на Аркадия Александровича. Сидевший рядом с Самойловым русобородый защитник приподнялся и, поклонившись суду, заговорил:

— Горячо присоединяюсь к просьбе коллеги. Мне также не удалось увидеть свидетеля, показания которого легли в основу процесса. Защита обязана ознакомиться с материалами обвинения. Об этом элементарном правиле не может забыть столь уважаемый суд... Теперь о моей подзащитной

Конкордии Николаевне Громовой. Представьте драму тридцатилетней женщины — желание получить образование и невозможность проживания в столице из-за грехов молодости...

Конкордия Николаевна почувствовала, как вспыхнули ее щеки. «Какие грехи молодости? О чем бормочет защитник?» Возмущенно поглядела на Аркадия Александровича, уловила его умоляющий, растерянный взгляд. Видно, так нужно. Только очень унизительно. Она обернулась к Буйко, тот добродушно ухмылялся. Жалостливая речь защитника не произвела впечатления.

— Да, образованная женщина не должна проживать в столице! Нонсенс, господа! А где еще можно получить

образование? Мы говорим, вернее, кричим об эмансипации, а сами не допускаем женщину в столицу! «Легче решает и осуждает тот, кто меньше вникает!» — позволю себе привести изречение. Только суд не может руководствоваться этим... Верю в справедливость суда, как верят и они, оказавшиеся по роковой случайности на скамье подсудимых! — Защитник сделал широкий жест в сторону обвиняемых и сел с довольным видом, пощипывая русую бороду.

Конкордия Николаевна привстала — нет, в слезливых речах она не нуждается. Вновь и вновь готова подтвердить свою принадлежность к Петербургскому комитету РСДРП. Буйко взял ее за локоть, шепнув:

— Терпение! На каторгу успеем...

— Защита настаивает на немедленном приглашении в зал свидетеля обвинения! — почти прокричал Аркадий Александрович, опасаясь признания жены.

В зал под конвоем франтоватого ротмистра ввели плечистого человека, закованного в кандалы. Конкордия Николаевна замерла в ожидании. Звон цепей ближе, ближе. Она внимательно разглядывала свидетеля — русоволосый, с густой курчавой бородой, серыми осоловелыми глазами. Нет, она его не знает. Удивленно пожал плечами Буйко. Свидетель наклонил голову, будто боялся встретиться глазами с подсудимыми. Аркадий Александрович тревожно переговаривался с защитниками. После обычных вопросов к свидетелю о его имени и сословии наступила тишина.

«Какая-то провокация!» — вздохнула Конкордия Николаевна. Приготовилась слушать, подперев голову рукой.

— У защиты есть вопрос к свидетелю обвинения! — зазвенел голос Аркадия Александровича.

— Прошу! — кивнул головой председатель, поудобнее устраиваясь в кресле.

— Свидетель, чем вы можете подтвердить знакомство с людьми, сидящими на скамье подсудимых? Можете ли назвать их по фамилии, рассказать, при каких обстоятельствах произошло знакомство? Прошу припомнить все точно, ибо от ваших ответов зависит жизнь очень хороших людей, зависит...

— По-про-шу лишних советов не давать! — растягивая слова, прервал его председатель и, обратившись к свидетелю, добавил: — Отвечай, голубчик.

Свидетель приблизился к обвиняемым. В глубине его глаз запрятан страх. Опухшее лицо Конкордии Николаевны. Большие натруженные руки Буйко. Осунувшиеся лица рабочих в черных косоворотках... Тряхнув головой, словно отгоняя назойливую

мысль, сказал:

— Я не знаю этих людей!

Ответ оказался неожиданным. По залу пронесся шорох. Конкордия Николаевна перехватила радостный взгляд Аркадия Александровича. Широко улыбался защитник с русой бородкой. Побагровел прокурор, насупился жандармский полковник.

— Свидетель, прошу не забывать показаний, данных на предварительном следствии! — Прокурор заметно нервничал. — Не следует вводить суд в заблуждение!

— Защита просит не оказывать давления на свидетеля. Перед законом, как и перед богом, которым он клялся, свидетель должен показать правду, одну лишь правду! — вскочил Аркадий Александрович.

В зале тишина. Свидетель стоял белый, как полотно, плотно сжав губы.

— Я не знаю этих людей! К партии никогда не принадлежал, политикой не интересовался... Приговорили меня к смертной казни за убийство! — с какой-то злой решимостью начал арестант, откинув прядь волос и обнажив рубец от удара кинжалом. — Потом господин начальник сказал, что меня помилуют, если подпишу показания. Бумаги я подписал... В камере стали меня срамить: мол, гублю хороших людей. Вот я и решил греха на душу не брать...

Свидетель низко поклонился подсудимым.

— Защита заявляет резкий протест! Отводит свидетели и просит записать в определение суда о недопустимости подобного ведения следствия!

— Убрать! — Председатель бросил презрительный взгляд на жандармского полковника.

К свидетелю подлетел франтоватый ротмистр, лихо козырнул суду. Кажется, он единственный не понял, что произошел скандал. В зале послышался смех, раздавались неодобрительные выкрики. Свидетель произвел сенсацию.

— Мы видели одного свидетеля с веревкой на шее. На его показаниях держалось обвинение в принадлежности подсудимых к Петербургскому комитету РСДРП. Свидетель не подтвердил показаний, насильственно вырванных у него во время следствия. Более того, он публично отрекся от них... — Самойлов высоко вскинул крупную голову. — Теперь обвинение располагает единственным «веским» доказательством того, что мы имеем дело с Петербургским комитетом. Это протоколы жандармского ротмистра, утверждающего, что при аресте были обнаружены листы белой бумаги и карандаши. Бумага и карандаши — улика, из-за которой господин прокурор грозит обвиняемым каторгой...

— Суд удаляется на совещание! — Председатель суда отодвинул малиновое кресло.

Аркадий Александрович бросился к скамье подсудимых.

СНОВА МОСКВА

Поздняя осень разбросала медными пятаками опавший лист. В холодном воздухе чувствовалось дыхание первых морозцев. На желтом ковре, устилавшем дорожки Кремлевского бульвара, серебрились изморозью жесткие кустики травы. Глухо шумела Москва-река, накатывая на парапеты набережной маслянистые волны. Неподвижными гусеницами застыли трамваи с фанерными щитами вместо окон. Рябели от пулевых вмятин зубчатые древние стены. Развороченная артиллерийским снарядом, зияла чернотой Спасская башня.

Засунув руки в карманы широкого пальто, по дорожке задумчиво шла высокая женщина. Неторопливо поправила прядь каштановых волос. На широкоскулом лице ее с правильными чертами искрились карие, чуть раскосые глаза. Неровный изгиб широких черных бровей, твердый, упрямый рот. Полной грудью вдыхала Самойлова морозный воздух, с радостным удивлением осматриваясь по сторонам.

Вновь она в Москве, где столько дорогих воспоминаний. Баррикады пятого года. Артиллерийские раскаты первой революции. Пряталась по конспиративным квартирам, стреляла из пистолета. Носила оружие и листовки по улицам, сотрясавшимся от обстрелов, перевязывала раненых и укрывала дружинников... Через год судьба вновь забросила ее в этот город после побега из вологодской ссылки. Пожалуй, это были самые тяжелые месяцы в ее жизни. Партийную организацию разгромили, восстанавливать приходилось по ниточке. За побег ждала каторга. Она жила на нелегальном положении, скиталась в поисках ночлега, укрываясь от шпиков, заполонивших первопрестольную...

После Октябрьской революции Конкордия Николаевна не раз собиралась приехать в Москву, да дел навалилось великое множество.

И вот теперь, в ноябре 1918 года, Конкордия Николаевна наконец-то здесь. На дорожках с желто-багровой листвой потрескивал кирпич, на который она наступала тупорылыми ботинками. Ботинки новые, из грубой юфти, на резинках, с матерчатыми ушками, отчаянно жмут. Получила их по талону в

Петрограде, как делегат Всероссийского съезда женщин.

Из Петрограда поезд уходил рано. Сыпал мелкий дождь с мокрым снегом. Пристанционные здания с черными провалами окон. Заколоченные подъезды. Мертвые паровозы. Покореженные составы. На перроне стоял ее муж Аркадий Александрович. На путях блестящий состав из пяти вагонов, поданный для женской делегации. Лакированная обшивка вагонов. Сверкающий сталью паровоз с красными колесами — личный поезд царицы Александры Федоровны.

Петроградская делегация большая. Женщины в потертых пальто разглядывали поезд, не решаясь взяться за медные поручни. Удивили их и просторные салоны, затянутые белым атласом. Огромные зеркала в золоченых рамах. Инкрустированные столики красного дерева. Пушистые, словно первый снег, ковры.

Конкордия Николаевна махала рукой Аркадию Александровичу, прижавшись лицом к стеклу. В этом царстве света и роскоши чувствовала себя неуютно.

Бесшумно отошел поезд. Делегатки сидели притихшие, смущенные. Впрочем, это продолжалось недолго. На атласные подушки сбросили заштопанные шерстяные платки. Сняли со столика мраморную Венеру, отодвинули бронзовую лампу с хрустальными бусами. На столик легла ученическая тетрадь. Делегатки, сгрудившись, диктовали Конкордии Николаевне приветствие Всероссийскому съезду, старательно ставили подписи. Крупные, корявые буквы на листке ученической тетради.

Москва делегаток встретила приветливо. На Николаевском вокзале громыхал оркестр, развевались красные знамена. И тут же на вокзале Самойлова узнала, что совещание отложили: не закончил работу VI Чрезвычайный съезд Советов. Делегатки получили приглашение на Красную площадь, где должен был состояться первый парад республики.

И сегодня, в день парада, Конкордия с удовольствием прошлась вдоль Кремля. По крутому подъему поднялась на Красную площадь. В голубой выси застыли витые разноцветные купола храма Василия Блаженного. Искрился первый снег на широких плечах Минина, защищавшего бронзовой грудью Москву. Белело Лобное место с каменными ступенями.

У кремлевской стены, у невысоких холмиков братских могил, покрытых седой от инея травой, стояла горстка людей. Конкордия Николаевна сразу увидела Владимира Ильича Ленина. Черное пальто с каракулевым воротником, черная каракулевая шапка. На отвороте воротника у Ильича алел красный бант. Засунув руки в карманы, Владимир Ильич оживленно переговаривался с Яковом

Михайловичем Свердловым. Конкордия Николаевна узнала Свердлова по черной кожаной куртке. Ладный, подобранный, в черной коже, он казался литым из чугуна. Владимир Ильич обратился с каким-то вопросом к Надежде Константиновне. Яков Михайлович подошел к Конкордии Николаевне. Быстрым движением стянул кожаное кепи. Густые волнистые волосы падали на открытый лоб. Темные глаза мягко смотрели сквозь стекла пенсне.

— Слышали о событиях в Германии? — пророкотал его бас. — Все это может закончиться только революцией!

— «Тираны дрожат, их короны, как призраки, тают!» — ответила Конкордия Николаевна.

— Уитман? — деловито осведомился Свердлов и, задумавшись, подтвердил: — Конечно, Уитман.

— А Красную площадь не узнать! — заметила Конкордия Николаевна. — Помолодела площадь: транспаранты, кумачовые стяги, цветы...

— Маркс говорил, что парижские коммунары штурмовали небо, — вновь забасил Свердлов. — Мы штурмовали и небо и землю!

— И небо и землю! Славно-то как!

— Двенадцать! Первый парад в истории освобождения человечества! — Свердлов подносит к близоруким глазам карманные часы, щелкает крышкой.

Воздух, прозрачный и синий, содрогается от грома оркестров. На Красную площадь через Иверские ворота вливаются потоки демонстрантов. Колышутся знамена. Гул голосов ширится, накатываясь и множась. Конкордия Николаевна счастлива. Смущенно протирает глаза, радостно пожимает руку Свердлову.

— Мы знали столько лет лишь борьбу без победы...

— А теперь победа, Конкордия Николаевна! По-беда! — басит Свердлов. — Таков исторический ход событий.

Бесконечной лентой движется людской поток. Трепещут знамена, блестят медью трубы оркестров. Из лазурной сини доносится рокот аэроплана. Конкордия Николаевна задирает голову и видит, как неуклюже плывет аэроплан, похожий на стрекозу. На площадь, медленно кружась, падают листовки.

Мимо братских могил, которые выросли в дни октябрьского штурма Кремля, шли рабочие. Гулко печатали шаг. Винтовки за плечами и звездочки на фуражках. Держали равнение на Владимира Ильича красные курсанты. Солдатские шинели, кожаные портупеи.

Четким строем прошли красноармейцы. На солнце поблескивали штыки, начищенные пряжки кожаных ремней.

Выправка бравая, шинели потемнели от порохового дыма, дырявые сапоги обмотаны проволокой. Пролетарские полки одеты разномастно... Трудно... Тяжело... Но какая сила и уверенность в их движениях! Владимир Ильич приветливо поднял руку.

Прогрохотав по крупному булыжнику, артиллерийские лошади протащили пушки. Тупорылые стволы чернели вороненой сталью. Бородачи-артиллеристы в лихо заломленных фуражках. Дробный перестук копыт звонко раздавался по площади. Из-за Иверских ворот показалась конница. Гарцуют и пританцовывают лошади, сверкают остроконечные клинки. Конники, перехваченные ремнями. Эскадрон за эскадроном.

— Такая армия будет непобедима! Красные командиры, дети народа, будут иметь среди солдат авторитет! — доносится до Самойловой глуховатый голос Ильича. — Теперь не нужно больше бояться человека с ружьем. Царское офицерство ничего общего не имело с солдатами. Теперь мы едины и наша армия непобедима.

Переливчато перекликаются оркестры. Идут рабочие в кожанках и пиджаках, опоясанные широкими солдатскими ремнями с патронташами на боку. Замелькали красные косынки работниц. Конкордия подалась вперед. Мимо братских могил проходила колонна женщин-работниц. Ветер, словно парус, надул стяг:

МЫ ПУТЬ ЗЕМЛЕ УКАЖЕМ НОВЫЙ — ВЛАДЫКОЙ МИРА СТАНЕТ ТРУД!

Заискрились серые глаза Надежды Константиновны. Она аплодирует. Женщины идут, не отрывая глаз от Владимира Ильича. Не беда, что нет стройности в их шеренгах, что нет четкого шага... К удивлению Конкордии Николаевны, женщины запели «Дубинушку»:

Но настанет пора — и проснется народ,
Разогнет он могучую спину.
И на бар и царя, на попов и господ
Он отыщет покрепче дубину.

Поют звонко, широко. Лица радостные, молодые. Запрыгали золотистые смешинки в карих глазах Ильича.

— Прав, бесконечно прав Бебель: не может быть полного освобождения человечества без установления социальной независимости... Работницы на Красной площади! — обращается

Конкордия Николаевна к Надежде Константиновне. — На митингах в Петрограде работницы много добрых слов сказали делегаткам.

— Женщин поставим на службу социализма! Это давнишняя мечта Владимира Ильича. Но прежде их нужно раскрепостить — ясли, детские сады, общественное воспитание... А то интересы у большинства ограничены рамками семьи... В деревнях, как мне однажды сказали, кроме колодца, к которому ходят за водой, и пойти-то некуда. — Надежда Константиновна машет демонстранткам.

Полноводной рекой демонстрация обтекает Лобное место и уползает далеко-далеко, за собор Василия Блаженного.

В Благородное собрание, где начинал свою работу Всероссийский съезд женщин, Конкордия Николаевна пришла пораньше. Беломраморная лестница покрыта суконной дорожкой. В плетеных корзинах голубые шапки гортензий. Огромные зеркала в медных окантовках отражали женщин, поднимавшихся на второй этаж. У большинства на головах красные платочки. По натертому паркету осторожно переступала крестьянка в темной самотканой юбке и кофте с пышными буфами. Голова низко повязана черным платком, поверх него — красная косынка.

Конкордия Николаевна, пряча улыбку, отворачивается.

— Товарищ Наташа! На-та-ша!

Самойлова всматривается в толпу. Энергично работая локтями, к ней направляется невысокая женщина. Круглолицая, смеющаяся. Лицо знакомое... Конкордия Николаевна старается припомнить... Конечно, она, хозяйка квартиры. Екатеринослав, 1903 год. Арест в Чечеловке. Чистенький, выбеленный известью домик, рабочий кружок. Конкордия Николаевна шагнула навстречу. Обнялись, расцеловались.

— Все там же, в Екатеринославе, под паровозные гудки просыпаетесь? — пошутила Самойлова.

— Да нет. Крестьянствую. Муж погиб, мальчонка чахоткой заболел. Вот и подалась в деревню крестьянствовать.

— Ну и как?

— Меня в комбед выбрали...

Колонный зал залит светом. Тяжелыми складками падает бархат знамен с золотыми кистями. Строгий ряд беломраморных колонн. Хрустальные люстры. Под высокими сводами перекатывается глухой гул. В широко раскрытые двери вливаются делегатки. По бархатным дорожкам шаркают ноги в тупорылых ботинках и резиновых ботах, сапогах и лаптях. Женщины.

Молодые. Старые. В потертых шерстяных платьях и застиранных ситцевых кофточках.

Напротив главного входа на возвышении президиум. Большой длинный стол утопал в живых цветах.

Конкордия Николаевна любуется цветами. Особенно хороши белые хризантемы, пушистые, словно завитые. Слышатся радостные приветствия, оживленные голоса. Колонный зал, строгий и чинный, напоминал сегодня потревоженный муравейник. Сколько счастливых лиц, радостных глаз, смеющихся губ! Вот она, поднялась матушка Россия!

Конкордия, заметив питерских делегаток, решила до начала совещания побыть с ними. Покрепче прижала папку к груди и двинулась сквозь поток. Ее перехватил Яков Михайлович Свердлов.

— Скоро начнем, Конкордия Николаевна, — пробасил, поправляя высокую дужку пенсне. — С приветствием от Центрального Комитета поручено выступить мне.

— Очень рада!

Яков Михайлович взглянул на ее разгоряченное лицо, дружески взял за локоть:

— Волнуетесь? Наконец-то в женском движении начинается период бури и натиска.

Конкордия Николаевна кивнула.

Свердлов закашлялся, глухо, надрывно. Тревожно покосилась на него. Бледный, худой, с пожелтевшей кожей и воспаленными от бессонницы глазами. «Болезнь дает себя знать», — с грустью подумала она.

— «Период бури и натиска... Бури и натиска...» — повторили рядом.

Конкордия оглянулась. Обрадовалась.

— А, Емельян!

Крутые плечи Ярославского плотно обтягивала косоворотка. В серых глазах радостное ожидание.

— Как с докладом, Емельян? — поинтересовалась Конкордия Николаевна. — Доклад твой президиум приурочивает на третий день... Именно среди женщин религия имеет глубокие корни. Да не мне вам это объяснять. Очень нужно умно и доходчиво рассказать делегаткам правду о религии. История русской женщины-работницы...

— История! История!.. — перебил Конкордию Николаевну Ярославский, пожевывая русый ус. — «Исторический путь не Невский проспект...»

— «Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность», — с улыбкой

досказала Конкордия Николаевна любимые ею строки Чернышевского. — И все же, если вы сумеете донести до сердца русской работницы вред поповщины, презрение церкви к иноверцам, то партия получит горячих сторонниц в борьбе за отделение церкви от государства.

Емельян покачивал крупной головой. Вопросы религии его интересовали с давних пор. Еще в якутской ссылке написал немало статей по истории и происхождении религии.

— Так договорились? Доклад о религии за тобой... Что слышно о Клавдии Ивановне?

Конкордия Николаевна знала, что Клавдия Ивановна Кирсанова, жена Ярославского, находилась где-то в отъезде. Ярославский жену горячо любил и сильно тосковал.

— На Северном Урале Клавдия Ивановна, в Надеждинске. Положение там отчаянное: голод, беляки напирают. Недавно вывез оттуда детишек, а Клавдичка осталась. Сутками не выходит из Совета. Контрреволюция... Конечно, и в Надеждинске нужно кому-то работать, но плохо детишкам без матери...

Конкордия Николаевна смотрела на Ярославского с сожалением: знала, детишек ему приходилось брать даже на артиллерийские маневры. Одиночество переносил тяжело, но больше всего ему доставляли страдание голодные глаза девочек.

— Представь, Конкордия Николаевна, — вновь заговорил Ярославский. — Марьяна на деревья Нескучного сада смотрит с завистью. Да, да, завидует, что липы уж очень-то толстые. «Ишь, как они разъелись!» Каково это услышать от трехлетней дочери? Когда мы сумеем накормить республику?

— В Москве, говорят, увеличивают хлебный паек на четверть фунта...

— Увеличение пайка на сто граммов — это проблема номер один! — пробасил Свердлов, вновь появившийся из толпы. — Кстати, нужно монастыри отдать под приюты. — Он вынул маленькую книжечку и карандашом сделал запись. — Надежда Константиновна приехала.

Надежда Константиновна, с мягкими, добрыми глазами, приветливо поздоровалась. Конкордия Николаевна, знавшая Крупскую с давних пор, расстроилась, увидев, как похудела и осунулась она.

— Какой славный день! Прошел уже год после революции, а для подлинного раскрепощения женщины сделано мало. — Надежда Константиновна сокрушенно покачала седеющей головой.

— Годовщина революции! — Ярославский засмеялся в пушистые усы. Серые глаза его потеплели, округлились. И,

улыбнувшись какой-то своей мысли, он повторил: — Годовщина!

— Как Владимир Ильич? Будет ли на съезде? Делегатки так ждут встречи с ним.

— К сожалению, он нехорошо себя чувствует. Дел множество, но обещался... Да, Конкордия Николаевна, мне показали стихи, посвященные пролетаркам. Написала их работница Берсеневской фабрики. Вручаю вам, как старому правдисту. Кстати, автор стоит у третьей колонны. — Надежда Константиновна, разыскав женщину глазами, кивнула ей. — Поговорите, пожалуйста, ведь первый опус!

Крупская отошла. Свердлов вновь исчез в толпе. Ярославского отозвали. Конкордия Николаевна направилась к работнице, на которую ей указала Крупская. Женщина была молодой, с голубыми мечтательными глазами.

— Ваши стихи Надежда Константиновна передала мне.

— А можно их вам прочитать? Умру, если сегодня не узнаю ответа.

Самойлова рассмеялась, махнула рукой:

— Читайте, что с вами поделаешь!

Женщина откашлялась. Лицо ее побледнело. Покачивала головой, прикрыв глаза:

Трудиться нам не привыкать,
Труд страшен только барам,
Спешите ж, сестры, помогать
Героям-коммунарам!
Вперед, к всеобщему труду!
Вперед, к мечте заветной!
Скорее свалим с плеч нужду,
Вперед же, к жизни светлой!

Работница замолчала. Глаза ее с надеждой и беспокойством смотрели на Конкордию Николаевну. На лице ожидание, волнение, страх. Самойлова пожалела ее. Мягко положила руку на плечо, взяла листок, пробежала глазами.

— Что ж, по мысли стихи интересные. Только вот форма... Учиться нужно, непременно учиться... Стихи оставлю у себя. Вечерком встретимся.

Женщина вспыхнула. Конкордия Николаевна запрятала стихи в папку. Прозвенел звонок.

...В Колонном зале торжественная тишина. Конкордия Николаевна сидела в президиуме, оглядывала зал. Вот они,

делегатки, собранные со всех уголков России. Скромные. В красных косынках. С блокнотами в руках.

На трибуне пожилая женщина в трауре. Самойловой виден ее строгий профиль и седые локоны прически. Это Кистеннен, возглавляющая финляндскую делегацию. Волнуясь, рассказывает о зверствах реакции. Восстание в стране, вспыхнувшее после революции в России, подавлено. Террор проносится снежным вихрем. Тысячи замученных, тысячи обездоленных. Расстрелы без суда и следствия. По дорогам бредут нищие, голодные дети, родители их за колючей проволокой концентрационных лагерей. Братские могилы русских и финских коммунистов сровняли с землей. Депутаты сейма в тюрьмах. Но рабочие Финляндии не теряют надежды на будущее...

В зале грозная тишина. Замерла Конкордия Николаевна. Плачет поэтесса. Горестно покачивает головой Крупская. Вновь кровь. Вновь тюрьмы... расстрелы...

Делегатки поднялись. Горькая минута молчания. Горькая минута памяти павших. Высоким сильным голосом Конкордия Николаевна, не отрывая глаз от Кистеннен, запела:

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу.
Вы отдали все, что могли, за него,
За честь его, жизнь и свободу!

Под мраморными сводами крепнет песня. Низко склонили головы делегатки. На трибуну поднималась девушка. Лицо ее разглядеть не могла за огромным букетом хризантем. Тишина взорвалась овациями. Девушка, поклонившись Кистеннен, протянула цветы. Красная косынка, красная лента в белых хризантемах. Кистеннен прижала к груди букет. Заплакала.

Новый день заседания. Сегодня Конкордия Николаевна делала доклад и, как всегда, волновалась. И еще одно обстоятельство беспокоило ее — возможный приезд Владимира Ильича. Утром она переговорила с Надеждой Константиновной. Уверенности не было. Владимир Ильич чувствовал себя после ранения неважно. В перерывах ей не давали прохода делегатки. Все ждали Ленина.

Самойлова, отбросив карандаш, начала разглядывать зал. В первом ряду все дни сидит пожилая крестьянка. Ноги обуты в лапти. Кофта с высокими буфами из самотканой материи. Она не

отрывает от оратора восхищенных глаз, аплодирует заскорузлыми руками. Рядом поэтесса, как шутливо ее величала Конкордия Николаевна. Она словно выросла за эти дни. В «Правде» Конкордии Николаевне удалось напечатать ее стихи. Товарищи посмеивались над столь горячей защитой. Пустяки, человек крылья расправил! Будет учиться, какие еще вирши-то выдаст...

Колонный зал бушевал, грохотал. Неистово. Самозабвенно. В первом ряду Владимир Ильич Ленин. В зал он вошел неприметно и пристроился рядом с крестьянкой в лаптях, за которой все эти дни наблюдала Самойлова. Крайнее кресло оказалось свободным. Владимир Ильич сидел в своей любимой позе, подперев голову рукой, и внимательно слушал докладчика, наклонив голову набок. Владимира Ильича узнали. Делегатки поднимались с мест. Аплодировали яростно, радостно. Владимир Ильич наклонился к женщине, она зарделась от смущения, но слушала спокойно, достойно... Овации не прекращались. Владимир Ильич вынул из кармана часы. Удивленно покачал головой и, поднявшись, направился в президиум. Ильич на трибуне! На трибуне после этих страшных дней болезни. На похудевшем лице еще заметнее широкие скулы. Владимир Ильич поднял руку, приветствуя делегаток. Зал грохотал, содрогался от восторженных криков. Окинув его зорким взглядом, чуть опустив уголки губ, Ильич ждал. Овации нарастали. Владимир Ильич с надеждой посмотрел в президиум. Конкордия Николаевна перехватила взгляд, беспомощно развела руками.

— Ура товарищу Ленину!

— Да здравствует вождь мирового пролетариата!

Зал гремел. Казалось, покачнулась огненная люстра, вот-вот рухнут белокаменные балконы. Их облепили делегатки, яркими маками вспыхивали косынки, которыми размахивали женщины. Крупская стояла рядом с Самойловой. Аплодировала, мягко улыбалась. Подобранная, в строгом черном платье. Гладко зачесанные русые волосы с легкой сединой. Умные серые глаза, упрямые складки у рта.

Наконец, Владимир Ильич показал залу часы и решительно замахал руками, требуя тишины. Тишина наступила неожиданно. Ильич заговорил, низко перегнувшись через трибуну, словно пытаясь поближе рассмотреть делегаток. Его излюбленная манера. Ильич умел покорять зал.

— Из опыта всех освободительных движений замечено, что успех революции зависит от того, насколько в нем участвуют женщины. Советская власть делает все, чтобы женщина самостоятельно вела свою пролетарскую социалистическую работу. Положение Советской власти трудно, поскольку

империалисты всех стран ненавидят Советскую Россию и собираются на нее войной за то, что она зажгла пожар революции в целом ряде стран и сделала решительные шаги к социализму.

Широкой ладонью Ленин рубил воздух.

— До сих пор никакая республика не могла освободить женщину. Советская власть помогает ей. Наше дело непобедимо, так как во всех странах поднимается непобедимый рабочий класс. Это движение обозначает рост непобедимой социалистической революции!..

Владимир Ильич замолчал. Шквалом оваций ответил зал. Он мягко улыбнулся, разгладились морщинки у глаз, зааплодировал делегаткам. К трибуне бежали женщины с пушистыми букетами. Хризантемы. Владимир Ильич спустился с трибуны, принял цветы и тут же положил их на красное сукно в президиум.

Торжественная и величавая мелодия «Интернационала» поплыла над залом. Делегатки пели. Владимир Ильич пел вместе с работницами. Просто. Строго.

Розалия Землячка

Розалия Самойловна Землячка родилась в 1876 году в богатой семье в Киеве. Семнадцатилетней девушкой пришла в революцию. Через год она член Киевского комитета, вскоре последовал арест. С трудом удалось взять ее из тюрьмы на поруки, но новый арест заставил провести в тюрьме уже три с половиной года. В тюрьме тяжело заболела. После тюрьмы была выслана под надзор полиции в Полтаву. С 1901 года — агент «Искры» в Одессе. В этом же году она встречается в Цюрихе с В. И. Лениным. В 1903 году делегат II съезда партии. В труднейших условиях объезжает партийные комитеты центральных городов, информируя о решениях съезда. В

1904 году участница «совещания 22» под руководством Ленина в Женеве. С большим риском провозит документ в Россию и вновь объезжает комитеты, активно работает в подготовке III съезда партии. В декабрьские дни 1905 года Землячка — секретарь Московского комитета партии. Весной 1906 года арестована и заключена в Сущевскую полицейскую часть, откуда совершает побег. В 1907 году работает в Петербургском комитете. Вновь арестована и провела в Литовском замке полтора года. В 1909 году направлена на нелегальную работу в Баку. По требованию В. И. Ленина выезжает в Париж — здоровье резко ухудшилось. В эмиграции пробыла полтора года, вновь возвратилась в Москву на партийную работу. В Февральскую революцию Землячка — секретарь городского комитета Москвы. В героические дни октября 1917 года принимает участие в руководстве восстанием. Летом 1918 года Землячка переходит на политическую работу в Красную Армию. Три года гражданской войны провела на фронте, начальник политотдела 8-й и 13-й армий. В 1921 году одной из первых женщин награждена орденом Красного Знамени. После гражданской войны на большой государственной работе. В 1927 году работает в ЦКК РКИ. В 1931 году член коллегии Наркомата путей сообщения, с 1939 года председатель Комиссии советского контроля и заместитель председателя Совета Народных Комиссаров СССР. Умерла Розалия Самойловна Землячка в 1947 году.

ДЕКАБРЬСКИЕ ДНИ

УЧИЛИЩЕ ФИДЛЕРА

Неслышно отворилась парадная дверь училища Фидлера, и молодая невысокая женщина в черном пальто и котиковой шапочке заторопилась вдоль полутемного Лобковского переулка. Пройдя несколько шагов, она привычно огляделась по сторонам и поспешила к Чистым прудам. Тихо поскрипывал снег под ногами, мороз пощипывал лицо, забирался за воротник. Вьюга выла и свистела, осыпая колючим снегом. Порыв ветра был так силен, что ей пришлось задержаться около уличного фонаря. Она поглубже надвинула маленькую котиковую шапочку, подняла воротник и засунула руки в муфту. Усмехнувшись краем губ, женщина стряхнула с муфты звезды снежинок и, убедившись в отсутствии слежки, вышла на Чистые пруды.

Бульвар утопал в снежных завалах. Горбатые тени деревьев темнели и дрожали в желтых пятнах, отброшенных уличными фонарями. По дорожке, залитой лунным светом, вышагивал городовой. Женщина нахмурилась: эта незначительная встреча разрушила очарование зимнего вечера.

Вновь надвинулись тревога, озабоченность, раздумье.

С царской тайной полицией Розалия Самойловна Землячка вела долгий и ожесточенный поединок. Ее выслеживали и арестовывали, бросали в тюрьмы и высылали под надзор, привлекали к дознанию и держали в крепости. Она меняла адреса и явки, фамилии и клички, города и даже страны, но не меняла своих убеждений...

Землячка пересекла Мясницкую, окликнула извозчика. Тот стряхнул снег с полога, похлопал заледеневшими рукавицами, затянул потуже красный кушак и перебрал вожжи. Старенькая лошаденка неторопливо затрусила вдоль мшистых от инея домов Мясницкой.

Землячка, поежившись, укрыла ноги в модных, но холодных ботинках медвежьим пологом... Этот декабрьский вечер был особенным в ее жизни. Она возвращалась с конференции большевиков, принявшей решение о вооруженном восстании.

Совсем недавно, часа лишь три назад, в парадном подъезде училища Фидлера, где происходила конференция, Землячку встретили два дружинника в бобриковых пиджаках, с револьверами у пояса. Один из них, рябоватый, горбоносый, шепнул кличку Розалии Самойловны маленькой женщине, поместившейся за столиком неподалеку от входа. Та, улыбнувшись, зашуршала тонкими листами папиросной бумаги...

Землячка вошла в переполненный актовый зал училища Фидлера. Рабочие, дружинники, руководители «пятерок» оживленно переговаривались, нещадно дымя махоркой, и Розалия Самойловна сразу же закашлялась.

Шум в зале постепенно затих; за столом, покрытым зеленым сукном, поднялся Шанцер, известный в подполье по кличке Марат. Из слов его запомнилось главное.

— Сегодня мы должны не агитировать друг друга, — говорил он глуховатым голосом, — а спокойно взвесить наши возможности. Предстоит решить вопрос о судьбе революции, вопрос о жизни и смерти очень многих...

Марат провел рукой по ежику стриженых волос, тронул очки в тонкой металлической оправе и, сощурившись, начал оглядывать зал. Внешне Марат был спокоен. Но Землячка, хорошо его знавшая, по некоторой, едва приметной суетливости движений и по нарочитой медлительности, с которой он

произносил слова, поняла, что он взволнован. Она сидела на стуле, чуть согнувшись, и слушала, подперев подбородок рукою. Весь вечер звучало: восстание, восстание, восстание! И чем больше она вслушивалась в речи ораторов, тем большее раздумье овладевало ею...

Молоденькой девушкой ушла Розалия из богатой семьи, из родительского дома. Сейчас ей тридцать один. И уже тринадцать лет скрывается она в подполье, по чужим углам, с чужими паспортами... А сколько здоровья и сил унесли аресты и тюрьмы, вечные опасности, вечные лишения!..

И вот, сидя в этом зале, она вслушивалась в слова рабочих и понимала, что Москва живет революцией. Ночами в подвалах Высшего технического училища студенты учатся стрелять. Дружинники разделились на «пятерки». На заводах готовят бомбы-«македонки». И чувство глубокой ответственности перед этими людьми, столь уверовавшими в победу над царизмом, наполняло ее сердце тревогой и беспокойством. Дружинников на Москву — горстка. Нелегальная доставка оружия чрезвычайно трудна, и оружия мало, очень мало. Силы слишком неравны. Она взглянула на Марата. Его лицо было бледно, глаза горели.

...Пел Шаляпин. Он поднялся, огромный и широкоплечий, в черном костюме.

Землячка впервые слушала Шаляпина, пристально его разглядывала. Широкий лоб, прямой нос, пытливые глаза. Он пел «Дубинушку». Люди замерли, очарованные могучим голосом. Казалось, актовый зал стал тесен, мал. А шаляпинский голос все ширился, все крепчал, как буря:

Но настанет пора — и проснется народ,
Разогнет он могучую спину.
И на бар и царя, на попов и господ
Он отыщет покрепче дубину.

И зал грянул беспощадно могуче, всеразрушающе:

Эй, дубинушка, ухнем!
Эй, зеленая, сама пойдет!
Подернем, подернем
Да ухнем!

Шаляпин откинул красивую голову, закрыл глаза. Голос его катился подобно набату. Казалось, песня раздвинула стены и поднялась свободной, гордой птицей. И не стало шпиков и жандармов, поджидающих у стен училища, не стало всего гнусного и мерзкого, что угнетало и унижало сердце русского человека... Песня, могучая и раздольная, одна лишь звучала в эту темную вьюжную ночь.

Землячка пела вместе со всеми. Ее властно захватила и вела куда-то в неведомые дали песня. Но еще больше покорил ее зал. Какая сила и какая мощь!.. Нет, нельзя победить и поставить на колени русский пролетариат! Пусть безоружен, пусть не искушен в схватках... Будущее принадлежит ему!

На конференции в училище Фидлера Землячке поручили возглавлять в дни восстания Замоскворечье.

...Старенькая лошаденка обогнула церковь. На Красной площади было людно, несмотря на поздний час. Около памятника Минину и Пожарскому, против Торговых рядов, толпились хмельные купчики и приказчики, босяки и ночлежники с Хитрова рынка. Землячка остановила извозчика. Недобро усмехнулась: хороши участники «патриотической манифестации» в честь царского дня! Но зато уж для погромов незаменимы...

Ударили часы на Спасской башне, и от Лобного места навстречу Землячке двинулся невысокий коренастый человек в бобриковом полупальто с барашковым воротником и меховой шапке-ушанке.

— Здравствуйте, Савельев, — подошла к нему Землячка. — Заждались... Такая лошаденка немудреная попалась. Думала, не доберусь...

— Да ничего... Тут целый спектакль на завтра готовится. Насмотрелся за вечер-то. — Савельев сдвинул на затылок меховую шапку и улыбнулся серыми умными глазами.

Она познакомилась с ним сразу же по приезде из Петербурга, как только начала вести работу на заводе Гужона. Он был рабочим в литейном цехе. Возглавлял боевую дружину. Но подружились они на стрельбищах в подвалах Высшего технического училища. Понравился спокойствием и независимостью суждений. Стрелял он удивительно метко, и она, рассматривая его мишени, шутливо выговаривала:

— Шли бы вы, Савельев, к эсерам. Первым бы человеком стали. Готовили бы из вас цареубийцу...

Савельев тоже смеялся.

И сейчас Землячке было приятно в этот поздний час на площади встретить знакомого человека среди разношерстной и

чужой толпы.

Савельев должен уточнить явку и проводить Розалию Самойловну на конспиративную квартиру на Шаболовку. Встречу у Лобного места она назначила ему не случайно, любила для таких встреч выбирать людные места, не привлекающие внимания. Снег повалил густыми хлопьями и, подобно кускам ваты, ложился на воротник и плечи Савельева. Пушистые и легкие хлопья слепили глаза, и Землячка сняла очки, близоруко щурясь.

— Розалия Самойловна, посмотрите, какой сброд собрал митрополит Владимир в Успенском соборе. Там уже началась служба в честь царского дня. Готовится к завтрашнему: всех хитрованцев подобрал, по серебряному рублю сулил, проповедь воинственную произнес: громить евреев и, уж как водится, большевиков. Вот тебе и святой отец... — Савельев развел руками и зло сплюнул, показывая глазами на купчиков, валивших толпою из Спасских ворот.

— Да, горячий завтра денек будет, — задумчиво ответила Землячка. — А вы и в соборе побывали?! — полувопросительно-полуудивленно спросила она Савельева.

— Я здесь давно. Всего насмотрелся.

— Ну и преотлично. По дороге расскажете...

Землячка резко повернулась и заторопилась к собору Василия Блаженного с куполами, напоминавшими татарские шапки. Савельев прибавил шагу.

— Так где? — чуть приостановившись и повернувшись лицом к Савельеву, переспросила Землячка.

— У Епифанова, — ответил Савельев.

— Поедемте на извозчике. Кстати, мой уже отъехал с каким-то купцом. Вот и славно — возьмем другого. Товарищи наверняка заждались.

— Вместе поедем?! А конспирация! — Савельев удивленно посмотрел на нее.

Землячка с каким-то радостным азартом, азартом, который рождался у нее в минуты опасности и риска, закончила:

— Садимся вместе. Извозчика на Ордынке отпустим, а там до Шаболовки доберемся тихими переулками. Я знаю такие проходные дворы, — глаза ее засверкали от удовольствия, — ахнете...

Савельев широко усмехнулся: проходные дворы были слабостью Землячки. На заседаниях руководителей «пятерок» Розалия Самойловна всегда требовала соблюдения конспирации. При этом частенько ссылалась на Ильича. Рабочие, как и Савельев, не понимали, зачем нужна эта конспирация: все знают

друг друга не первый день, да и работают вместе. Землячка оставалась неумолимой:

— Сесть в тюрьму — нехитрое дело. В партии каждый человек на счету...

Больше всего удивило тогда Савельева ее требование знать проходные дворы Замоскворечья. Она даже своеобразные экзамены устраивала. Боевики лишь руками разводили: как она, киевлянка, за такое короткое время смогла так хорошо узнать район?.. Время и события помогли оценить ее настойчивость. Проходные дворы и запутанные лабиринты переулков помогли многим уйти от слежки, а то и от верного ареста.

И вдруг сейчас она сама нарушает конспирацию: возможно, слежка, а они едут вместе. Савельев наморщил лоб, поплотнее надвинул шапку. Землячка уже садилась в извозчичьи сани, нетерпеливо поглядывая на медлившего Савельева.

— Трогай. На Ордынку, — проговорила она, прикрывая лицо муфтой.

ЦАРСКИЙ ДЕНЬ

Студеный день 6 декабря 1905 года. В багряном мареве солнце. Резкий, пронизывающий ветер сбрасывает снежные шапки с деревьев, суетится вдоль улиц, обшаривает дома, стучит ставнями... Завьюженные улицы безлюдны. Лишь изредка купец с толпой приказчиков пошумит, направляясь на Красную площадь. И снова зыбкая тишина, необычная для праздничного дня. Люди притаились в домах за закрытыми ставнями, боятся глаза показать: погром навис над городом.

Поодиночке, небольшими группами проходят на площадь дружинники. Вместе с ними Землячка. Она в сером пуховом платке, на ногах — валенки. Рядом с нею вышагивает долговязый Костя Десятников — боевик из типографии Сытина. Темно-синее пальто болтается на его худых плечах. Меховая ушанка надвинута на глаза, шея закутана толстым шерстяным шарфом.

Землячка глянула на багряное марево, на красноватые полосы, резко обозначившиеся на снегу.

— Смотрите, Костя, для царских-то именин и солнце в крови.

Костя наклонился, ссутулился и, пряча смешинки в карих глазах, с чувством продекламировал:

Мы разрушим вконец
Твой роскошный дворец

И оставим лишь пепел от трона,
И порфиру твою
Мы отнимем в бою
И разрежем ее на знамена.

Землячка любила эту песенку, родившуюся совсем недавно. Песенка пришла из большевистской листовки и прижилась.

— Ну, братан, не отставай. — Десятников обернулся к мальчугану лет одиннадцати, который путался в полах купленного на вырост пальто.

Десятников приостановился, надрывно закашлялся. Жил он на Пятницкой в покосившемся домике — снимал комнату у вдовой купчихи. Жил с двоюродным братом, малым разбитным, бедовым; его тоже звали Костей. Так они и прослыли: Костя Большой и Костя Маленький. Землячка знала Костю Маленького и иногда давала ему поручения. И в этот день Костя Маленький увязался за братом, несмотря на его явное неудовольствие. Мальчишка поднялся раненько, и по упрямому сопению Десятников понял, что оставить его дома не удастся. Поругал-поругал для порядка и махнул рукой: все-таки спокойнее — под присмотром будет...

Блеснули купола Василия Блаженного. На Красной площади у Лобного места установлен алтарь. Огромная толпа с хоругвями Николая-угодника, купчики с трехцветными флагами, босяки с портретами царя.

В толпе Землячка заметила Литвина-Седого — члена Московского комитета. Улыбнулась ему, кивнула дружинникам с Пресни.

Хор запел «Боже, царя храни». На Лобное место поднялся митрополит Владимир. Он поправил на впалой груди широкий золотой крест, благословил толпу, громко начал торжественную службу.

Оклады икон сверкали на солнце, и люди обнажили головы. Рядом с певчими, истово крестясь, стоял известный московский богач и погромщик Трофимов. Распахнув меховую шубу, он гнусаво подтягивал хору, отирая платком дряблое лицо в красных прожилках.

В толпе замелькали зеленые студенческие шинели. Появились и курсистки. Рабочих становилось все больше.

Молебен приближался к концу. Оглушительно грянул хор «Многая лета». Толпа отхлынула от Лобного места. Вновь донеслось «Боже, царя храни», и процессия, медленно

колыхнувшись, направилась к Тверской.

Рядом с Землячкой шел пристав; его острые глазки так и стреляли во все стороны. Но, будто спохватившись, он осенил себя крестным знамением и резким голосом подтянул хору. Именины государя императора проходили чинно. Процессия миновала пестрые лавки Охотного ряда, громоздкую Охотнорядскую церковь и медленно поплыла вдоль Тверской.

Солнце, прикрывшись перистыми облаками, посылало свои холодные лучи на промерзшую землю, серебрило покрытые инеем дома.

Нестройное пение стало затихать — процессия остановилась на площади перед дворцом генерал-губернатора Дубасова.

В морозном воздухе отчетливо, как выстрел, стукнула дверь балкона. На дворцовом балконе появился генерал-губернатор Дубасов. Парадная шинель делала его величественным. Золотом сверкали тяжелые эполеты. Он поднял руку, туго затянутую в белую перчатку, приветствуя верноподданническую манифестацию. Процессия замерла; тишина, звенящая и настороженная, нависла над Скобелевской площадью, ждали слова генерал-губернатора.

И вдруг чей-то молодой голос крикнул:

— Дружинники!

Сверкнула разорвавшаяся бомба-«шумиха». Толпа шарахнулась. Землячка на мгновение увидела счастливое лицо Литвина-Седого. Купцы, приказчики и хитрованцы, спотыкаясь и бранясь, разбегались по переулкам. Богач Трофимов, обмякнув и отрезвев, ошалело смотрел на портреты царя, валявшиеся на мостовой. Дружинники-рабочие деловито отбирали у перепуганных купчиков трехцветные царские флаги. Флаги трещали, рвались. И вот уже над площадью реял красный стяг. Его поднял Костя Десятников. Вскоре их стало несколько, они развевались по ветру, как пламя. Красные стяги из царских флагов!

На чугунном фонаре с выгнутым стержнем, стоявшем перед дворцом, Землячка увидела маленькую фигурку. Вглядевшись, узнала Костю Маленького. Он старательно укреплял красный стяг.

С шумом захлопнулась балконная дверь. Дубасов не счел возможным оставаться свидетелем этой «кощунственной» сцены. Костя Маленький, вцепившись в фонарь, озорно засвистел и сипло, простуженно прокричал:

— Скатертью дорожка! До новых встреч!

Землячка засмеялась, торопливо сняла очки, боясь потерять их, и стала пробиваться к Литвину-Седому.

Плечистые дружинники подняли его над толпой. Сдернув шапку-ушанку, он прокричал зычным, густым басом:

— Товарищи! Черносотенная манифестация прекращена. Большевики предлагают провести митинг, — и вновь прокричал:

— Ми-тинг!

— Ура! — раздалось в морозном воздухе.

И грянуло:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног,
Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог...

Быстро заполнился небольшой зал театра «Аквариум». Желающих попасть на митинг так много, что двери решили не закрывать. Пестрый и гулкий шум голосов висит в воздухе вместе со струйками сизого табачного дыма. Землячка сидит с Савельевым в третьем ряду кресел и большими серыми глазами спокойно и доброжелательно разглядывает зал.

— Послушайте, Савельев, зачастила я что-то по театрам...

Савельев поднял нависшие густые брови и вопросительно посмотрел на нее.

— Не так давно была здесь с Сиротинским, да вы его знаете по Московскому комитету, а сегодня вот с вами... — Глаза ее светятся лукавством. — Интересный здесь случай произошел. Собрали в зале охотнорядцев. Кому-то пришла блестящая мысль организовать их в профессиональный союз... ну, за это дело и взялся Сиротинский. Оратор он блестящий, да и смелости отменной. Пришли мы с Сиротинским под охраной дружинников. В зале запах рыбы, мяса так и бьет в нос. Оглянулись — лица зверские. Одеты в чуйки, сапоги бутылками. У многих кожаные фартуки и на поясе навешаны ножи всех размеров.

Савельев, усмехнувшись в щеточку рыжеватых усов, слушал с большим интересом: Землячка не очень-то любила о себе рассказывать.

— Долго их агитировал Сиротинский — успеха никакого! Сидят и злобствуют, а он терпение потерял... Взял да и крикнул: «Долой царя!» Какой тут вой поднялся! Мясники бросились к трибуне, орут отчаянно, некоторые даже ножами размахивают... Тут я подняла дружинников и тоже к трибуне — спасать Сиротинского. Растерянности никакой, стоит спокойно, лишь губы побелели. Насупился и еще громче прокричал: «Долой царя!» Если бы растерялся — растерзали бы мясники. Вот что значит мужество! Еле мы увели его... Такой упрямец! А мясники замерли от удивления. Сцена получилась, как у Гоголя в «Ревизоре».

Землячка тихо рассмеялась. На ее высокий большой лоб наползли морщины. Савельев что-то хотел ответить, но она остановила его.

На сцену поднялся Литвин-Седой. Молоденькая курсистка, непонятно каким образом очутившаяся в президиуме, встряхнув кудряшками, торопливо отодвинулась и уступила ему дорогу.

— Свобода не милостыня. Ее не выпрашивают, а берут с бою. Такой железный закон истории, — низким и густым басом проговорил Литвин-Седой, проведя рукой по вьющимся волосам. — Час великой битвы близок. Монархия или революция — так сегодня решается вопрос. Что принесет России завтрашний день — свободу или цепи рабства, — решаем мы, друзья!

Аплодисменты взорвали тишину зала. Тощий плоскогрудый чиновник почтового ведомства, стоявший в проходе около Землячки, аплодировал яростно, глаза его, круглые и черные, с восторгом смотрели на оратора. Он расправил на груди красный бант и подался вперед. Благообразный господин, сидевший от Землячки слева, поглаживал пышные усы и кивал головой. Землячка скосила глаза, едко улыбнулась уголками губ.

— Долой царя! — крикнул Савельев, насупив нависшие русые брови. — До-лой ца-ря!

На него возмущенно зашикали. Седой благообразный господин всплеснул по-женски пухлыми руками и демонстративно повернулся круглой спиной. Савельев, упрямо сжав рот, чувствительно толкнул его локтем и стал в проходе рядом с дружинниками.

— Вооруженное восстание — единственный выход, если мы хотим покончить с самодержавием. Вместо самодержавия царя мы утвердим самодержавие народа! — гремел со сцены голос Литвина-Седого. — В царский день мы заставили замолчать черную сотню. Но борьба только начинается...

— Господа, черт знает что происходит! — возмущенно вскочил со своего кресла благообразный господин. Его белые холеные щеки покрылись ярким румянцем.

Какая-то смутная тревога взметнулась по залу. Землячка уловила общее движение. Кто-то истошно и надрывно прокричал:

— Казаки! Ок-ру-жа-ют!

Голос потонул в общем гуле. Розалия Самойловна заметила, как ее сосед слева мелкими крестами осенил пухлую грудь; как торопливо сорвала красный бант курсистка, покидая президиум; как испуганно затоптался чиновник почтового ведомства, столь влюбленно смотревший на Литвина-Седого; как воровато вынул из кармана револьвер угреватый гимназист и бросил его под кресло. Но зато к президиуму с разных концов зала, расталкивая

перепуганных обывателей, потянулись дружинники. Литвин-Седой посоветовался с товарищами и сказал отчетливо:

— Друзья! Во избежание ненужного кровопролития митинг прекращаем. Выходите спокойно, без паники...

Нестройный и гулкий шум голосов, топот и шарканье ног, испуганные лица и трусливые взгляды — все это всколыхнуло у Землячки горькое и тяжелое чувство. Волной, мутной и назойливой, передавались все новые и новые подробности: у выхода из театра казаки обыскивают, подозрительных арестовывают. Землячка все еще слышит визгливый и истерический крик чиновника из почтового ведомства. Руки его противно трясутся, а нижняя челюсть отвисла, словно неживая. Зал медленно освобождается от публики. Время тянется тягуче и трудно. Ко всей этой чистой публике, случайно оказавшейся на митинге, Землячка чувствует неприязнь: обывателям ничего не грозит. Охранка и казаки охотятся за революционерами и дружинниками. Вот они-то очутились в ловушке. Что делать? Как уйти? Как спасти дружинников? Что, если смешаться с толпой? Достала из кармана браунинг. Бросить оружие? Она присела в кресло и закрыла уставшие глаза. Нет, невозможно. Денег у партии мало, а оружие страшно дорого. Как труден путь нелегальной доставки оружия, может лишь знать профессиональный революционер! Она наморщила лоб и убрала браунинг в карман пальто. С оружием расстаться немыслимо. К тому же членов Московского комитета партии охранка знает в лицо и не упустит возможности арестовать...

Савельев, вернувшись с улицы и стряхивая снег с барашкового воротника, сказал, что к казакам присоединились драгуны, подвезли артиллерию. Видно, приготовились к настоящей осаде театра. Дубасов уверен, что поймал руководителей восстания в ловушку. Землячка зябко поежилась и решила выйти в сад, где еще толпился народ, ожидая своей очереди в узкий коридор, оставленный казаками. Стала пробираться между кресел и натолкнулась ногой на что-то твердое. Нагнулась — револьвер. Изменив своему намерению, она стала ходить между кресел и выискивать револьверы.

— Савельев, револьверов не хотите? — нарочито безразличным голосом спрашивает она.

— Розалия Самойловна, вот здорово! Вот подвезло! Револьверы гужоновцам, — просит он, повернув к ней лицо с упрямо сжатыми губами. — А то ведь одно горе: ребята рвутся в бой, а оружия — пшик!

— Розалия Самойловна! Савельев! Сюда! Скорее! Все в сад! — крикнул долговязый Десятников. — Литвин приказал разобрать

забор в Комиссаровское училище... А там... — Десятников присвистнул. Его улыбчивые глаза радостно смотрели на Землячку.

— Хороший ты парень, Десятников! — Савельев хлопнул его по плечу.

В заборе, отделявшем сад «Аквариум» от Комиссаровского училища, оторвали несколько досок. Темнело. Снег валил густо.

— Проходите! Проходите! — командовал Литвин-Седой. — Спокойно... По одному...

„ЛЕТУЧАЯ ТИПОГРАФИЯ“

Это была самая необычная типография: без ротационных машин, без шрифтов, без бумаги. Типография не имела помещения. И все же в эти тревожные дни она выпускала газету восставшего народа «Известия». Большевики прозвали ее «летучей типографией».

Пятнадцать наборщиков и пятьдесят дружинников — вот и весь штат. А типография? Типография — любая из существующих в Москве. Поодиночке и небольшими группами дружинники осторожно подходили к типографии, в которой намечали печатать газету. Быстро занимали все входы и выходы, прячась в тамбурах с револьверами... А Москва жила своей обычной жизнью. По городу расхаживали городовые, на сытых лошадях разъезжали жандармы, сновали филеры, спешили горожане.

Случалось, что в типографию, где печатали большевистскую газету, заскакивали шпики. Их пропускали. И они сидели, пока не отпечатывали весь номер. Это был железный закон «летучей типографии». Газету набирали, верстали, пускали на ротацию. А дружинники стояли у окон и дверей с револьверами и охраняли печатников, поглядывая на городовых, топтавшихся в проулках. Тем временем росли и росли пачки газет на толстой шершавой бумаге. Закончив печатать, снимали охрану. И дружинники превращались в разносчиков, тщательно спрятав под пальто драгоценные листки. Иногда к «летучей типографии» подъезжали извозчичьи сани, и газеты прятали под сиденье. Это считалось крупной удачей — сразу уходила большая партия.

Но случалось и так: рабочие печатали газету, а дружинники вели перестрелку с солдатами. Шумели ротационные машины, мелькали газетные полосы, гремели выстрелы. Однажды против «летучей типографии» генерал-губернатор Дубасов выставил две роты пехоты, эскадрон драгун и два артиллерийских орудия. «Летучая типография» превратилась в осажденную крепость, и

дружинники долго вели перестрелку с драгунами. Снаряды подожгли помещение, огонь лизал стены ротационного цеха, дым застилал глаза, а горсточка дружинников защищала типографию. Типография стала баррикадой, а газета — ее знаменем.

В темном Варваринском переулке на Шаболовке стоит ничем не примечательный дом. Узкая тропка, кружась среди снежных сугробов, ведет к маленькой двери, обитой клеенкой.

В эту лунную морозную ночь к дому пробирались дружинники. В горбатой тени, отбрасываемой домом, стоял Костя Маленький, он вместе с дружинником охранял явку. Чуть поодаль — Савельев. Черный барашковый воротник и низко надвинутая шапка, запорошенная снегом, скрывали его лицо. Заметив редкого в столь поздний час прохожего, Костя вразвалочку выходил навстречу, внимательно вглядывался в него и провожал к Савельеву. Тот отделялся от дома и проверял пароль. Тогда бесшумно открывалась дверь. Хозяин конспиративной квартиры, токарь Епифанов, встречал гостей. На столе уютно гудит ведерный самовар. Смешная матрешка в пестром сарафане на чайнике. Около матрешки сгрудились парадные, зеленые в белый горошек, чашки.

На грубо сколоченных табуретках гости. Третий раз в декабре Епифанов приготовился отмечать свои именины.

Землячка любовно разглаживает первый номер «Известий», и по маленькой комнатенке плывет запах типографской краски. Розалия Самойловна устраивается поближе к лампе-«молнии», и теперь видно ее красивое лицо, темно-русые густые волосы, большие серые глаза с золотистыми зрачками. На левой щеке темнеет едва заметный шрам.

Савельев подкрутил фитиль лампы, чтобы прибавить свету. Землячка поплотнее укрепила дужку пенсне и низким грудным голосом начала читать:

— «Московский Совет рабочих депутатов, Комитет и группа Российской социал-демократической рабочей партии и Комитет социалистов-революционеров постановили:

Объявить в Москве со среды 7 декабря, с 12 часов дня, всеобщую политическую стачку и стремиться перевести ее в вооруженное восстание».

В комнате, оклеенной дешевенькими бесцветными обоями, застыла тишина. Лишь слышится молодой женский голос да преувеличенно громко тикают ходики с чугунными гирями-шишками.

— «...Если бы собрать всю кровь и слезы, пролитые по вине правительства лишь с октября, оно утонуло бы в них, товарищи!

Но с особой ненавистью царское правительство обрушивается на рабочий класс...»

Землячка обвела близорукими глазами сидящих рабочих. Вот Епифанов, хозяин явочной квартиры, с открытым лицом и чуть раскосыми черными глазами. Свои большие натруженные руки с короткими пальцами он положил на стол. Землячка заметила, как при чтении они сжимались в кулаки. Рядом с ним Костя Большой. Его тонкие нервные руки с чуть искривленными указательными пальцами скорее напоминают руки музыканта, чем наборщика. Он зажал папиросу, стесняется закурить, щадя Землячку. Она плохо переносит дым, как все больные туберкулезом, и Десятников это знает. Обычно улыбчивые и смешливые глаза смотрят с редкостной серьезностью. Чуть ссутулясь, сидит Адамович, положив руки с переплетенными пальцами между колен. В организации он появился недавно, но боевиком стал заметным. Широкие плечи его плотно облегает сатиновая косоворотка в синий горошек. Время от времени он приглаживает густые вьющиеся волосы. Тут же пристроился и Савельев. Морщины набегают на большой лоб, и кустики нависших русых бровей сдвигаются. Землячка смотрит на этих людей и понимает, что всех их, таких разных, роднит одно великое дело — служение людям.

В низкой комнатенке тесно. Савельев бросил недокуренную папиросу и погасил ее ногой. Самовар все так же весело и бурливо шумел, пахло дымком.

— Розалия Самойловна, а знаете, что сегодня приключилось... — прерывает ее раздумья Десятников, хитро подмигнув товарищам. — Газету-то...

— Да, да. Расскажите, Костя, как печатали первый номер. — Она снимает пенсне и вглядывается в его смеющееся лицо близорукими глазами.

Десятников покраснел от удовольствия. Ему и самому хотелось все рассказать, да как-то стеснялся....

— А дело было так: захватили наши дружинники типографию. Расставили ребят у всех дверей — и сразу же в наборный цех. Спешим, литеры так и постукивают. Только закончили набор — смотрим, хозяин пожаловал. Сам господин

Сытин. Вошел через парадный подъезд. Важный такой. Шапка бобровая, да и на воротнике бобер серебром отливает. А в парадном дружинники — наши да и от Кушнарова. Шапку никто ломать не стал, попросили пройти в кабинет. Хозяин бросил сердитый взгляд, но ничего не сказал. Ну, я пошел его проводить. Кабинет большущий. Туда уже загнали всех, кто ненароком пришел в типографию. В низком креслице сын Сытина. Такая на нем немудрящая тужурка, а в руках, как всегда, книга. В мягких креслах развалились директора. И среди них этот Фролов, с птичьим лицом. Тьфу... Не люблю я его, грешным делом, хоть он везде и кричит, что вышел из рабочих... Только я вот никак в директора не выйду. — И Костя рассмеялся.

Савельев тоже захохотал, ямочка на подбородке стала заметнее. Потом безнадежно махнул рукой: Костя, мол, неизлечим.

— Смотрю, значит, — продолжал Костя, кашлянув в платок и вытирая им губы, — дальше что будет... На середине кабинета стоит стол на львиных лапах. На столе чернильница с бронзовым шаром и телефон. Около телефона дружинник с маузером. Здоровый парень из типографии Кушнарова. К Сытину подбежал Фролов; щеки у него в красных пятнах и дрожат.

«Иван Дмитриевич, что же происходит в типографии? — запищал он, как комар. — Машины стоят, по лестницам снуют какие-то парни с револьверами. Нас, администрацию, никуда не выпускают».

«Это ты должен мне объяснить, — зло и устало обрывает его Сытин. — Ты ведь директор...»

«Сегодня начинается всеобщая забастовка, отец, — говорит сытинский сынок, а сам все книжечку-то поглаживает. — У Кушнарова уже бастуют...»

«Дожили.. Опять бастуем, — вспылил Фролов и принялся маленькими шажками бегать по ковру. — Деньги прибавили, рабочий день сократили... Нет, все им мало... Полицию!» — кричит он визгливо — и к телефону.

Дружинник грозно посмотрел на него и положил руку на трубку. Фролов плюнул и свалился на диван под портретом Екатерины Второй. Пальцами барабанит по подлокотнику — успокоиться не может, а Сытин задумчиво подошел к окну и смотрит на улицу.

«Долго мы так будем сидеть?» — не терпится Фролову.

«Пока они газету не напечатают», — все так же спокойно отвечает Сытин-младший и опять листает книжку.

Костя Большой вновь приложил платок к губам и надрывно закашлялся. Епифанов налил в чашку воды и протянул ему.

Маленькими глотками Десятников отпил воду, и Землячка опять услышала его приглушенный голос:

— «Нельзя разрешать в нашей типографии печатать газету, — опять петухом поднялся Фролов. — Раньше лишь шрифт воровали. Теперь и типографию захватили. Дожили...» — А рука его опять за трубочку телефонную берется.

И опять на дружинника нарвался. Парень попался крепкий. Фролов сверкнул глазами да на диван... Рядом с кабинетом контора. Слышу: там крик, шум, гвалт. Выбежали мы с Сытиным. Гляжу: дружинники держат за воротник молодого парня. Одет чисто, не по-рабочему, в контору пришел как заказчик, а сам, сволочь, хотел казаков вызвать. Пронюхал, что газету печатаем. Он — за аппарат, а тут его дружинники и сцапали... Братан мой, уж как водится, там крутится. Ну и опознал его. «Шпик, шпик!» — зашумели разом. Взяли да и сфотографировали, потом карточки раздадут рабочим — пусть знают гадину... А шпика потащили в ротацию. Газету уже отпечатали, и в цехе лишь бумага разбросана. Валики из машины вынуты, печатники их бензином промывают. Дружинники газеты под пальто распихивают, а некоторые и за голенища прячут. Готовятся, значит, разносить...

— А шпик куда делся? — спрашивает Землячка.

— Дали пинка под зад — и полетел во двор. А наши начали баррикаду строить. Так вот и отпечатали первый-то номер!

— Здорово, право, здорово! — радуется Савельев.

Костя Большой, вытянув усталые ноги, пускал голубоватые струйки дыма. По его хитровато прищуренным глазам Землячка поняла, что Костя еще что-то хочет рассказать, и непременно смешное. «Неисправим», — подумала она, мягко улыбнувшись.

Как много значит в их жизни, опасной и изменчивой, веселая шутка!..

— Иду я вчера на кондитерскую фабрику Эйнема — воззвания несу. Оглянулся — шпик пристроился. Я — в переулок, он — за мной. Ныряю в проходные дворы; он, видно, их знает, гад. Беру извозчика — не отстает. Плутал, плутал, устал до смерти; в ногах вата, во рту дрянь; возьмут — каюк. Весь ведь в нелегальщине... Проверил — тащится, проклятый. Только подмечаю, и он устал, еле дышит, а отстать не хочет. Здоровый, черт, попался.

Вижу церковь святой Варвары, — продолжал Костя, — еще мальчишкой туда ходил с отцом. Тихая такая церквушка, неприметная. И вдруг решился: беру за пятак свечу, бац на колени перед великомученицей.

Громкий хохот покрыл его слова. Костя и сам смеялся.

— Ну и отчудил, — не утерпела Землячка, играя черным

шнурком пенсне.

— Ну вот, стою на коленях, отдыхаю, а сам нет-нет на шпика зыркаю. Тот обалдел. Эх, думает, не за тем шел, дурак... Постоял, постоял, помаялся, кругом старухи, вредные, злые. Шипят на него, косятся. Он и подался к выходу, давай бог ноги, а я знай поклоны кладу. Шпик-то на меня еще раз посмотрел, да с такой злостью!.. Вот так-то за пятак и спасся. Спасибо святой Варваре, помогла...

Тихо скрипнула дверь. Вошел студент-связной, стряхнув с воротника снег, с удивлением посмотрел на смеющихся товарищей. Он снял перчатки, старательно начал протирать вспотевшие очки, тихо и будто виновато произнес:

— Несчастье: Марата взяли, Васильева...

КУРСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

Ветер завалил снегом окраины Москвы. Замерзшие и тусклые окна домов жалобно вздрагивали, а ветер все гнал и гнал острый, колючий снег, ухал и взвизгивал.

Второй день длится митинг в мастерских Курского вокзала. Народу несколько тысяч. В первых рядах — старики, молчаливые, сосредоточенные. Слушают внимательно, согласно кивают головами, но с решением о стачке медлят.

Землячка, расстегнув пальто, сбросив на плечи платок, поглядывает на стариков. Она понимает их состояние. Страшно терять работу — детишки, жены насидятся без хлеба... А сердце разрывается от обиды: мастер кричит, хозяин штрафами задавил. Потеряешь же работу — еще хуже может получиться. Вот и сидят, думу думают.

— Товарищи, после манифеста, когда царь обещал свободу, насилия не прекращаются. Кровь народная льется рекой. Газеты закрываются, за стачки грозят тюрьмой. Так где же она, «действительная неприкосновенность личности», обещанная манифестом?! Тюрьмы забиты революционерами... — Землячка перевела дыхание. — Вчера охранка устроила новый налет. Арестованы наши боевые друзья... Долго ли будут терпеть русские рабочие?! Долой преступное царское правительство!..

Розалия Самойловна легко сошла с трибуны и села в первом ряду, вытирая платком раскрасневшееся от волнения лицо.

Неторопливо в президиум поднимается худощавая женщина, работница с кондитерской фабрики Эйнема. Из-под черного полушалка выбилась седая прядь волос. Потертое суконное пальто, отделанное тесьмой, пахнет нафталином, и Землячка

понимает, что оно праздничное.

— Я по писаному говорить не умею... Здесь вот молодая учительша говорила о манифесте...

Землячка скрестила руки на груди и напрягла слух — ее частенько принимали за учительницу, как вот эта старая работница.

— У нас на фабрике в каждом цехе иконы. Лампады горят... Вроде все должно делаться по божеским законам. А мастер обсчитывает, хозяин Гейс не пропустит случая рабочую копейку отнять. За все штраф и штраф... Стали мы хозяину требования предъявлять, значит, о деньгах. А он как гаркнет: «Всех выгоню!» Вот и поговорили! И еще... Сильно нам, бабам, обидно: почему платят вполовину меньше? Ежели я в лавке покупаю калач, то за него не возьмут полкопейки, как я баба?! Нет, возьмут целую... Почему же платят вполовину меньше, чем мужикам? Видно, нет другого выхода — нужно бастовать...

Работница посмотрела на сидящих рядом с Землячкой стариков и пошла неторопливо на свое место. Шла спокойно, величаво. Голова ее гордо запрокинута, на красивом лице ни малейшего волнения. Землячка проводила ее восхищенными глазами — вот она, русская работница, такую ничем не сломить, ничем не напугать!..

На трибуне — рабочие, рабочие, рабочие... Землячка радуется — хороший признак, зашевелился народ. Неожиданно у нее заныло под ложечкой: вторые сутки перекусить некогда. Речи часами, забежать в чайную нельзя — у входа черносотенцы караулят, требуют на расправу «агитаторшу»... Шепнул ей об этом Костя Маленький, попросил не выходить... Землячку тронула его забота, но есть хотелось отчаянно.

— Тетенька, мясники с Охотного ряда с ножами ждут вас, ножи большущие... Страсть-то какая! — Глаза его, обычно веселые и смешливые, как и у брата, округлились от испуга.

Землячка потрепала его за рыжие вихры, посмотрела на плохонькую шапку-ушанку, торчавшую из кармана, на большие, не по размеру, башмаки.

— Есть-то небось хочется, — по-приятельски нашептывал он Землячке. — Нам, мальчишкам, нипочем голодать, а вы — антиллигентка.

Розалия Самойловна усмехается: забавный паренек.

— Вы не волнуйтесь... Они будут бастовать, так мне братан сказывал. Оружие не знают, где достать, вот и тревожатся...

Костя вынул из-за пазухи ломоть черного хлеба, завернутый в платок, и отдал Землячке, предварительно подув на него.

— Спасибо.

Костя подумал, почесал в затылке, достал из кармана луковицу, а потом и соль:

— Берите... Так вкуснее...

— И впрямь вкуснее, Костя. — Она посыпала крупной солью ломоть хлеба и начала жадно есть. Луковица аппетитно похрустывала на зубах.

И вдруг Костя исчез. Землячка недоуменно оглянулась. Нет... И вот его взлохмаченная голова появилась в президиуме. Он что-то доказывал, прижимая к груди руки.

В мастерских возмущенно закричали:

— Дело серьезное! Не в игрушки играем!

И все же Костя на трибуне. Очевидно, поддержал Савельев. Землячка это поняла по хитроватому выражению, появившемуся на его лице. Костя огляделся по сторонам; держался он солидно, подражая взрослым, говорил степенно и вдруг сорвался:

— Вы не бастуете, потому что не знаете, где взять оружие? Спросили бы нас, мальчишек. Без оружия какая уж там забастовка или восстание! Так мы с братаном думаем... — Он оглянулся на Савельева и мальчишеским звенящим голосом закончил: — В витринах оружейных магазинов Биткова и Фидлера-Кинкеля мировые ружья и револьверы. Там и браунинги, и револьверы, и пистолеты...

— Вот пострел! — громко воскликнул Савельев, широко ухмыляясь.

Громкий гул пронесся по мастерским, рабочие зааплодировали. Смеясь, аплодировала и Землячка.

— Тетенька, так вы одна не ходите. Мы вас через дыру выведем. — Рыжая голова Кости вновь появилась около нее. Казалось, он был совершенно равнодушен к успеху. — Вы тощая и маленькая, а дыра порядочная... Мясники останутся с носом. Ну как, пойдете с нами? — Костя просительно взглянул на Землячку.

— Пойду, Костя, — кивнула она, стряхивая с пальто крошки ржаного хлеба.

Предложение оказалось кстати. Уже несколько дней чувствовала она слежку. Внешне этот человек даже приятен, одет по-рабочему, а руки белые, и все же каждый раз после встречи не покидало неприятное ощущение. «Шпик», — подсказало ей сердце. И сегодня встретилась с ним глазами, когда возвращалась после выступления. Шпик, безусловно, шпик!

Речь Кости, такая мальчишеская, задорная, развеселила рабочих. Землячка это сразу почувствовала. Быстро, легко поднялась на трибуну и, сняв пенсне, требовательно бросила:

— Друзья, долго ли будем думать? Ребята и те знают, что делать в такие дни. Знают и где оружие можно достать... А уж

дружинники не подкачают!

— Восстание! Стачка! — ураганом понеслось к трибуне.

В этот день рабочие Замоскворечья приняли решение о восстании.

Стачка в Москве стала всеобщей...

„КУХАРКА“

На конспиративной квартире собралась «пятерка» по руководству московским вооруженным восстанием. «Пятерка»... Нет Шанцера, нет Васильева — их арестовали в первый день восстания. Нет Литвина-Седого — он с дружинниками на Пресне. От «пятерки» остались двое — Лядов и она, Землячка.

Москва объявлена на чрезвычайном положении. Идут повальные обыски и аресты. Как много боевых друзей потеряли они за эти дни! Одни погибли на баррикадах, других сразила казацкая шашка, третьи в тюрьмах, в полицейских участках. Пожары, кровь, аресты...

В небольшой гостиной у замерзшего тусклого окна — Лядов, худощавый, чуть сутуловатый. Его лицо печально. Руки осторожно отодвигают тяжелую портьеру. По площади проезжает конный наряд полиции. Офицер покачивается на рослой лошади. Площадь хранит следы недавних боев. На мостовой разбросаны мешки с песком. У опрокинутой набок пролетки — пузатая бочка в железных обручах, а поверх нее — кровать с круглыми шарами.

Семеновцы окружили рабочих. Пропускают по одному. Обыскивают — ищут оружие. За оружие — расстрел на месте. Посыльным все сложнее стало пробираться к «пятерке», отрезанной от районов.

Землячка сидит за небольшим столиком, усталая и скорбная. Глаза ее покраснели от бессонных ночей. Бисерным почерком наносит на папиросную бумагу явки и пароли, которые помогут дружинникам уйти в подполье, избежать ареста. Уже не первый час работает Розалия Самойловна, напрягая память. Из множества адресов отбирает самые проверенные. Эти крошечные листки папиросной бумаги должны многим спасти жизнь, сохранить для борьбы.

Лядов смотрит на ее худое, бледное лицо с тенями под глазами. «Почти прозрачная стала за эти дни, — думает он сокрушенно. — Одни лишь глаза остались».

Два длинных и два коротких звонка нарушили тишину гостиной. Землячка быстро сдвинула трубочку папиросной бумаги и вопросительно поглядела на Лядова. Лядов вынул из

кармана револьвер, отошел от окна. Взяла браунинг и Землячка. Дверь в гостиную плотно закрылась; послышались торопливые шаги в прихожей. Щелкнул замок.

Землячка не любила и боялась этих томительных минут неизвестности. Что принесут они? Арест или встречу с другом?! Капли холодного пота покрыли ее лоб. Настороженно и тревожно поглядывает она на дверь, пытаясь понять, что происходит в прихожей. Скрипнула дверь: в гостиную ввалился Савельев.

— Наконец-то добрался, Розалия Самойловна, — проворчал он, пожимая руку Землячке. — Еле проскочил: тридцать шесть раз обыскивали... Пять часов шел с Пятницкой. Все проходные облазил, то облава, то патрули. Зверствуют, сволочи!

— Принесли?

— А как же! — Савельев садится на низенький, обитый красным плюшем диван и из-за двойного голенища сапог осторожно вытаскивает белые листки. — У сытинцев печатали... Последние...

На тонких листках воззвание Московского комитета партии:

«Новая схватка с проклятым врагом неизбежна, близок решительный день. Опыт боевых дней многому нас научил, этот опыт послужит нам на пользу в ближайшем будущем.

Славные борцы за свободу и счастье рабочего класса, бессмертные защитники баррикад, показали и нам и рабочим всей страны, что мы можем бороться не только с ружьями и нагайками, но и с пушками и с пулеметами. И теперь, как и в первые дни, гордо развевается красное знамя на наших баррикадах.

Мы не побеждены... Но держать без работы всех рабочих Москвы больше невозможно. Голод вступил в свои права, и мы прекращаем стачку с понедельника. Становитесь на работу, товарищи, до следующей, последней битвы! Она неизбежна, она близка...

Ждите призыва! Запасайтесь оружием, товарищи! Еще один могучий удар — и рухнет окончательно проклятый строй, всей стране ненавистный!

Вечная память погибшим героям-борцам, вечная слава живым!..»

Землячка передала воззвание Лядову и подошла к окну. Долго смотрела на занесенную снегом площадь. Мела поземка, завывал ветер. На площади пожарные в медных блестящих касках сжигали баррикаду. Огонь разгорался быстро, густой дым окутал площадь.

Жалобно дрогнули стекла. «Стреляют на Пресне», — поняла Землячка. Над Москвой раздавались тяжелые удары пушек. Языки пламени дрожали в вечернем сумраке и делали фигуры пожарных большими и грозными. Темной стаей носились перепуганные вороны. Их подняла артиллерия и вся эта суматоха на площади.

Из окна на кухне зарево над Пресней было видно еще отчетливее. Землячка вздохнула, набрала из обливного кувшина пригоршню воды, освежила лицо. Потом подошла к громоздкому буфету, достала хлеб и колбасу.

— Розалия Самойловна, вам нездоровится?

Она оглянулась, сказала смущенно:

— Устала. И настроение отвратное.

— Н-да, — вздохнул Савельев. — Чего уж веселого. — Он помолчал и вдруг, мягко улыбнувшись, добавил: — Еще повоюем!

Землячка посмотрела на него и тоже улыбнулась.

— Я тут придумала одно дело, — сказала она. — Бои в городе закончены. Остались последние баррикады на Пресне да на Шаболовке. Ну, на Пресне, там Литвин-Седой. А вот на Шаболовку нужно пробиться... Десятникова с боевиками зажали семеновцы. Им помощь позарез нужна. Понимаете? Нам бы раздобыть лихача...

— Опасно, Розалия Самойловна. Вас ведь всякий филер знает. Схватят наверняка. А солдатские патрули на каждом перекрестке...

— Боитесь? — Она колюче смотрела на Савельева.

Он повел плечами.

— Нет, зачем же. О вас беспокоюсь...

По широкому Садовому кольцу быстро несутся извозчичьи сани. Студеный ветер обжигает лицо, перехватывает дыхание. Седоков двое — барин и кухарка с большой плетеной корзиной.

Над Москвой сгущаются темно-сиреневые сумерки. В окнах домов зажигается свет и едва мерцает сквозь замерзшие стекла. Перекрестки тускло озарены фонарями. Торопливо проходят редкие прохожие, прижимаясь к заснеженным заборам. Гнетущая, угрюмая тишина. На сером зимнем небе все ярче разгорается кровавое зарево: горит фабрика Шмита, лесные склады, горят дома Пресни. С Ваганьковского кладбища бьет артиллерия. Пахнет дымом, гарью. На снегу копоть, пепел, головешки...

Неподалеку от трактира Губонина громкий, требовательный окрик останавливает извозчика. Путь преграждают семеновцы. Высокий офицер с крупным неприятным лицом поднимает руку:

— Проезд запрещен... Стой!

Барин в санях презрительно выпячивает нижнюю губу.

Кухарка, щурясь, глядит на солдат, сжимая красными варежками плетеную корзину, из которой высовывают головы два гуся. Один из них, с желтым пятном под немигающим глазом, вытягивает длинную гибкую шею, водит глазами-пуговицами по сторонам.

«Начнут обыскивать — буду стрелять», — решает Землячка.

Лихач невозмутимо похлопывает кнутовищем, а в больших глазах под нависшими бровями — ожидание. «Живым не сдамся, — думает Савельев. — Дорого заплатят. Уложу первым офицера. Буду прикрывать отход Лядова и Землячки — их нужно спасти».

Барин раздраженно откидывает медвежью полость и вылезает из саней.

— Действительный статский советник Левкин, — рекомендуется он, чуть наклонив голову в каракулевой шапке. Крупные завитки каракуля серебрятся от инея. — Три дня сидим из-за беспорядков без провизии. Вынужден был взять кухарку и отправиться к Елисееву. — Он разводит руками. — Дожили, господа!..

— Прошу извинить, — говорит офицер, — вынужден подвергнуть вас обыску. Москва на чрезвычайном положении...

— Милостивый государь... — фальцетом начинает статский советник.

Офицер смотрит бесцветными глазами, и солдаты молча начинают обыскивать, выворачивая карманы и прощупывая одежду. Кухарка низко надвигает на лоб вязаный платок. Скуластый солдат со злыми глазами-буравчиками приближается к саням.

— Что везешь, голубушка? Показывай...

— Как же показывать? — глуповато улыбается кухарка, прыснув в красную варежку. — Вот они, гусаки-то...

Гусак зашипел, захлопал освободившимся от веревки крылом. Кухарка испуганно прижала к груди корзину.

«Га-га-га...» — раздалось в морозном воздухе.

Кухарка старательно удерживала гусака, а тот махал крыльями, вытягивал длинную шею и гоготал.

Солдат попятился. Вид у него был сконфуженный. Офицер брезгливо махнул рукой:

— Проезжайте.

Сани тронулись, и ветер с колючим снегом ударил в лицо. Савельев машет кнутом:

— Но, залетные!

Землячка улыбается, а Лядов ворчит:

— Пятый раз обыскивают, дурачье!.. Доехать спокойно не дадут...

Сани летят на Шаболовку. Землячка придерживает гусаков и

поднимает воротник потертого пальто. Мелькают одноэтажные деревянные дома, трактиры, лавчонки. Лихач сворачивает с Калужской и останавливается у трактира с разбитыми стеклянными фонарями.

Землячка отдает гусаков Савельеву, а сама с Лядовым продолжает путь пешком с неизменной корзиной в руках. Тихими переулками и малоприметными проходными дворами они заходят на баррикаду с тыла. Слышны выстрелы и отрывистый лай пулемета. Семеновцы поднялись в пятнадцатую атаку. Озаренное вспышками выстрелов, трепещет красное знамя на баррикаде.

Высокий плотный дружинник, заметно сутулясь, с маузером на солдатском ремне, встречает Землячку.

— Адамович, — шепчет Землячка, ставя корзину на потемневший снег. — Нужно уходить... Привезла явки...

— А баррикада? — хрипло говорит Адамович, не глядя на нее.

— Оставляем баррикаду...

Адамович смотрит на нее в упор. Он ранен, голова забинтована.

— Оставляем баррикаду, — повторяет Землячка.

При вспышках ружейных залпов, в дрожащем пламени подожженного семеновцами трактира баррикада напоминала беспорядочное нагромождение льдин. Пули свистели, освещая ночную темноту яркими вспышками. Назойливо и зло выговаривал пулемет.

— Пушки! Пушки подвезли! — прокричал знакомый Землячке студент-связной.

Над баррикадой нависает жуткая тишина.

Очевидно, солдаты готовились к новой атаке. Дружинники, курсистки с санитарными сумками торопливо приближались к баррикаде, чтобы убрать убитых и оказать помощь раненым. Землячка увидела, как студент-связной, низко пригибаясь к земле, потащил ящик с патронами. Посмотрел в сторону Землячки, и она поразилась суровому и злому выражению его лица. Громкий детский плач, столь неожиданный в тревожной тишине, заставил ее обернуться. Дружинники на брезенте несли убитого. Адамович медленно стянул ушанку. Землячка смотрит в его широко раскрытые глаза и понимает, что произошло непоправимое. Рядом с носилками семенила маленькая сгорбленная фигурка. Мальчонка лет одиннадцати, рыжий и вихрастый, держал руку убитого и, всхлипывая, размазывал по лицу крупные слезы.

Ветер шевелил русые волосы и красный бант на груди

молодого человека. На белом худощавом лице алела тонкая струйка крови. Пуля попала в висок. Черты лица заострились и поражали удивительным спокойствием. Носилки мерно раскачивались, и казалось, что мертвый хочет подняться...

Мальчонка путался под ногами у дружинников и мешал им идти. Недетское горе застыло у него на лице.

— Братан, братан! — отчаянно кричит он.

Землячка вглядывается в мальчонку и, к ужасу своему, узнает Костю Маленького. Она пытается его задержать, но мальчонка смотрит расширенными от ужаса глазами и не видит ее. Он спешит за носилками, путаясь в полах длинного пальто, и шепчет посиневшими губами:

— Братан... Братан...

«ПРИВЛЕЧЕННАЯ К ДОЗНАНИЮ...»

РОТМИСТР МИРОНОВ

Последние дни марта. 1906 год. Воздух наполнен ароматом набухающих почек и чуть прелой листвы. Полдень.

Под низкую арку входит Розалия Самойловна. Тонкая рука в лайковой перчатке держит букетик подснежников. С крыши кирпичного дома, к которому она направляется, свисают ледяные бороды. В солнечных лучах они играют и искрятся. Крупные капли падают на заснеженный тротуар. Капля за каплей...

Землячка поднимает голову и слушает звонкую капель, смотрит на быстрые ручейки, уносящие последние следы зимы. Она с удовольствием подставляет солнцу лицо с едва заметными веснушками, прищуривая глаза. Легкий ветерок шевелит желтоватые перышки на модной весенней шляпке. Оглядываясь, прошлась вдоль кирпичного дома. Кажется, все благополучно.

Стремительно поднялась на третий этаж в одну из неприметных докторских квартир на Кисловском, которых так много в тихих московских переулках.

Розалия Самойловна остановилась у двери с начищенной медной ручкой и нажала кнопку звонка. Молоденькая горничная в белой наколке помогла даме снять пальто и пригласила в гостиную. В кабинете доктора Калантарова раздался едва уловимый шорох, но Землячка, занятая своими мыслями, не придала этому значения.

В гостиной на узком диване и полумягких креслах, раскрыв

газеты и журналы, сидели участники конференции военной социал-демократической организации, которую удалось собрать с большим трудом в эти весенние дни 1906 года. Лиц их Землячка разглядеть не могла.

— Добрый день, — сказала она, улыбаясь большими серыми глазами.

Газеты и журналы зашевелились. Землячка увидела Ярославского, его открытое лицо, вьющиеся волосы, высокий лоб. Он пожал ей руку и пригласил к столу:

— Начнем. Все в сборе. Подсаживайтесь.

Землячка отодвинула обитое плюшем кресло, достала из ридикюля бумагу и карандаш.

Солнечный зайчик скользнул по мраморному столику, позолотил раму старинного портрета над диваном.

— Ну и денек сегодня, — певуче заметила она. — Весна...

Резкий звонок прозвучал в прихожей, прозвучал требовательно, по-хозяйски. Вновь зашуршали газеты и журналы. Розалия Самойловна приложила платок к щеке.

Горничная зачем-то приоткрыла дверь в гостиную, испуганно заглянула туда и поспешила на звонок. Землячка напрягла слух: все еще надеялась, что кто-то из пациентов пришел на прием к доктору. Напрасно. Она заметила, как жандармский ротмистр резко отстранил горничную и торопливо шагнул в гостиную.

— Господа, придется повременить с лечением зубов... Сопротивление бесполезно. Вы арестованы.

Землячка опустила газету «Русское слово» и аккуратно начала складывать платок.

— О, какой сюрприз!.. Вот не ожидал! Розалия Самойловна! — Ротмистр сиял от удовольствия. — Вы неуловимы! Попробуйка разыщи вас в Москве! Честь имею представиться — ротмистр Миронов. — Офицер наклонил голову с черными нафиксатуаренными волосами и прищелкнул каблуками. — А, господин Ярославский! Сердечно рад, — с деланным удивлением рассматривал ротмистр задержанных. — Те-те-те, и господин Костин здесь... Ба, знакомые все лица...

Он уселся, сдвинул газеты, принялся составлять протокол.

— Начнем с дамы... Розалия Самойловна, — произнес он все так же любезно, — ордер на арест предъявить или поверите на слово?..

Землячка поднесла подснежники к лицу.

— Очевидно, происходит смешное недоразумение. Я рада знакомству, но ордер можете не предъявлять. Я не та, за которую вы меня принимаете. Пожалуйста, мой паспорт.

Она порылась в ридикюле и выложила на край стола

документ на имя мещанки из Могилева.

— Розалия Самойловна, — и он укоризненно покачал головой, — почему вы столь плохого мнения об охранном отделении? Паспортов, имен у вас предостаточно. — Он помолчал и повертел в руках паспорт. — На сей раз Осмоловская. Гм... Надеюсь, вы не заставите устанавливать личность, терять время на ненужные формальности и очные ставки?

Ротмистр Миронов щелкнул замком портфеля и начал убирать протоколы конференции, отобранные при обыске у Ярославского.

Землячка удивленно развела руками. На лице появилась насмешливая улыбка, глаза с откровенным недоумением смотрели на ротмистра.

«Крепкий орешек», — подумал Миронов. Служба в охранном отделении научила его разбираться в людях; он понимал цену подлинного мужества.

Миронов подошел к камину с чугунной решеткой, взял серебряный колокольчик и позвонил:

— М-да... Весьма сожалею, мадам.

Дверь кабинета отворилась, и на пороге выросли жандармы.

Семь шагов в длину, четыре шага в ширину, массивная, обитая железом дверь с глазком, сводчатый кирпичный потолок. Оконце с решеткой и гладкими скосами вместо подоконника, пол из грубо отесанных каменных плит, железная койка — вот и все приметы камеры Сущевской полицейской части на Селезневке.

Землячка, тяжело вздохнув, опустилась на узкую койку, привинченную к полу. Кто-то осторожно тронул ее за локоть. Она вздрогнула и подняла голову. К удивлению своему, увидала Татьяну, сестру Ярославского, очень похожую на брата. Ее привезли в участок недавно, арестовали на какой-то сходке. Землячка обрадовалась. Татьяна прижалась к ней плечом и зашептала:

— Брата сюда же привезли? Вместе взяли?

Розалия Самойловна кивнула головой.

— Условия здесь сносные. Все зависит, с чем взяли. Чистыми?

— Какой там чистыми... Громкое дело раздуют. — Землячка устало махнула рукой.

Первые часы заключения всегда очень тягостны. «Нужно успокоиться и все взвесить, — подумала Землячка. — Безвыходных положений не бывает. Как огорчится Ильич, узнав о провале конференции. Ловко же сработала охранка. Опять не обошлось без провокатора... Очевидно, в соседней камере Ярославский...»

Землячка прислушалась, покосилась на смотровой глазок и тихонько постучала в стену. Трижды повторила условный сигнал. Тюрьма молчала. Она поднялась с койки и направилась в противоположный угол. Провела рукой по шершавой мокрой поверхности и вновь начала выстукивать. Замерла. Соседняя камера отвечала глухими дробными ударами — за стеной оказались уголовные. Не повезло. Розалия Самойловна отошла, заложив руки за спину. Горькая морщина появилась на лбу. Нужно, очень нужно договориться с товарищами. Главное — разыскать Емельяна. Вряд ли прогулки здесь совместные. Тогда должны заговорить тюремные стены... А пока терпение и терпение.

Пережитое волнение давало себя знать, хотелось во всем разобраться. Татьяна понимала ее состояние: трудно свыкнуться с мыслью, что ты уже не принадлежишь себе.

Землячка легла на железную койку, укрыла ноги грубым одеялом и предалась воспоминаниям. Первую ночь она провела без сна. Воспоминаний тюремщики отнять не могли...

Вновь ее «привлекли к дознанию». На сей раз по делу военной организации социал-демократов.

В тюрьме она сидит не первый раз, да, очевидно, и не последний. Впрочем, если будет доказано ее участие в вооруженном восстании, вернее — в «пятерке» по руководству восстанием, то ее ждет смертная казнь или «высочайшая милость» — замена казни каторгой без срока... Вряд ли дождаться ей царской милости: слишком велик синодик «прошлых грехов»... У кого из профессиональных революционеров он чист? У Шанцера? Или у Васильева-Южина? А их взяли первыми. Вот уже более трех месяцев, как они в тюрьме. Арестовали их сразу же, седьмого декабря, в первый день восстания.

В те дни — дни радости — известие об их аресте показалось неправдоподобным и даже нелепым. Она направлялась в район Замоскворечья после заседания «пятерки». Настроение отменное — началась революция! Она весело подшучивала над своим другом Шанцером, которому предстояло уговаривать меньшевиков, тот лениво отругивался: хотелось живого дела, а не разговоров. А когда и Васильев стал ругаться, то она не могла себя сдержать и звонко расхохоталась. Расхохотался и Шанцер, поправляя бабочку на белоснежной сорочке с жестким крахмальным воротничком. Он собирался с Васильевым на заседание коалиционного комитета, чтобы заставить меньшевиков примкнуть к восстанию. В этом случае остановилась бы Николаевская железная дорога и связь Москвы с Петербургом

была бы прервана. Правительство не смогло бы перебрасывать войска в Москву, и генерал-губернатор Дубасов не получил бы подкрепления...

Розалия Самойловна давно дружила с Шанцером. В Москву его прислал Ильич.

Встреча, на которой арестовали Шанцера, состоялась на квартире мелкого банковского служащего в Косом переулке.

Связной-студент принес Марату пачку только что вышедшей газеты «Известия». Чуть влажные листы пахли еще типографской краской.

Совещание оказалось долгим и, в сущности, бесполезным. Эсеры, которые также присутствовали на этой встрече, ограничивались туманными фразами. Они стояли, как всегда, за террор и в подробности не вдавались. Меньшевики произносили драматические речи: и сил мало, и оружия нет, и кровопролитие страшило... Особо упорствовал Переверзев с Николаевской дороги, оказавшийся решительным противником восстания.

— Но если Николаевская дорога останется в руках правительства, то в Москву будут переброшены каратели, — горячился Марат.

В минуты огорчения Марат пощипывал бородку и надевал очки в металлической оправе, словно желая лучше рассмотреть собеседника. Много резких слов наговорил он Переверзеву, и тот не выдержал:

— Я не могу отвечать за Николаевскую дорогу... Меня вообще каждую минуту могут арестовать!

Все замолчали. Фигура Переверзева была столь комична, что Шанцер, пряча лукавые искорки в глазах, не утерпел:

— Это почему же?

— За мной идет слежка. — Переверзев возбужден; лицо испуганное, бледное, руки трясутся, но говорит с пафосом. — Шпики ходят по пятам. Жизнью рискую. Но я революционер и пришел на совещание, хотя и не уверен в его необходимости.

— Болтун, а не революционер, вот вы кто, сударь! — зло оборвал его Марат. — Революционер никогда не подведет товарищей... Заседание прекращаем.

Бесшумно исчезли эсеры, смущенно поднялись меньшевики. Переверзев уходил оскорбленным.

Марат начал натягивать пальто, в это время в дверь бешено заколотили. Васильев вынул револьвер, но Марат остановил его. Дверь подперли столом и начали быстро уничтожать компрометирующие бумаги. Дверь трещала и вздрагивала под ударами, наконец слетела с петель, и в комнату ворвались жандармы. Марат покосился на Васильева и выложил револьверы.

...Она знала привычку Шанцера носить в каждом кармане по револьверу. Оратором он был самозабвенным. И вот однажды на митинге у него вытащили из кармана револьвер. Шанцер так увлекся, что не заметил пропажи. Но потом сунул руку в пустой карман и растерялся. С тех пор он в каждом кармане носил по револьверу.

И сейчас, в камере, она припомнила, как пыталась установить связь с арестованными, мечтала организовать побег, но сделать ничего не удалось.

Обыск производили торопливо.

Жандармский офицер разыгрывал либерала. К тому же он страшно боялся адской машины и осторожно обходил... старенький граммофон. Думал, что именно там она и запрятана. На потертом коврике у дивана валялось воззвание с призывом к вооруженному восстанию, написанное Васильевым. Жандармский офицер поднял его и сокрушенно покачал головой.

— Материалов вполне достаточно, чтобы отправить вас, господа, на виселицу.

Офицер закончил составлять протокол ареста, предложил его подписать. Шанцер поднес бумагу к близоруким глазам и начал читать. К удивлению Васильева, он громко рассмеялся:

— Позвольте, господин офицер, здесь значится лишь пять револьверов системы «бульдог», а где же отобранные маузеры? Какая странная забывчивость: не указали в протоколе два маузера, и на столе их нет. Куда же они делись?

Офицер покраснел и свирепо взглянул на жандармов. Те отвели глаза.

Васильев откровенно хохотал, поглаживая рукой маленькую бородку.

— Господа, мы понимаем, что оружие нынче чертовски дорого, — с издевкой продолжал Шанцер. — Продать его можно нашему же брату революционеру. Ну, а как же царь- батюшка? Наносить урон казне! — Голос его звенел. Он пародировал обвинительную речь прокурора, а речей этих за свою жизнь наслушался немало. — Что же получается, господа? Мы, революционеры, с открытым сердцем отдаем оружие, беспокоясь о казне... И вдруг оно пропадает! Обижаете нашего заступника, который и так растерял оружие на русско-японской войне! Нехорошо, господа! — Шанцер вздернул бородку, швырнул протокол на стол. — Нет, подписать не можем при всем желании, господин офицер. — И весело подмигнул Васильеву: — Не так ли, друг?

Васильев согласно кивнул.

Щелкнул смотровой глазок. Землячка поднялась, подошла к маленькому окошечку, до которого и дотянуться-то непросто.

— Опять небо в клетку, — горестно прошептала она, расстегнув верхнюю пуговку платья.

Ее лихорадило. Поплотнее закуталась в большой шерстяной платок, одолжила его у Татьяны. Трудно привыкать к спертому тюремному воздуху. К тому же у нее туберкулез, нажила в киевской тюрьме. Заключение она всегда переносила тяжело. Особенно первые дни — задыхалась, обливалась холодным потом. Кашель разрывал грудь, не давал спать, к горлу подкатывался сладковатый ком.

Заскрипели ржавые петли тюремной двери, и в камеру вошел надзиратель:

— Пожалуйте на допрос.

Тюремные дни одинаковы, одинаковы, как стертые монеты. Полутемная камера и залитый светом кабинет следователя. Громоздкая машина «правосудия» приведена в движение. Допросы, дознания, очные ставки следуют почти непрерывно.

Розалия Самойловна осунулась и побледнела за эти дни. Особенно она устала сегодня. Двенадцать часов перекрестного допроса. Двенадцать часов нечеловеческого напряжения. Двенадцать часов непрерывной битвы с умным и коварным врагом. От утомления дрожали ноги, пересохло во рту, разболелась голова.

По обыкновению, арестованную посадили лицом к свету. После полутемной камеры у нее плыли яркие оранжевые круги перед глазами. Вопросы сыпались то вкрадчивые, как журчание ручейка, то резкие, как удар плети. Лицо ее оставалось непроницаемым. Землячку запугивали и шантажировали, уговаривали и обольщали. Она упорствовала и молчала. Миронов несколько раз вытирал платком вспотевший лоб и, наконец, не выдержал:

— Знал, что с вами придется нелегко, но всех сложностей даже предположить не мог. Это самый тяжелый допрос в моей практике. Если так будет продолжаться и впредь — вынужден лишить вас прогулок.

И опять влажные холодные стены камеры. Семь шагов в длину и четыре шага в ширину — вот и весь ее путь. Но она упрямо шагает по камере. Татьяна молча на нее смотрит. Борьба только начинается, и нужно сохранить силы. А разве легко достались Бауману двадцать два месяца в Петропавловской крепости и четырнадцать месяцев в Таганской тюрьме?!

И припомнила она солнечный октябрьский день, которыми так богата русская осень. Бауман, освобожденный из Таганской тюрьмы под залог, ворвался на заседание Московского комитета. Обсуждался ответ на царский манифест 17 октября о так называемых «свободах» и «действительной неприкосновенности личности». Кто-то предложил отпечатать листовку, злую и хлесткую. И из-за листовки начался спор, жаркий и тяжкий. Бауман не захотел принимать участия в этом споре. Он весь светился: вновь на свободе, вновь среди боевых друзей!

— Пошли освобождать политических заключенных! Я уходил из Таганской тюрьмы и дал слово — вырвать всех на свободу. За дело, друзья!

Он энергично поднялся, отодвинул стул и распахнул створки окна. В комнату ворвался гул возбужденных голосов. Землячка через плечо Баумана глянула на улицу. Революционная Москва бурлила. То были грозные дни октябрьской политической стачки 1905 года.

Заседание комитета происходило в Высшем техническом училище на Немецкой. Манифестация вспыхнула стихийно. У Баумана от удовольствия засверкали глаза. Он подхватил Землячку под руку и потащил на улицу. Смеясь, пробирался за ними и Шанцер.

— Становись! — крикнул Бауман.

Рабочие и дружинники, студенты и манифестанты выстраивались в колонну. Землячку, как и Баумана, захватила грандиозность происходящего. Красные знамена, стяги, транспаранты, красные банты у студентов, красные повязки на руках дружинников. Счастливые, возбужденные лица, свободные, гордые голоса... Бауман поднял руку, приветствуя знакомых дружинников. Внимание его привлекли рабочие, которые толпились у ворот прядильной фабрики Шапова.

— Сейчас я их сагитирую и приведу сюда! — крикнул Бауман, показывая глазами на рабочих.

Фабрика Шапова находилась неподалеку, но Землячку охватило нетерпение. Манифестация задерживалась, задержка, хоть и небольшая, казалась ей непозволительной. Она пыталась отговорить Баумана, но удержать его не удалось.

— Не пройдет и пяти минут, как я буду с вами!

Бауман решительно остановил извозчика, взял у дружинника красное знамя и направился к рабочим, словно птица, окунулся в родную стихию. Он был счастлив. Таким и запомнила его Землячка.

Толпа бурлила... Смех... Знамена...

Она вынула из кармана серой юбки часики и приготовилась

ждать. Прошли роковые пять минут... Бауман был мертв. Землячка едва не закричала от горя, до крови закусив нижнюю губу. Шествие прекратили. Актовый зал заполнили рабочие, дружинники. В центре зала на столе, покрытом красным стягом, покоилось тело Баумана.

Землячка взглянула на Шанцера; по его лицу катились крупные слезы. Многие плакали не стыдясь.

...Три дня прощалась рабочая Москва с Бауманом. Землячка не отходила от гроба. Временами к ней присоединялся Шанцер, тихо о чем-то спрашивал. Розалия Самойловна смотрела на посеревшее лицо, воспаленные глаза и плохо его понимала. Она и сама постарела за эти горестные дни.

Все новые и новые делегации входили в зал. Венки, увитые черным крепом, стяги, осенние цветы, непрерывные траурные митинги у гроба.

Но вот в зале установилась какая-то особенная, торжественная тишина. Рабочие и дружинники опустились на колени. Зазвучала клятва. Землячка, стоя на коленях, повторяла ее слова:

— Жить и бороться, как Бауман... Быть преданным революции, как Бауман... Встретить последний час, как Бауман...

Она поднялась, отряхнула рукой платье и поцеловала Шанцера.

Клятву она твердила осенними ночами, когда вместе с дружинниками с револьвером в руках охраняла красный гроб. То были страшные ночи: охранка задумала выкрасть Баумана, испугавшись народной манифестации. Нет, Бауман и мертвый принадлежал народу...

Землячка лежала с открытыми глазами. В решетчатое окно пробивался слабый мутноватый рассвет. Татьяна спала, укрывшись с головой, и тихо всхрапывала.

Допросы и раздумья, допросы и раздумья. И так день за днем. Долго ли будут держать в участке? Наверно, скоро переведут в тюрьму. Следствие она старается затянуть, но Миронов явно спешит. Нужно отдать ему должное: не глуп и дело знает досконально. Трудно приходится на допросах.

Землячка встряхнула головой: мысли все какие-то грустные. Плохо быть оторванной от революции. А почему оторванной? Ведь бежал Бауман из киевской тюрьмы? Бежал!

Побег! Безусловно, это единственный выход. Кольцо следствия затягивается. Вчера Миронов разбил ее версию о мещанке из города Могилева Марии Казимировне Осмоловской, православного вероисповедания, за которую она себя выдавала. На несчастье, в Могилеве оказалась здравствующая мещанка

Мария Казимировна Осмоловская, вдова коллежского регистратора, семидесяти пяти лет.

Землячка еле сдержала улыбку, когда Миронов предъявил карточку сморщенной старушенции в капоре с лентами и ввалившимся беззубым ртом.

— Неужели это вы, Розалия Самойловна? — спросил он участливо, а глаза смеялись.

Да, действительно смешно. Миронов думает на этом деле построить карьеру. Процесс обещает быть громким. Бойкий ротмистр вообще высоко метит. Розалия Самойловна повернулась к стене и подложила ладонь под голову. Бежать! О чем бы она ни думала, о чем бы ни вспоминала — бежать!

ПРОГУЛКА

В камеру вошел надзиратель. Землячка от Татьяны знала, что зовут его Вадимка, что он сластена и пьяница. Передал коробку конфет, наполовину опустошенную, и спокойно отвел глаза, заметив ее возмущение.

Волосы у надзирателя зализаны на прямой пробор, он так и благоухает дешевыми духами. Мундирчик отутюжен. Вадимка служит в полиции недавно, на лице, скуластом и безбровом, улыбочка.

Розалия Самойловна нетерпеливо поглядывает на часы. Сегодня разрешена прогулка, на которую она возлагает большие надежды.

Маленький дворик, мощенный булыжником, примыкал к полицейской части. В дни передач через этот дворик проходили родственники и близкие. Если же совпадет время прогулки со временем передач, то можно на ходу перебросить словом.

Солнце заливает тюремный дворик. Землячка с удовольствием прохаживается по кругу, стараясь поближе держаться к калитке, через которую пропускали посетителей. Ждет Катенину, свою давнюю подругу.

Дворик усажен тополями, почки их набухли, позеленели и покрылись лаком. На голых ветвях прыгают взъерошенные воробьи. Слышится заунывный великопостный звон. Это у Пимена. Стояла страстная неделя, и колокола мрачно гудят о суетности мирской.

Землячка знала этот храм. Совсем недавно пришлось укрываться в нем, спасаясь от слежки, да не одной, а с Костей Маленьким. Она шла на Миусы к трамвайщикам. Сопровождал ее Костя. Как никто другой, он знал лабиринты тверских и миусских

переулков. И вдруг за ними увязался шпик. Они стали петлять, нырнули в проходной двор у дома Курникова, облицованного кафелем с красными и синими цветами, и выбрались на Сущевскую. Началась оттепель, улица утопала в грязи. Ноги скользили и проваливались. На Селезневке удалось смешаться с толпой богомольцев и свернуть к церкви святого Пимена. Золотились купола, и голуби грелись на солнце.

Она усмехнулась, заметив растерянное и удивленное лицо шпика. Но все же он вошел в ворота церковного дворика, стянул барашковую шапку, перекрестился. У большой иконы святого Пимена было особенно людно. Землячка, сощурившись, начала рассматривать схимническое одеяние святого. На черной рясе череп и скрещенные кости. Лик грозный и неумолимый. «А церковь все твердит о милосердии и любви к ближнему», — подумала она.

Около входа толпа, пестрая, безмолвная. Дети с худенькими лицами и ввалившимися глазами. На паперти нищие. В рубище юродивый с деревянной тарелкой у босых ног. Старухи мелко крестятся и подают милостыню.

Костя пристроился к простоватому приказчику в поддевке. Землячка встретилась с Костей взглядом. Мальчик ни единым жестом не выдал знакомства. Настоящим подпольщиком стал. Как изменился после смерти брата! Вытянулся, похудел, а глаза совсем взрослые.

Розалия Самойловна знала, что после гибели брата его усыновил Савельев. Они вместе скрывались в Шуе, а потом в Иваново-Вознесенске.

Землячка поворачивает голову и встречает открытый взгляд Кости. Большое, купленное на вырост пальто расстегнуто. Виднеется сатиновая рубаха и тонкий шелковый поясок. Лицо осунулось, под глазами синяки.

«Трудно мальчонке», — думает Землячка.

Костя зажег копеечную свечу у светильника и начал пробираться к Землячке.

«Шпика решил спугнуть», — поняла она, чувствуя за своей спиной тяжелое астматическое дыхание незнакомца.

— Куда? — свистящим шепотом спрашивает шпик, хватая его за руку.

— Дяденька, пусти, дай пройти, — нарочито громко отвечает Костя, стараясь привлечь внимание к шпику. — Там, в углу, икона Спасителя. Мамка велела свечку поставить...

— Пусти мальчонку, — потребовал старик с клюкой, сердито сверкнув глазами. — Здесь храм божий!

— Дяденька, пусти меня, — канючит Костя.

На них стали оглядываться. Шпик покраснел, съежился и, зло посмотрев на Костю, заторопился к выходу.

Костя опустился на колени у иконы Спасителя в богатом окладе, подмигнул Землячке. Чистым и звонким голосом подпевал хору, набожно крестился и клал поясные поклоны.

— А мальчонка-то и впрямь старательный, — шепнул Землячке старик с клюкой, недавний его защитник. — Ишь, какой истовый...

А звон все плыл над Селезневкой. Заключенных вывели на прогулку. Медленно тянется время. Землячка нервничает... Наконец на маленьком дворике показалась быстрая и стремительная Лидочка Катенина. В руках у нее желтый саквояж. «Передача», — догадалась Землячка. Она прибавила шагу.

— Спасибо, что пришла. Решили бежать. Процесс будет тяжелым. Я договорилась с Ярославским. Он тоже просит помощи. Нужны надежные квартиры, чтобы укрыться в первые дни, деньги и план окрестности. Мужчинам еще нужна пилка, хотят снять решетку. Лучше всего запечь пилку в куличи и передать в пасхальные дни. Участок завален передачами — досмотра тщательного нет. — Землячка обернулась и бросила взгляд на жандарма. — Да и вина побольше — охрану подпоить... Мне лично передай шляпу, вуаль, перчатки, ну и, конечно, адрес...

ШЛЯПА, ВУАЛЬ, ПЕРЧАТКИ

Тюремные дни скучны. Только Землячка не замечает этого. Она мысленно разбирает «технику» побегов. «Искровцы» бежали из киевской тюрьмы. Отличный побег! Но он ведь был групповым... Уйти вместе с мужчинами? Боязно подвести — прежде нужно помочь им. К счастью, связь налаживается, адреса и явки переданы, возникли трудности с планом окрестности. Но как-нибудь и это устроится.

А как быть ей? Но ведь известны не только групповые побеги. Хотя бы побег Кропоткина... Нет, слишком дерзок. Он бежал среди бела дня.

Друзья тщательно готовили побег. Разыскали квартиру, окна которой выходили в госпитальный дворик. Кропоткин в это время находился под усиленной охраной. Сначала сигнал побега решили подать воздушными шарами, но потом отказались. Шары почти не поднимались вверх. И на помощь пришла скрипка. Звуки ее заполнили окрестность. Сначала надзиратели удивленно

поднимали головы, прислушивались, потом привыкли, перестали обращать внимание. И как только приближался час прогулки заключенного, так начинала петь скрипка. Чаще всего играли «Колыбельную» Моцарта. По-матерински нежно утешала она заключенного, рассказывала ему об удивительно прекрасном мире, звала за собой.

Землячка поправила волосы. Вспомнился родной дом. Мать, напевавшая ей, маленькой девочке, эту тихую, ласковую песню. Закусила губу, смахнула слезу. Давно не получала весточки из дому. Живы ли они? Все ли там благополучно? Как тяжело приходится ей без Мани. Они так дружны с сестрой и близки. Много света и радости принесла в ее жизнь Маня, доверявшая ей самое сокровенное. Где теперь она? Знает ли об аресте? Здорова ли?

Розалия Самойловна закрыла лицо руками, словно пыталась спрятаться от непрошеных воспоминаний.

В семнадцать лет простилась с родным домом. Да и могла ли она довольствоваться безбедной жизнью, когда народ стонал от горя? Усмехнулась: безбедная жизнь — не те слова. Отец ее — известный в Киеве купец первой гильдии, богач, а дочь — революционерка!.. Нет, лучше думать о побеге Кропоткина, чем терзать себя...

...Друзья Кропоткина наняли лучшего рысака Петербурга, знаменитого Варвара. Кто-то из участников побега в роскошной пролетке подкатил к воротам тюрьмы. В ногах узел с платьем. Наступили томительные минуты. Кропоткин прохаживается по дворику, настороженно прислушивается. Облокотился на ружье стражник. Скрипка помолчала — и вдруг бравурные звуки марша. Кропоткин точным и рассчитанным движением кидается на часового. Отшвыривает его от ворот, сбрасывает арестантский халат и выбегает на улицу. Его втягивают в пролетку. Варвар от нетерпения бьет копытами и косит кровавым глазом. Кучер трогает вожжи, и Варвар с места берет галопом. Кропоткин на ходу надевает пальто и цилиндр.

А скрипка все еще плачет. У скрипача от волнения дрожат руки. Растерянно мечутся часовые, гремят выстрелы, голосят бабы, и ухмыляются горожане.

Кропоткин неторопливо проезжает по Невскому...

Землячка радостно смеется. Какое мужество и какое самообладание! Хватит ли сил? Она закрывает глаза, словно решение уже найдено. Сгустились сумерки. В эти часы в камере особенно мрачно. Загромыхала дверь, и вошел надзиратель. Под потолком зажглась тусклая электрическая лампочка. Землячку

всегда забавляла эволюция тюремного освещения... Она сидела при керосиновой лампе... Сидела при свечах... И вот сидит при электричестве...

Марии Ветровой в Трубецком бастионе светила керосиновая лампа. Высокими каменными стенами стиснуты его казематы. Луч солнца не проникал в камеры-склепы для заживо погребенных. Жандарм, подсматривающий в глазок. Окошко, затемненное металлическими ставнями.

И Ветрова восстала. Она взяла лампу, облила себя керосином и подожгла...

Теперь уж не подожжешь: электричество. Детские больницы без света, а здесь в тюрьмах — электричество! Прогресс! Землячка поежилась. Сырость, темнота, тишина — эти вечные спутники заточения ей хорошо знакомы.

Сегодня дежурил надзиратель по прозвищу Николай Второй. Он и впрямь напоминал царя: гладко зачесанные волосы, пушистые ржаные усы, да и пьяница безбожный.

Надзиратель принес большой медный чайник. Камера грязная, а медь начищена до блеска. Землячка с удовольствием налила себе кипятку, обхватила руками горячую кружку. Задумалась. Она не сомкнула глаз и в эту ночь: бежать...

Сущевская полицейская часть построена недавно, и побег отсюда, пожалуй, невозможен: усиленная охрана, пулеметная башня, метровые стены, тяжелые двери. Но в декабрьские дни здесь побывали дружинники, забросав ее бомбами. Камера и сейчас еще, после недавнего ремонта, пахнет краской. Запах этот, смешанный с сыростью, особенно неприятен. И всю эту сырость вбирают больные легкие. Она провела рукой по шершавой стене, постучала каблуком по каменным плитам...

А если побег не удастся? Тогда что же? Погибать? Нет, нужна хитрость...

На тюремной койке под тонким соломенным тюфячком лежат желтые кожаные перчатки, шляпа и модная вуаль.

Землячка была на допросе и не видала, как эти вещи очутились в камере. Только знает, что передала их Катенина.

Сердце тревожно бьется: побег становится реальностью. Как теперь волнуются на воле, страшась за нее. Катенина дала явку в гостиницу «Луч». Кажется, удачно. Там обосновались актеры. Двери не закрываются ни днем ни ночью. В одном из номеров живет знакомая актриса. Там и будет ее ждать Катенина.

Дни заключения тяжки. Она похудела, кружится голова, ноги ватные, чужие... А если слабость одолеет в час побега?

Несколько шагов по камере. Маленькое оконце с решеткой. За решеткой — солнце, за решеткой — небо, за решеткой —

товарищи. Долго смотрит она на виднеющийся клочок неба и грезит о воле. Из тюрьмы может уйти только физически сильный человек. Кропоткин в Трубецком бастионе заставлял себя проходить несколько верст в день. Камера его по диагонали имела девять шагов. Он прикинул: девять шагов сто пятьдесят раз — получится верста. Тысячу пятьдесят шагов по камере, в которой девять шагов!

И Землячка переводит свои семь шагов в версты и шагает, шагает по камере... Думы... Думы... Побег выверяется во всех мелочах. И так день за днем...

Наконец она решается. Бывают минуты, когда камера остается открытой: разносят вечерний чай. Эти минуты и должны спасти.

Громыхает засов, скрипит тюремная дверь, и в камеру входит надзиратель Николай Второй. Он не один, а с купцом Анучиным. Татьяна шутливо с ними здоровается, хитровато прищуря большие глаза.

Всю страстную неделю Анучин не выходит из тюрьмы. По обыкновению, пьян и полон желания «Христовым именем» спасти «заблудшие души». Карманы его набиты душеспасительными книжонками. Анучин недавно «свершил хождение по святым местам». Был в Иерусалиме, посетил гроб господень, привез сандаловые крестики... Купец богат — владелец нескольких магазинов в Москве. Сыновья его причастны к революции и арестованы. Кажется, даже сидят в этом участке. Вот Анучин и зачастил. Но, помимо всего, ему мецената из себя приятно разыгрывать. Заключенные над ним посмеиваются, а надзиратели заискивают. Купец щедро поставляет в тюрьму корзины с пивом и колбасами, а в пасхальные дни — и вина с коньяками.

— Праздник воскресения Христова, — Анучин поднял вверх указательный палец с грязным ногтем, — праздников праздник и торжество из торжеств. Так учит церковь. — Купец рыгнул и качнулся.

На нем темно-зеленая суконная поддевка и шелковая малиновая рубаха. Лицо потное, волосы подстрижены под скобку, маленькие осоловелые глазки... Анучин остановился у койки Землячки и неожиданно тонким голосом запел:

Смерти празднуем умерщвление,
Ада разрушение,
Иного жития вечного начала...

Николай Второй, придав пьяному, отекшему лицу молитвенное выражение, подхватывает:

Христос воскрес из мертвых,
Смертию смерть поправ...
И сущим во гробех живот даровав...

У Николая Второго масленые глаза; он еле держится на ногах и редкостно вежлив. Правда, подозрительность его не оставляет. Надзиратель проверяет петли на двери, подходит к окну, трогает решетку.

Вчера бежали Ярославский с товарищами, воспользовавшись общей пьянкой. Ярославский посулил уголовным, сидевшим с ним в одной камере, полсотни, и те сделали в толстой тюремной стене пролом. Через этот пролом и ушли...

Землячка с замиранием сердца ловила слабые и заглушенные удары. Тюрьма шумела пьяными голосами. И лишь пр суматохе, поднявшейся к ночи, поняла, что побег свершился.

Ушли... Она пожала руку Татьяне и задумалась. Теперь бежать будет сложнее. Тюрьма всполошилась, охрану усилили, да и пьянствовать, кажется, стали меньше.

Розалия Самойловна не смогла уйти с Ярославским: не хотела осложнять их положения.

Землячка представила, как волнуется Катенина, поджидая ее в гостинице. Сорвался назначенный день побега. В эту ночь она не сомкнула глаз, как не сомкнула их, наверно, и Катенина.

Сегодня первый день пасхи... Надо бежать... Землячка надела Татьянин жакет, отороченный белкой, шляпу, приготовила перчатки и, закутавшись в большой шерстяной платок, прилегла на кровать... Так и застал ее Анучин с надзирателем Николаем Вторым.

В камеру доносится непривычное оживление: подвыпившие надзиратели перекликаются в коридорах. Веселие, к счастью, разгорается.

Землячка презрительно смотрит на купца, и Анучин, подхватив свою корзину с куличами и пасхами, выходит из камеры.

Николай Второй несколько смущен. Он потоптался на месте, словно раздумывая, куда пристроить большой начищенный чайник.

— Кипяточек, пожалуйте, барышня.

Землячка отводит глаза: иначе он прочтет ее намерение.

Голосом, осевшим от волнения, просит:

— Дверь не запирайте. Душно что-то в камере.

Николай Второй ставит чайник на каменный пол и уходит, оставляя дверь приоткрытой.

Землячка выпрямляется и резко сбрасывает платок. Руки немного дрожат, и пальцы путаются в бесчисленных, как ей кажется, застежках жакета. Тревожно глядит на дверь и каждый шорох воспринимает сердцем. Где-то в конце коридора чуткое ухо ее улавливает шаги. Холодный пот выступает на лбу. Если надзиратель подойдет к двери — конец...

С каким-то ожесточением Розалия Самойловна поправляет вуаль... Вновь шаги... Они звучат явственно и отдаются горячими толчками крови в висках. Землячка отходит в дальний конец камеры и напряженно всматривается в дверь. Пронесло... Значит, есть еще несколько минут. Подбегает к койке и делает чучело. Привычным движением поправила косу и опустила белую расшитую вуаль.

Где к родине любовь вскипает,
Там сила вражья отступает,
Там груди крепче медных лат, —

шепчет она Татьяне побелевшими губами любимые с детства стихи.

Тяжело вздохнула и шагнула к двери. Отворилась железная дверь. Кажется, что она оглушительно скрипит — сейчас сбегутся стражники.

Минута... другая... Тишина.

Начинается длинный полутемный тюремный коридор. Под массивным колпаком едва мерцает лампа.

Землячка на цыпочках, крадучись, делает первые шаги. Еще шаг... Еще... И вот позади тюремный коридор. Теперь — самое страшное: главный вход в часть и дежурка, в которой собираются надзиратели. Розалия Самойловна едва не падает, запутавшись в складках длинного платья: лестница, которую она не разглядела да и попросту забыла в волнении. Пять ступенек, крутых и холодных, как сама тюрьма. Она всегда их считала, когда вели на допрос к Миронову. Эти пять ступенек отделяли тюрьму от полицейской части. Если миновать их, то попадешь на главный вход. Широкий коридор соединял участок и тюремный дворик.

Направо дверь, через нее проходят жильцы флигелечка, расположенного в тюремном дворике. Риск велик: во флигелечке

живут семьи тюремных служащих.

Землячка задержалась на последней ступени, огляделась и быстро сошла вниз. Подумав, повернула налево, к дежурке. Так опаснее, но зато короче путь.

Сзади послышались быстрые шаги, звонкие подковы били по каменным плитам коридора. Землячка заставила себя остановиться. Дежурка шумела пьяными голосами. Дверь ее резко распахнулась, и огромный веснушчатый жандарм уставился на даму. Но тут он заметил офицера и поспешно задрожавшими пальцами начал застегивать пуговицы мундира.

Молоденький жандармский офицер быстро приблизился к Землячке.

— Я правильно иду к выходу, мосье? — певуче справляется она.

Офицер польщен разговором с элегантной молодой женщиной. Он холодно глядит на хмельного жандарма и, предупредительно наклонив голову, отвечает:

— Мадам, здесь всего несколько шагов. Позвольте проводить.

Глаза прищурены — в них вопрос. И Землячка опять певуче отвечает:

— Я приезжала к доктору поздравить с праздником свою маленькую крестницу, а уж проводами не стала утруждать хозяев. Теперь жалею...

Она чуть заметным кивком головы показывает на дежурку.

— Пасха, мадам, — сухо отвечает он.

Офицер галантно предлагает Розалии Самойловне руку, и они проходят дежурку. Надзиратели при виде офицера встают и молча провожают взглядом нарядную даму.

Около полицейской части топчутся жандармы. Они смотрят на небо и гадают, будет ли дождь.

Землячка тоже смотрит на небо: только понять не может — то ли это тучи, то ли темно в глазах от нечеловеческого напряжения.

— Кажется, будет гроза. Остановите лихача... Или крикните извозчика, если он свободен, — просит она офицера.

— Хорошо, мадам. — Офицер кивает одному из жандармов, и тот направляется к извозчику.

Извозчик стар, борода у него окладистая и седая. Он сидит на высоких козлах и лениво зевает, поглядывая на приближающуюся даму с жандармским офицером.

— Подавай! — кричит жандарм.

Резкий ветер едва не срывает шляпу с беглянки. Землячка испуганно удерживает ее рукой.

— А грозы не миновать, — прощается она с офицером и

садится в пролетку.

Извозчик мягко перебирает вожжи.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Январской ночью у перрона Павелецкого вокзала дожидался отправления специальный поезд.

Люди в ватных полупальто, в шинелях, низко надвинув буденовки и треухи, торопливо проходили в вагоны. Вот уже пронесли последние венки, вот уже почти опустел перрон, в окнах вагонов, слабо освещенных фонарями, перестали мелькать тени, а Землячка все стояла и стояла на перроне, не замечая ни морозной мглы, ни вокзальных часов. И только когда ее окликнули, она медленно, будто с трудом, пошла к головному вагону, к паровозу.

Паровоз тяжело вздыхал, плакал тонкими струйками пара.

Землячка взялась за ледяные поручни паровоза, по железным ступенькам поднялась наверх. В ярком зареве увидела бронзовое, словно литое, лицо Кости. Короткими сильными толчками швырял он в топку глянцевитые куски антрацита. Огонь ревел и бушевал в топке, косматые языки жадно накидывались на уголь.

Костя на минуту распрямился, молча кивнул Розалии Самойловне, как кивают людям, прихода которых ждали.

Паровоз этот имел особую историю: совсем недавно он был полумертвой ржавой развалиной, но рабочие воскресили паровоз в дни ленинских субботников.

Мощный локомотив, его огненная глотка, его красные колеса, бегущие по стальным путям вперед и вперед, его сила, его непрестанное движение — все это казалось воплощением революции, натиска и решительности, вечно клокочущего сердца.

Он был очень похож, этот паровоз, на своих стальных собратьев. И все-таки он был особенный: его почетным машинистом путейцы избрали Владимира Ильича Ленина.

А она... она была очень взволнована, когда на этом же собрании стала помощником почетного машиниста.

И вот Розалия Самойловна стоит в кочегарке рядом с Костей и слушает грозный рев огня в топке.

Нынче, студеной январской ночью 1924 года, паровоз этот доставит делегатов съезда Советов, представителей Московского комитета партии в Горки... Землячка пристально смотрела на мятущееся пламя. Огонь со стоном пожирал жирный уголь.

Костя тронул ее за плечо и глуховато сказал:

— Розалия Самойловна, сейчас отправляемся...

Помог спуститься по железной лестнице. Она медленно

приблизилась к вагону, чувствуя странную слабость в ногах и спазмы в горле.

Тихо, без привычного гудка отошел поезд. В вагонах никто не разговаривал. Едва светили фонари и стучали, стучали колеса. Сквозь стук их вдруг слышались подавленные рыдания. И опять все смолкало. Только постукивали все торопливее, все торопливее колеса, и тени мерно качались на холодных стенах, на заросших седым инеем окнах.

Землячка сидела в уголке вагона, подняв воротник пальто и прикрыв глаза. Поначалу мысли ее путались, шли сбивчиво. Она думала о жизни и смерти человека, который лежал в эту ночь там, в заснеженных Горках, в доме с колоннами. Думала о том, как много значил этот человек для России, для всего мира и для нее, Розалии Землячки. Думала о том, как жестоки и несправедливы законы природы, которым подчиняется хрупкая человеческая жизнь, и думала о том, как же все они будут жить без этого человека. И, тревожась обо всем этом, она чувствовала резкую, пронизывающую боль, от которой останавливалось сердце и спирало дыхание.

Но постепенно мысли упорядочились, будто подчинившись ритму движения поезда, и тогда и стук колес и скрип вагона неприметно начали разворачивать перед ней картины минувшего...

...1901 год. После шумной портовой Одессы маленький Цюрих казался сонным, почти безлюдным. Она стояла на мосту и дивилась прозрачности Лиммата. В глубине реки, как тень от ласточек, промелькнула стайка форелей. Солнце золотило песок и гальку. Оттуда, с моста, открывался живописный вид на Цюрихское озеро и горы, покрытые альпийской зеленью. Вдали виднелся парусник и чайки, кружившие снежной метелью. Над озером плыли розоватые облака. Выдался теплый ясный день, хотя уже был конец сентября. И день этот мало чем напоминал русскую осень с ее дождями, ветрами и пестрым листопадом.

На высокой башне готического собора пробило четыре. Надо было торопиться. Оправив шляпу со страусовыми перьями, она пошла по правому берегу в «большой город». Да, вот там, у городской ратуши, увидела велосипедиста. Он выехал как-то очень неожиданно из боковой улочки, и Землячка в замешательстве остановилась посреди булыжной мостовой. Велосипедист ловко соскочил, на отличном французском языке извинился.

Он был среднего роста, коренаст, с немного скуластым лицом и живыми умными глазами. Очевидно поняв, что перед ним приезжая, незнакомая с Цюрихом, велосипедист приветливо

улыбнулся и спросил, не может ли быть чем-либо полезен.

— Благодарю вас, — обрадовалась Землячка. — Понимаете ли, все здешние улицы кажутся одинаковыми. Мои друзья остановились в одном из отелей, а в старой ли части города или новой, к сожалению, не знаю...

— Вы из России? — неожиданно озадачил ее велосипедист.

— Да. Выдает произношение?

Велосипедист рассмеялся коротко и весело.

— Простите, а какой отель вы ищете?

Розалия Самойловна назвала отель, глядя на любезного собеседника, и тут только уловила в его коренастой фигуре, в лице его и черной косоворотке что-то совершенно русское.

— А, — воскликнул он, — так это же совсем недалеко! Если позволите, я провожу.

Незнакомец быстро зашагал рядом с Землячкой, держа велосипед за руль и время от времени поглядывая на стопку книг, привязанную к багажнику: целы ли?..

Чистенький двухэтажный отель с готическими башенками и флажками-флюгерками, с узорчатой калиткой и красными каннами в садике понравился Землячке. Она сказала провожатому:

— Вот спасибо. Выручили... Очень рада встретить соотечественника.

Велосипедист наклонил голову и ответил несколько загадочно:

— Наверняка скоро увидимся.

Он вытер платком большой лысеющий лоб, вскочил в седло и быстро скрылся за углом...

Ох, как весело, как звонко смеялся Владимир Ильич над ее удивлением и смущением, когда их познакомили!.. Она шла на эту встречу с замирающим сердцем: ожидала увидеть «генерала» вроде Плеханова или Дейча, а увидела давешнего велосипедиста, милого человека лет тридцати.

— Почему же сразу не сказали, кто вы? — с некоторой досадой пробормотала она.

Ленин усмехнулся.

— Вот поди же, я еще и виноват! Сами тут заблудились. Я вас, можно сказать, вызволил... И вы же меня укоряете. — Он опять засмеялся заразительным смехом. — Ну ладно, товарищ Землячка, ладно. В следующий раз при встрече непременно представлюсь. — И, сразу посерьезнев, спросил: — Как дела в Одессе? Что происходит в организации? Письма ваши получаем, но ведь в письмах-то всего не скажешь... В Одессе давно?

— Недавно. Раньше в Полтаве работала.

— Вы что же, родом оттуда?

— Нет, выслали под надзор полиции после киевской тюрьмы. В тюрьме схватила туберкулез, но все же господа хорошие продержали два с лишним годочка...

— Гм... Туберкулез... А теперь как себя чувствуете? — осведомился Владимир Ильич.

— Спасибо. Хорошо. В Полтаве досталось-таки. Почему? Да там, Владимир Ильич, хоть и были наши, но тон задавали «экономисты». Все к рукам прибрали — кружки, технику. И такую, знаете ли, говорильню развели...

— А рабочим движением за этими спорами-раздорами заниматься некогда. Верно? — заметил Владимир Ильич.

— Куда там... — махнула рукой Землячка. — Но тут в самую пору подоспели номера «Искры». Мы ожили, честное слово. И план построения партии, мне кажется, хорош, и правильно, что «Искра» заговорила о крепкой организации. Быть агентом такой газеты — радость, настоящая радость, Владимир Ильич!

— А скажите, Розалия Самойловна, как читают «Искру» рабочие? Доходчивы ли статьи? Меня это, право, сильно заботит.

— Как читают? До дыр. Буквально, Владимир Ильич, до дыр. «Вот, — говорят, — это уж чисто нашенская газета!»

Расспрашивая Землячку, Ленин быстрыми шажками ходил по маленькой комнатке, время от времени взглядывая на Крупскую.

Надежда Константиновна сидела у письменного стола, неподалеку от балконной двери. Солнце мягко освещало ее спокойное ясное лицо. Своим бисерным почерком Крупская расшифровывала письма из России. Но хотя она не бросала пера, хотя сидела, наклонив голову, Землячка чувствовала, что Надежда Константиновна внимательно слушает разговор. Но вот она отложила бумаги и выпрямилась.

— Розалия Самойловна, — проговорила Крупская негромким грудным голосом, — а что в Одессе делает группа «экономиста» Рязанова? Все еще кормят рабочих красивыми фразами и задают тон?

— Нет. Рязанов с компанией теряют вес. Рабочие — за искровцев, — Землячка чиркнула спичкой и затянулась дымом.

Ильич сразу же отворил двери на балкон, покачал головой:

— А курить вам нельзя-с...

— Да, придется, наверное, бросить... — И, еще раз затянувшись папиросой, Розалия Самойловна загасила ее. — Так вот этот самый Рязанов... Под его влиянием Одесский комитет выпустил воззвание к работницам табачной фабрики Попова с чисто экономическими требованиями. Воззвание успеха не имело. Фабрикант обратился к полиции. Та стала хватать работниц и

тащить их к станкам, аресты пошли немалые... Забежала я на фабрику, стала разговаривать с девушками, те и говорят: «Мы ничего не делали, а с нами полиция так подло поступила. Впредь будем бастовать, чтобы знать, за что мучают».

— Вы вот переслали нам листовку Одесского комитета, — сказала Надежда Константиновна, — наивна она. Ей-ей, до крайности наивна. Как это там? Что-то вроде: «Мы сидели себе смирно, никого не трогали, мирно отказались работать, а полиция...», и так далее. Вот и получается, что во всем виноваты не в меру расходившиеся защитники престола отечества, а не царизм.

Ильич остановился у балконной двери и спросил, растет ли количество стачек за последнее время.

— Безусловно, Владимир Ильич... В Ливадии произошел просто курьез: началась стачка у русского царя! — Глаза у Землячки сделались хитрыми, смешливые черточки запрыгали по лицу. — Произошел величайший скандал: у царя забастовали рабочие. Деньги им выдавали неисправно, задушили штрафами, администрация грубила... Управляющий имением, генерал, с ног сбился. «Шумите из-за пустяков», «вас сбивают злые люди», «социалисты — волки в овечьих шкурах», ну и прочая генеральская глупость... Только уговорить рабочих не смог. И что ж, царская контора пошла на уступки. «Ну и царь, — говорили рабочие, — кровь нашу пьет не хуже любого подрядчика».

Землячка расхохоталась. Ленин улыбался.

— Превосходно, — сказал он. — Паки важно эту корреспонденцию поместить в газету. Нам что позарез необходимо? А? — Владимир Ильич подошел к Землячке. — Как вы думаете? Нам все, самый малейший повод надо использовать для выработки политических требований. Нужна партия, единые действия... А у нас каждый комитет розно, на свой страх и на свой риск... Вот она, главная беда! Только съезд может положить конец разобщенности...

Владимир Ильич заглянул через плечо Надежды Константиновны в разложенные на столе письма. Крупская улыбнулась и, продолжая работать, сказала:

— Розалия Самойловна, нужны новые явки и адреса. Разумеется, самые надежные — литературу отправлять. — Она достала маленькую книжечку в сафьяновом переплете.

— А у меня... у меня ничего нет, — растерялась Землячка. — Связями пока не обросла. В организации, правда, есть новые люди, но все зеленые. Признаться, как-то боязно использовать их...

Владимир Ильич, казалось, разглядывал дальние горы с

яркой альпийской зеленью. Но вот он обернулся и резко бросил:

— Вы же ставите себя в ложное положение. Профессиональный революционер — а ведь мы с вами именно профессиональные революционеры — обязан везде и всюду обзаводиться связями, адресами и явками. Это еще не все. Через месяц-другой хорошо возвратиться и проверить, архитщательно все проверить... У нас какая-то обломовская боязнь новых людей. И это у тех, кто хочет создать массовую организацию...

Владимир Ильич помолчал, ранние морщинки собрались у его глаз.

— Не подумайте, Розалия Самойловна, что все это я адресую только вам. Нет, нет, это наша общая беда, помочь которой может создание партии... Партия же без съезда немыслима...

Землячка открыла глаза. Все так же понуро сидят люди, постукивая закоченевшими ногами. За окном черная мгла. Грохочет встречный состав. А специальный поезд замедляет ход. Все тише... Тише... Лязгают буфера. Люди задвигались, поднялись, столпились у выхода.

Полустанок Герасимово тонул в снегах. Небо было хмурым, беззвездным.

Мужики в овчинных тулупах дожидались у полустанка с розвальнями и зажженными фонарями. Чуть начало светать, когда вереница саней тронулась по лесному проселку. Не всем достало места в розвальнях. Усадили женщин и тех, кто постарше. Остальные двинулись пешком. По краям дороги молча и хмуро стоял лес.

Землячка шла по обочине санного пути. Мороз пробирал до костей, перехватывал дыхание. Звонкое безмолвие нависало над лесом. Лишь слышалось всхрапывание лошадей да скрип снега под сапогами и валенками. Как всегда перед рассветом в зимнюю пору, дорога начала двоиться, словно ускользая от глаз, сманивая в сторону.

Землячка в своих кожаных башмаках давно уж не чувствовала ног. Стекла пенсне покрылись тонким ледяным налетом. Она оступилась, почти по пояс увязла в сугробе. Ей протянули руку, помогли... Ветер швырял в лицо колючие пригоршни, ветер пригибал к земле. Она шла, стиснув зубы, шла на последнюю встречу...

Впереди замерцали огоньки Горок — маленькой усадьбы, открытой ветрам. Медленно светало. Розвальни двигались к желтоватым огонькам... И люди двигались к этим огонькам...

...Много лет назад темной ночью шла она на свою вторую встречу с Ильичем. Но то было весной... Землячка только что избежала ареста — по липкой распутице уходила из

Екатеринослава. Путь оказался не прост: явка, ночевка в чужих домах, корчмы, тайный переход границы, и, наконец, в апреле 1903 года снова Швейцария.

В первый день своего приезда она забралась высоко в горы. У ног раскинулся гигантский полумесяц Женевского озера. Вспенившаяся Рона с глухим рокотом несла воды талых снегов. В долине зеленели виноградники и цвели гранаты...

Она дышала полной грудью. Счастлива, что избежала ареста... Розалия Самойловна победно помахала широкополой шляпой и начала спускаться в город. Она скользила по тихим улицам Женевы. На ней весенний зеленоватый костюм — длинная юбка и жакет с разрезами на боках. Хорошо! И она твердила адрес: улица Фуайэ, 10.

Лозаннское шоссе... Теперь свернуть вот в эту тихую улочку. А вот и дом 10.

Крошечный палисадник. Дверь отворяет Надежда Константиновна. Радостно протягивает руки:

— Розалия Самойловна! Ох как мы беспокоились!.. Боялись — зацапают вас на границе. Проходите, пожалуйста...

Из маленькой прихожей — в чистую кухоньку, заставленную ящиками. В них Владимир Ильич привез книги, а теперь порожние ящики заменяют стулья.

У Ильичей всегда гостей полно. Кто-то в шутку назвал эту кухоньку настоящим «притоном контрабандистов»: ведь почти все делегаты съезда пользовались услугами контрабандистов для нелегального перехода границы.

Пробило четыре. Надежда Константиновна посмотрела на часы.

— Ну вот, Владимир Ильич с минуты на минуту возвратится из библиотеки. А пока присаживайтесь. Здесь у нас самое уютное место, скоро обедать будем.

Продолговатый стол покрыт чистой клеенкой. Кухня одновременно служила и гостиной. Крутая лестница с высокими ступенями вела наверх.

— Садитесь, садитесь, — повторила Надежда Константиновна.

— Спасибо. Я закусила в «Ландольде». Знаете? Ресторанчик небольшой, а кормят отменно.

— Закусили? Зачем же вы так? Шли в гости, а завернули к ресторатору. Нехорошо.

— Это ничего, — смеется Землячка. — Если только угостите такими же пирожками, как тогда, в Цюрихе... Ей-богу, не откажусь... И стакан крепкого чаю.

— Ага, запомнили, — улыбается Крупская. — Таких нет, но

есть лучше: я-то не ахти какая кулинарка, а вот мама у меня мастерица превеликая. Она теперь все хозяйство ведет. — Надежда Константиновна прислушалась и просияла: — Вот и Владимир Ильич!

— Здравствуйте, здравствуйте, — оживленно проговорил Ленин. — Рад, сердечно рад. — Он крепко пожал руку Землячке, сел за стол, весело воскликнув: — Надюша, голоден как волк!

Землячка радостно разглядывала Владимира Ильича. Коренастый, широкоплечий, сильный. Рыжеватые усы подстрижены щеточкой. Небольшая бородка...

После обеда Надежда Константиновна села за работу, а Владимир Ильич пригласил Розалию Самойловну пройтись к Женевскому озеру да по дороге потолковать.

На берегу рыбаки в парусиновых штанах и высоких сапогах возились с сетями, напевая какую-то озорную песенку. В корзинах блестела рыба. Пахло свежей водой, мокрой бечевкой, нагретой землей. Вдоль озера были разбросаны беседки, увитые зеленью дикого винограда. Высокое солнце припекало, и Владимир Ильич предложил посидеть в тени. Они опустились на каменную скамью беседки и долго разговаривали о событиях в Екатеринославе, о разногласиях в партии, о странной позиции Мартова и о том, что борьбы, а может быть, и раскола на съезде, который скоро соберется в Брюсселе, не миновать, пожалуй.

— Итак, Розалия Самойловна, — говорил Ильич, взглядывая на нее искрящимися темными глазами, — вам придется выехать в Брюссель и завершить подготовку к съезду. Пора покончить с кустарничеством, с организационным хаосом...

Владимир Ильич помолчал и добавил:

— Я тут, видите ли, подготовил проект Устава партии. Непременно вам покажу... Положение тяжелое, борьба предстоит немалая. — Он опять помолчал, прищурился и вдруг мягко прибавил: — Чертовски рад, что у вас все благополучно обошлось. По чести сказать, не очень-то надеялся...

Потом был Брюссель...

Съезд заседал в помещении... мучного склада. Открывал его Плеханов. Большое окно занавешено красной материей, импровизированная трибуна также затянута в красное... Землячка отыскала глазами Ильича, увидела его сдержанно-взволнованное лицо.

Борьба началась с первого же дня. К идейным противникам Ильич оказался непримирим. Железной логикой, страстной своей убежденностью бил все слабое, дряблое, неустойчивое...

В Брюсселе провели лишь несколько заседаний. Бельгийская полиция боялась русских революционеров. Одной из первых

выслали из страны Землячку.

Съезд перенесли в Лондон. Дожди и туманы не доставили Землячке радости. Но зато ей нравилось бродить по тихим лондонским улицам, забираться в двухэтажные омнибусы, заходить в Гайд-парк и сидеть в чистеньких скверах с подстриженными деревьями.

Главная битва, как и предвидел Ильич, завязалась с Мартовым. Ильич похудел и осунулся. Однажды в перерыве между заседаниями Землячка подошла к Владимиру Ильичу. Он стоял у открытого окна, жадно дышал свежим воздухом. Кто-то из меньшевиков, болезненно кривя рот, надсадно говорил:

— Что за атмосфера на съезде! Ожесточенная борьба! Нападки друг на друга! Резкости!..

Владимир Ильич вдруг взглянул на него с веселой иронией:

— Да что вы! Полноте! Съезд идет отлично! Открытая, свободная борьба. Мнения высказаны честно и прямо, без обиняков. Оттенки обрисовались. Группы наметились. Руки подняты. Решения приняты. Чего же еще? Теперь — вперед! Вот это, я понимаю, жизнь!

Лицо Владимира Ильича освещало солнце, глаза чуть прищурены и устремлены вдаль..

С венками из заиндевелой хвои стояли окрестные мужики. На жгучем морозе, с непокрытыми головами. И неподвижны делегаты Всероссийского съезда. Красный гроб закрыли стеклянной крышкой. Падал снег. Плакала вьюга...

Калинин, Буденный первыми надели на себя лямки и понесли гроб. Пять верст на руках несли гроб Ленина...

Метель разыгрывалась все пуще. Впереди на розвальнях ехал крестьянин. Он бросал на дорогу еловые ветки. Вдоль всей дороги, от Горок до полустанка, стояли бабы и мужики, старцы и ребятишки...

Тяжело вздохнул паровоз... Траурный поезд медленно, среди звенящей тишины оставил полустанок. И опять застучали колеса...

Рядом с Землячкой запричитала женщина в заштопанном полушалке, плакала громко, по-крестьянски, навзрыд.

Землячка незряче смотрела на нее. А колеса стучали, стучали...

Вот так же стучали колеса двадцать лет назад в августе 1904 года, когда она опять ехала к Ильичу в Женеву.

Скорый из Берлина подходил к перрону. Землячка стояла в тамбуре. Лязгнули буферные тарелки, мелькнули круглые станционные часы, деревянные кадушки с вечнозелеными лаврами...

Был ранний час, и она раздумывала, прилично ли вваливаться к Ильичам сразу с вокзала или, может, обождать. Так ничего и не решив, побрела по какой-то тенистой улице, но потом повернула к ближайшей трамвайной остановке.

Розалия Самойловна сильно волновалась и даже, признаться, побаивалась предстоящего разговора с Ильичем. Тяжелые времена наступили после съезда. Меньшевики стремились захватить руководящие партийные органы, отстранив ленинцев. Землячке стало так трудно, что она вышла из Центрального Комитета — сил не хватило. Шаг, к несчастью, самовольный...

Вот она и тревожилась, как Ильич отнесется к ее поступку. Правда, она долго и мучительно ругалась с «примиренцами», но ведь так и недоругалась. А меньшевики совсем распоясались. Даже Ильича принудили выйти из редколлегии «Искры». Подумать страшно: «Искра» стала меньшевистской!

В прошлый приезд она побывала в экспедиции «Искры». Готовили очередную партию. Провалилось уже несколько агентов на границе. Эту партию готовили для отправки морем. Надежда Константиновна горячим утюгом проглаживала четвертушки газет, плотно паковала их и обшивала водонепроницаемой материей. Работа тяжелая, кропотливая. Но Землячка до сих пор не может забыть счастливого лица Крупской: газета шла в Россию...

А теперь?.. Что делать?

Землячка вышла из трамвая на полдороге. Глянула на часы. Рано, очень рано. Она присела на скамью в скверике, решила повременить. На велосипеде проехал трубочист с металлической щеткой на шее. «Как герой сказок Андерсена», — подумала она и вновь глянула на часы. Нет, ждать решительно невмоготу. Она подхватила чемодан и опять зашагала к трамвайной остановке. Вагон почти пустой. В зеркальных окнах замелькали улицы, дома, скверы... Но вот уже появились рабочие в синих блузах, мелкие торговцы, крестьяне с тяжелыми плетеными корзинами.

— Rue de Davide, — объявил кондуктор с потертой кожаной сумкой.

Землячка вышла.

В маленькой кухоньке она встретила мать Надежды Константиновны. Елизавета Васильевна собиралась на рынок, но, увидев гостью, отложила свою корзинку и принялась варить кофе.

А вскоре уже гостья оказалась в небольшой комнатке Ильича. Железную кровать покрывал плед. У раскрытого окна — письменный стол с книгами, журналами и газетами.

— У окна сидеть не опасаетесь? — спросил Владимир Ильич с обычной предупредительностью. — Час ранний, недолго

простудиться. Да и ветерок свежий с озера. Пожалуй, лучше закрыть, а?

Землячка горько усмехнулась:

— Нет, свежего ветра я не боюсь. А вот меньшевиков и «примиренцев»...

Ильич внимательно на нее взглянул. И, помолчав, сказал решительно:

— Нуте, выкладывайте все, что есть!

Многое накипело на сердце у Розалии Самойловны за эти месяцы. Она говорила быстро, сбивчиво, но Владимир Ильич не прерывал ее.

— Не смогла я, Владимир Ильич, ужиться в ЦК. Работать с «примиренцами»? Невозможно. Васильева арестовали, Зверева арестовали, а они воспользовались и фактически захватили ЦК. Обстановка невыносимая, предельно напряженная. Быть с меньшевиками в одних организациях?! Нет и нет!! В партии назревает кризис...

Владимир Ильич выслушал ее и негромко сказал:

— Интриганству меньшевиков можно только удивляться. Вот один из образчиков. — Он остановился около стола, покопался в бумагах и протянул Землячке письмо. — Полюбуйтесь.

Розалия Самойловна быстро пробежала глазами:

«Итак, первая бомба отлита, и — с божьей помощью — Ленин взлетит на воздух. Я придал бы очень большое значение тому, чтобы был выработан общий план кампании против Ленина, — взрывать его, так взрывать до конца, методически и планомерно... Как бить Ленина, вот вопрос».

Землячка побледнела от возмущения. Владимир Ильич посмотрел на нее и твердо закончил:

— У нас есть лишь один выход: немедленный созыв съезда. И никакие уловки, никакая старчески-озлобленная ругань не спасет меньшевиков.

В этот раз она совсем недолго пробыла в Женеве. Зато почти ежедневно виделась с Ильичем. В Женеве собралась тогда довольно большая группа друзей-единомышленников, с которыми в условиях России и встретиться не так просто. Днем работали, а вечерами собирались в столовой у Лепешинских. Кто-то играл на скрипке. И тогда шумная столовая затихала. Она вспоминала с Красиковым Екатеринослав и свое бегство. Сражалась с Гусевым в шахматы. А главное — слушала Ильича.

Гусев становился у старенького пианино, взятого напрокат, и, запрокинув голову, пел сочным баритоном. Как Ильич любил Глинку, как заслушивался он песнями про раздольную Волгу, про удалого Стеньку Разина, про бескрайнюю степь!

Однажды Землячка встретилась глазами с Ильичем, и сердце у нее заныло: такая тоска и грусть были в глазах его, тоска и грусть по России...

Из Женевы она уезжала с бесценным грузом — везла ленинское обращение «К партии». Обращение, написанное на тонкой папиросной бумаге, они с Надеждой Константиновной запрятали за деревянную рамку зеркала. Рамка имела секрет: середина ее была искусно выдолблена. Надежда Константиновна подала сложенную бумагу, и Землячка уложила ее в углубление. Потом приложили массивное зеркальное стекло и закрутили шурупы. Розалия Самойловна повертела зеркало в руках и передала его Надежде Константиновне. Та придирчиво стала его рассматривать.

— Ну что ж, хорошо, по-моему, — заметила Землячка. — Никому и в голову не придет искать в дамской безделушке партийный документ.

— Будьте осторожны, риск и опасность превеликие, — мягко заметила Надежда Константиновна.

Как труден и опасен оказался обратный путь в Россию! В купе подсел шпик. Таможенники долго рылись в вещах домашней учительницы Зинаиды Трелиной, по паспорту которой она возвращалась. Шпик уронил зеркало, спасли шурупы, а то бы документ стал добычей охранки. Как она тогда переволновалась!.. Потом, уже в России, обращение размножили в подпольной типографии. И там же, в России, получала письма от Владимира Ильича.

...Она повезла обращение «К партии» по всей России. Опасность подстерегала ее на каждом шагу. Она то была светской дамой, к которой и обратиться страшновато, то малозаметной работницей, не вызывающей подозрения...

И тогда же получила письмо от Владимира Ильича:

«Ура! Вы работали великолепно, и вас... можно поздравить с громадным успехом».

Ильич больше всего любил в жизни дело!

Тихо подошел поезд к дебаркадеру Павелецкого вокзала. Землячка увидела бледное лицо Дзержинского. Рядом с Феликсом Эдмундовичем сгорбился Ярославский. Склонилось знамя московских большевиков. Делегации направились к первому вагону. Черные и красные полотнища колыхались на ветру...

И лишь сейчас, когда мимо Землячки пронесли тяжелый оцинкованный гроб, она до конца поверила в то, что случилось, задохнулась, глухо зарыдала...

Вокзальную площадь запрудила огромная толпа. Величаво и

скорбно звучала музыка. Высоко плыл гроб. Его не поставили на орудийный лафет — несли на руках... На руках до Колонного зала, на руках через заснеженную Москву. Шпалерами выстроились красноармейцы. Цепью застыли рабочие с красными повязками. Бесконечно было шествие.

И на лютом морозе резко и ярко алели плакаты:

ЛЕНИН УМЕР, НО ДЕЛО ЕГО ЖИВЕТ...

notes

Примечания

1

Н. К. Крупская, Педагогические сочинения, т. 1, стр. 19.

2

Там же, стр. 38.

3

Кто не хвалит Клопштока? Но станет ли каждый его читать? Нет. Мы хотим, чтобы нас меньше почитали, но зато прилежнее читали.